**Димитр Димов**

**Осужденные души**

(пер. Т. Рузская)

*МОЕЙ МАТЕРИ*

***Автор***

Часть первая

**Конец одного приключения1**

**I**

Когда Луис Ромеро миновал Бидасоа и снова увидел свою родину, он не раскаялся в том, что так редко о ней вспоминал, а только с горькой насмешкой подумал о волнении, которое должно было его охватить, как он надеялся. Насмешка относилась к тому, что никакого волнения он вовсе не ощутил, и еще к тому, что Испания ни капельки не изменилась за время его скитаний по свету.

Он увидел ту же Espana tradicional,2которую он покинул пятнадцать лет назад, – кичливую, гордую, аристократическую, но угодливую и чудаковато-смешную, с ее лицемерной демократичностью и славным прошлым, повсюду навязчиво напоминавшим о себе. Эта Испания теперь была похожа на обнищавшего идальго, который поступил на жалкую службу, но щеголяет осанкой и манерами своих гордых родовитых предков. В таком духе по крайней мере повели себя таможенные чиновники и пограничный полицейский инспектор, прочитав в паспорте Луиса громкое историческое имя и вспомнив о телеграмме от высокопоставленного лица из министерства, полученной два дня назад. Надменное равнодушие, с каким они обращались со всеми пассажирами, тотчас растаяло во множестве церемонных поклонов именитой особе, находящейся под таким высоким покровительством. Они точно хотели сказать: «Мы видим, что вы благородный идальго, сеньор!.. Мы благоговеем перед вами и знаем, как с вами держаться, ведь мы чиновники аристократического государства и гордимся этим». Они поспешили сократить нудную таможенную процедуру и отказались от осмотра многочисленных чемоданов дона Луиса Родригеса де Эредиа-и-Санта-Крус, известного в Довиле и Ривьере под более демократическим именем Луиса Ромеро. В этих чемоданах знатного дона Луиса находилось изрядное количество строжайше запрещенного товара, о существовании которого лицо, приславшее телеграмму из Мадрида, впрочем, вряд ли подозревало.

Итак, дон Луис Родригес де Эредиа-и-Санта-Крус благополучно проскочил границу – операция, которая, невзирая на высокое покровительство, его серьезно тревожила. Вздохнув с облегчением, он удобно расположился в спальном купе вечернего мадридского экспресса и стал терпеливо ждать его отхода, так как не хотел оставлять без присмотра свои чемоданы.

Было бы чистейшей ложью утверждать, будто Луис Ромеро ведет жизнь политического эмигранта, за какого он обычно себя выдавал. В эту ложь верили одни простодушные старые господа за бокалом коктейля в казино Виши и Биаррица, с дочерьми которых Луис играл в теннис. Точнее было бы сказать, что по модным курортам разъезжает обыкновенный мошенник. Однако Луис Ромеро всерьез думал, что покинуть Испанию и вести не очень-то порядочную жизнь его вынудили социальные причины (кстати, и натолкнувшие его на мысль выдавать себя за политического эмигранта). Этими причинами были республиканские взгляды Луиса и феодальная строгость, с какой иные испанские дворяне оберегали добрачную невинность своих дочерей. Пятнадцать лет назад Луис Ромеро находил, что эта строгость пагубна для развития Испании. Он думал так потому, что был человеком передовых убеждений и даже сумел прослыть таковым в республиканском кружке в Гранаде, хотя ни в одном своде прогрессивных идей не сказано, что преобразование общества должно начаться с преобразования нашего отношения к женщинам. Он считал (и был, собственно, прав) просто глупым и недостойным мужчины непременно жениться на какой-нибудь Инес или Кармен только потому, что посмотрел на нее или два вечера подряд подержался с ней за руки сквозь решетчатую калитку, как это делали кавалеры три века тому назад. Но на все эти невинные шалости под жарким солнцем Андалусии разгневанные отцы реагировали жалобами королю, а порой и пулями. После нескольких неприятных инцидентов подобного рода Луис Ромеро покинул Испанию.

Он обосновался в Париже, где жизнь показалась ему весьма приятной. С щедростью истого идальго он промотал в ночных клубах маленькое наследство, доставшееся ему от отца, почтенного, но не очень богатого дворянина, дона Порфирио Родригес де Эредиа из рода маркизов Роканегра. Это наследство Луис получил, когда гранадский нотариус дон Пио Бермуда продал старинный родовой дом Эредиа в Кордове и несколько оливковых рощ у подножия Сьерра-Невады (поместье находилось в провинции Гранада, а маркизы Роканегра происходили из Кордовы) и когда вырученная сумма была поделена на пятнадцать частей по числу детей дона Порфирио – образца супружеской верности, и его подруги – плодовитой доньи Кармен Ривера де Санта-Крус из рода графов Пухол. Все дочери дона Порфирио и доньи Кармен счастливо вышли замуж за местных дворян, а все их сыновья заняли достойные места в армии, в кортесах и церкви. Это были три поприща, на которых испанский дворянин мог развернуть свои способности, не унижаясь до плебейского труда в казенной канцелярии, в торговой конторе или на промышленном предприятии. Все Эредиа были весьма достойные мужи, высоконравственные, богобоязненные и непоколебимо верные династии Бурбонов. Так по крайней мере было до сих пор. Из каждого поколения Эредиа один или двое, как правило, шли в монахи, один или двое, как правило, дослуживались до чина адмирала или генерала и один или двое, как правило, представляли землевладельцев провинции Гранада в кортесах. И только Луис впервые за два века запятнал честь рода, став республиканцем и скомпрометировав нескольких благородных девиц.

Промотав последний франк из отцовского наследства, Луис влез в долги, потом потихоньку перешел к контрабанде валютой и наконец преуспел, найдя свое призвание в торговле наркотиками. Как и почему он докатился до этой позорной торговли, не представляет большого интереса. Можно только сказать, что и здесь была замешана женщина. Луис влюбился в артистку кабаре по имени Жоржет Киди, которую позднее оценил как женщину глупую и вульгарную. Она была левантинка неопределенной народности, одна из тех метисок, что кочуют по вертепам средиземноморского побережья и соединяют в себе пороки многих наций. У нее была матовая кожа с оливковым оттенком, какая бывает у испанок, но черты лица не носили и следа утонченности этих приветливых и целомудренных женщин. Глаза – холодные, черные и вероломные – смотрели пристально и неподвижно, по-змеиному, а тело источало ленивое сладострастие, превращавшее любовь в мерзостную оргию. Эта женщина, напоминавшая горьковато-сладкий банан, придумала шитый белыми нитками план ограбления каких-то американцев, и в результате Луис угодил в тюрьму.

Выйдя из тюрьмы, Луис уехал в Персию, где та же Жоржет Киди запутала его в сетях более ловких мошенников. Эта банда переправляла опиум по длинному пути из Константинополя в Бомбей. Предприятие имело успех. Луис заработал деньги и приобрел большой опыт.

Все это было не так просто и схематично, как выглядело в показаниях Луиса инспекторам уголовной полиции. Бывший идальго – ныне контрабандист – пережил нравственные потрясения, накопил горькую мудрость и стал мизантропом. И все же он испытал странное сожаление, когда потерял Жоржет Киди. Ее зарезал пьяный морской офицер в Бейруте.

Луис Ромеро приехал в Мадрид на следующий день, к полудню. Синее небо, знакомые улицы, родной говор настроили его довольно жизнерадостно. На него нахлынул рой воспоминаний. Вот Ретиро – роскошный парк и место любовных утех королей, куда можно было проникнуть только по милостивому разрешению монарха. Теперь этот парк превращен в городской сад, охраняемый сторожами в живописных костюмах, похожими на старинных бандитов со Сьерра-Невады. Когда-то здесь устраивались сказочные летние балы, где даже дворянина мог оскорбить дух неравенства. На одном из таких балов Луис Ромеро, разгоряченный коктейлями, выпитыми в баре, крикнул, к великому ужасу всех присутствовавших: «Долой монархию!» Вот Кастеляна и Алькала, по которым пол-Мадрида стекалось на митинги на Пуэрта-дель-Соль. Здесь Луис опозорил род Эредиа, когда бежал, спасаясь от жандармов, и кричал что есть силы: «Да здравствует республика! Долой короля!» Вот Пасео-де-Реколетос, где в часы гулянья можно было видеть красивейших женщин мира. Вот Прадо, Сан-Херонимо, площадь Лояльности, отель «Риц», отель «Палас»… Как знакомы ему эти улицы, эти площади, эти здания!.. С каким трепетом приезжал он когда-то в Мадрид из Гранады! Как его тогда волновали женщины, уличные беспорядки, скачки, бои быков! Почему он не мог радоваться так и сейчас?

Внезапно он почувствовал, что стар, утомлен, разочарован и пресыщен жизнью. Раньше его раздражала только монархия, теперь – все. Родина казалась ему пестрой и нелепой ярмаркой, шутовскими подмостками, на которых кривляются и витийствуют с пышным пафосом Гонгоры свихнувшиеся от гордости аристократы, облаченные в парчу и кружева архиепископы, тореадоры и севильские цыганки. Газеты под огромными заголовками публикуют речь какого-то генерала и программу поклонения мощам какого-то святого. Афиша возвещает о повой звезде на тореадорском небосклоне – некоем Манолете, огромные пестрые плакаты рекламируют андалусские песни Кончиты Пикер, танцы Лолы Флорес. Испания осталась такой же, какой была пятнадцать лет назад, или, точнее, кто-то снова вернул ее к старому после прогресса во времена республики.3 Но ему-то какое дело до этого? Ко всем чертям эту ярмарку и всех толкущихся на ней зевак! Он, Луис Ромеро, ничуть не виноват в тупости своих соотечественников, которые все еще терпят олигархию прошлого, все еще гордятся живописными лохмотьями традиции, все еще показывают миру только цирковое великолепие религиозных процессий, боя быков и андалусских танцев – великолепие, которым кюре и дворяне развлекают народ, чтобы он не видел своей нищеты, чтобы заглушить его протест, грозящий им утратой привилегий. Но, отдавшись таким мыслям и с презрением отделив себя от своего народа, Луис Ромеро почувствовал горькое одиночество человека без родины, тоску стареющего путника, гонимого ветром судьбы по свету, как пожухлый осенний лист. В душе Луиса Ромеро царили холод и пустота. Эгоизм и мизантропия оледенили его сердце. В сущности, у Луиса не было ни близких, ни отечества, несмотря на многочисленную здешнюю родню и поклоны, которыми его встретили власти. Никогда он так ясно и с такой, холодной тоскливой дрожью не сознавал, что он всего лишь международный мошенник, всего лишь ничтожество, всего лишь опустившийся идальго, который растратил молодость, гоняясь за женщинами и кокетничая прогрессивными идеями, обманывая людей и ведя постыдную торговлю под маской политического эмигранта, всего лишь пошлейший преступный тип, которого даже испанская полиция, не посмотрев на высокое покровительство, тотчас упрятала бы в тюрьму, если бы знала, чем он занимается.

Такси остановилось у входа в отель «Палас». Несколько безработных оборванцев бросились к автомобилю и распахнули дверцу. Протянув руки, они молча ждали чаевых, как разоренные испанские гранды во время наполеоновского нашествия. Может быть, это были бойцы с баррикад гражданской войны. И смутное чувство, похожее на стыд, шевельнулось в груди Луиса, когда он опускал монеты в их ладони.

Отдохнув с дороги, Луис Ромеро принял ванну, переоделся и сошел в ресторан. Служащие отеля записали его имя с особенной угодливостью, мальчики при лифте отвесили ему низкие поклоны, рассыльные благоговейно следили, не понадобятся ли знатному сеньору их услуги. Когда он проходил через устланный дорогими коврами роскошный холл, блестевший золотом, зеркалами и черным деревом, дамы жадно впивались взглядами в неизвестного смуглого красавца, а мужчины лениво затягивались сигарами и с деланным равнодушием старались определить его профессию. Дипломаты оси снисходительно признали в нем испанского аристократа (семитские черты, важная осанка), англичане приняли его за итальянца (прошел мимо, гордо вскинув голову), а торговец с Балкан с восхищением подумал, что он марокканский раджа, хотя в Марокко нет раджей, а есть только султаны и шейхи. Ближе всех к истине была одна проститутка из высшего общества, припомнившая, что встречала этого незнакомца в приемной полицейского инспектора в Перпиньяне, и она чуть заметно улыбнулась ему в знак солидарности, потому что оба они с одинаковым искусством притворялись добропорядочными. Остальные женщины, напротив, испытали чувство тяжелой обиды. Этот франт не соблаговолил даже взглянуть на них. Держась все так же недосягаемо и обмениваясь взглядами только с кельнерами, которые носились, развевая полы своих фраков, и зорко наблюдали за клиентами, потому что получали два жалованья – одно от отеля, другое от полиции, – Луис Ромеро неторопливо пообедал, потом выпил кофе в холле и удалился в свою комнату. Лег и уснул.

Когда Луис проснулся, его опять охватило ощущение одиночества и пустоты. Он встал, открыл окно и выглянул на улицу. Солнце клонилось к западу, дневная жара спала. По Сан-Херонимо и Пасео-дель-Прадо звенели трамваи, битком набитые чиновниками, которые ехали на службу, обсудив в шумной компании в кофейне все злободневные вопросы политики, боя быков и спорта. Гувернантки с детьми стайками направлялись к Ретиро и тенистым платанам у обелиска Даоиса и Веларде в центре площади Лояльности. Дорогие американские лимузины и дребезжащие такси отъезжали от «Рица» и останавливались перед «Паласом», поднимались вверх по Сан-Херонимо или сворачивали к Кастеляне. Газетчики выкрикивали названия вечерних выпусков. Мадрид медленно пробуждался от послеобеденного сна.

Луис Ромеро стал бриться, одновременно уточняя про себя все, что ему предстояло сделать. В своих чемоданах он вез около пятидесяти килограммов морфия – целое состояние, если их продать в Южной Америке. Держать товар в отеле было совершенно безопасно: во-первых, вряд ли найдется полицейский агент, который рискнет рыться в багаже человека, носящего имя Эредиа, и, во-вторых, у Луиса было официальное разрешение французского правительства на доставку этого артикула в Барселону для одной фиктивной фирмы. Теперь вся хитрость состояла в том, чтобы протащить морфий без таможенного досмотра в Аргентину. Надежные и опытные люди, способные провернуть это дело, у Луиса были, оставалось только все организовать.

Побрившись и выйдя из отеля, Луис пошел прямо на почту и послал телеграммы трем вполне почтенным лицам: одному в Барселону, другому в Кадис и третьему в Буэнос-Айрес. Господ из Барселоны и Кадиса Луис просил приехать в Мадрид, а сеньору из Буэнос-Айреса предлагал связаться с двумя фирмами, экспортирующими мороженое мясо, и сообщить, не нуждаются ли они в холодильниках для своих складов. Разумеется, это были не фирмы, а два прожженных мошенника из банды Луиса.

Отправив телеграммы, Луис пошел по Алькала с намерением выпить кофе в «Молинеро», но, дойдя до Военного казино, раздумал. Перед казино на тротуаре стояли столики, за которыми уже расселись старички в жакетах или длинных сюртуках и лакированных туфлях с белыми гамашами, в белых перчатках и крахмальных воротничках. Эти почтенные господа с моноклями и тростями, большей частью захудалые дворяне, ревниво сохранявшие старомодную элегантность времен Альфонса XIII, насколько позволяли им пенсии и ренты, уцелевшие после мотовства в годы буйной молодости, были ветеранами монархической Испании. Они сражались в джунглях Кубы и Филиппин за бога, за короля и за Испанию. Они жили памятью о прошлом, слегка огорченные настоящим, потому что каудильо все еще не решался уступить власть претенденту, дону Хуану, но все же довольные тем, что он хотя бы покончил с республикой. Теперь они поглощали алкоголь и курили гаванские сигары в ожидании старческой инфлюэнцы, которая унесет их в рай. То, что они попадут в рай, а не к Люциферу, не вызывало у них сомнений – ведь они были добрые католики и каждый день исправно посещали литургию. Эти кавалеры с атеросклерозом, кроме пристрастия к выпивке, сохранили еще одну привычку молодости: заигрывать с красотками, фланирующими по тротуарам, из-за чего последние почему-то прозвали их «мухоморами».

Увидев этих «мухоморов», Луис подумал о братьях, которые жили в Мадриде и которых надо посетить. Это были дон Индалесио де Эредиа, адмирал, и дон Франсиско де Эредиа, депутат. Сейчас как раз было очень удобно зайти к дону Индалесио в военно-морское министерство, оно находилось в двух шагах. И Луис снова вышел на Пасео-дель-Прадо. Перед входом в министерство, как маятники стенных часов, двигались двое часовых в форме морской пехоты. Они встречались у самой середины входа, вскидывали винтовки на плечо, на миг застывали друг против друга, потом делали полный поворот кругом и снова мерными шагами расходились, чтобы опять сойтись. Между этими живыми автоматами у колонны стоял навытяжку сержант, тоже на посту. Луис подошел к нему и сказал, кого он хочет видеть. Сержант доложил о нем по телефону. Тотчас выбежал дежурный мичман из протокольного отдела в парадном синем кителе и услужливо повел за собой брата высокого начальника. Они прошли через длинные коридоры и мрачные залы, украшенные бюстами множества славных адмиралов, начиная с эпохи Лепанто и Непобедимой армады вплоть до черных дней войны за Кубу и Филиппины.4 В этом министерстве витал дух если не теперешнего, то по крайней мере былого морского могущества Испании, подточенного и разрушенного вереницей неразумных Альфонсов.

Мичман ввел Луиса в кабинет дона Индалесио.

Два брата, Эредиа-адмирал и Эредиа-контрабандист, кинулись друг к другу и порывисто обнялись.

– Луисито!.. – всхлипнул прослезившийся адмирал. – Луисито! Ты ли это?… Господи!..

– Дорогой братец!.. – умиленно воскликнул Луис. – Дорогой братец!..

И замолчал, потому что, в сущности, ничуть не волновался и не знал, что еще сказать. А мичман, тронутый этой встречей, поспешил выйти, чтобы рассказать товарищам, как расчувствовался адмирал.

Братья долго обнимались и хлопали друг друга по спине, как того требовал испанский обычай, и наконец уселись друг против друга в глубокие кожаные кресла, а статуя дона Хуана Австрийского, победителя при Лепанто, хмуро взирала на сцену свидания адмирала испанского флота с заурядным контрабандистом. Успокоившись, они стали беседовать о своих братьях и сестрах. Поскольку семья была немалая и они могли кого-нибудь пропустить, дон Индалесио предложил перебирать всех по порядку, начиная со старшего. И так они поговорили о Доминго-епископе, о Франсиско-депутате, об Энрико-полковнике и о Гилермо-землевладельце. По той же нисходящей возрастной дон Индалесио упоминал и сестер: Марию Кристину, Росу Амалию, Марию Пилар, Эмилию Кармен и еще нескольких. О вышедших замуж за время отсутствия Луиса дон Индалесио сообщил подробно: за кого они вышли, какое состояние и какие привычки у их супругов, а также поскольку детей они произвели на свет. Милостью судьбы все перечисленные до сих пор были живы и здоровы. Но когда братья дошли до самого младшего члена своего многочисленного семейства, Рикардо-монаха, голос Дона Индалесио дрогнул.

– Ты уже знаешь о Рикардо, не так ли?- – грустно спросил адмирал.

– Мне писал Доминго.

– Что он тебе писал?

– Что он умер от сыпного тифа.

– О, точно ничего не известно! – воскликнул дон Индалесио. – В сущности, никто не знает, как умер Рикардо… Из всего персонала больницы уцелел один обезумевший монах, который нес бессвязную чепуху, и сестра милосердия…

– Бедный Рикардо! – сказал Луис.

И ему стало стыдно, что его почти не тронула смерть самого младшего брата. Он смутно помнил его: хрупкий смуглый подросток с горящими глазами и впалыми щеками, в рясе ученика Алхесирасской иезуитской семинарии, всегда сторонившийся игр и веселья. Он любил этого мальчика за странное пламя, светившееся в его глазах, и презирал за кресты и молитвенник, которых тот не выпускал из рук.

– Рикардо был очень даровит, – грустно продолжал адмирал. – Ты, может, не знаешь, он закончил медицинский, философский и теологический… Еще совсем молодым он достиг высокого положения в ордене. Отец Педро, граф Сандовал, видел в нем своего преемника и будущего генерала ордена…

– Какого ордена?

– Иезуитов.

– Ах… да! – сказал Луис.

И братья с полминуты хранили грустное молчание, дабы подчеркнуть друг перед другом свою скорбь о Рикардо-иезуите.

– А ты что делаешь? – спросил адмирал, переборов скорбь.

– Разъезжаю!

– Чем занимаешься?

– Торговлей.

Щетинистые, уже посеребренные сединой брови Индалесио недовольно дрогнули. Торговля стояла ниже достоинства испанского аристократа. Эредиа не должен заниматься торговлей.

– Чем ты торгуешь?

– Медикаментами, – невинно ответил Луис.

Он не солгал. Он считался владельцем фирмы, торгующей медикаментами.

– Долго пробудешь здесь?

– Около месяца.

– А потом?

– Поеду в Аргентину.

– Hombre!.. Hombre!..5 – проворчал идальго с неодобрением.

Дон Индалесио был убежден, что несчастья постигали Испанию только из-за того, что испанские аристократы с давних пор покидали родину и эмигрировали в Америку.

– А вы как здесь? – в свою очередь спросил Луис, чтобы пресечь дальнейшие расспросы брата. – Как пережили гражданскую войну?

– Слава богу!.. – набожно ответил дон Индалесио. – Господь сохранил нас. Наша семья собралась в Кордове. Мы уцелели, но пролилось много благородной крови… Красные чуть не вырезали всю аристократию!

Луис не ответил. Набожный тон брата разозлил его, и, вместо того чтобы вслух порадоваться вместе с ним, он холодно подумал: «И хорошо бы сделали».

Они поговорили еще о дядьях и тетках, тоже довольно многочисленных, а потом, как это часто случается с родственниками, почувствовали, что тяготятся друг другом. Луис записал адреса Доминго-епископа и Франсиско-депутата, чтобы навестить их в ближайшие дни. Потом еще раз обнял брата и вышел из министерства.

**II**

Установилось знойное, солнечное и ослепительно яркое мадридское лето.

Южноамериканские красавицы из отеля, которые иногда заглядывались на Луиса Ромеро, одна за другой отбывали со своими приятелями и отцами в Сан-Себастьян и на другие курорты Атлантического побережья. Оставались только деловые люди, большей частью испанцы, захваченные новой горячкой – вывозом вольфрамовой руды, да еще второразрядные служащие посольств воюющих стран. Все они мучительно потели от невыносимой жары и искали прохлады в баре.

Днем небо дрожало в тяжелом свинцово-сизом мареве, а вечерами становилось оранжевым и изумрудно-зеленым, и на его фоне вырисовывались небоскребы Гран-Виа, купола почты, обелиск Даоиса и Веларде. Горожане располагались в тени на Пасео-дель-Прадо и на площади Кановас, болтали, курили, ели бананы или читали чувствительные романы о севильских цыганках и бандитах со Сьерра-Невады. Кафе кишели чиновниками, которые негласно отвоевали себе привилегию приходить на службу часом позднее, потому что в таком пекле невозможно работать. На высоких стульчиках в барах, где было прохладней, но напитки стоили дороже, дремали кокотки с оранжевыми от пудры лицами, с губами цвета цикламена и иссиня-черными волосами. Они были похожи на яркие экзотические цветы, заготовленные для ночной распродажи, когда их за бесценок расхватывает вульгарная публика. В этих барах держался возбуждающий запах потных женских тел, алкоголя и пряных духов.

Раскаленный воздух торговых улиц Монтера и Севильи был насыщен испарениями бензина, запахом автомобильных шин и мануфактуры. Жители центра с нетерпением ждали захода солнца, когда со Сьерра-де-Гвадаррамы потянет легким освежающим холодком, а из открытых дансингов и кондитерских грянут джазы, гитаристы, зазвучат андалусские песни. Тогда столики перед кафе «Молинеро», «Аквариум» и «Марфил» займут мужчины и кокотки богатого, делового, торгового Мадрида, мужчины, которые использовали приятное отсутствие жен, отправленных на курорты, и с которыми «мухоморы» не желали смешиваться потому, что их раздражал шик этих парвеню, и еще потому, что они-то, мелкие дворяне и «мухоморы», были люди совсем другого пошиба: у них были прадеды, сражавшиеся под командованием Франсиско Писарро и герцога Альбы, и оттого им следовало сидеть в неприглядном, не защищенном от палящего солнца, но аристократическом казино, отдельно от народа.

Так выглядели днем и вечером Гран-Виа, Алькала и Пасео-дель-Прадо. Но стоило посетить предместья Чамбери, Саламанку и Чамартин, коммунистические кварталы за Браво-Мурильо и вокруг Сьюдад-Университариа, чтобы понять, почему испанцы прогнали последнего Альфонса и почему даже калеки встали на защиту республики. Здесь, под синим небом, солнце безжалостно освещало развалины – последствия гражданской войны. Здесь были только горе и нищета. Инвалиды, бывшие защитники баррикад, ковылявшие на костылях в поисках тени под разрушенными. И оградами, вдовы бойцов рабочих батальонов, матери, сыновья которых были поголовно перебиты из итальянских пулеметов, туберкулезные дети, все еще игравшие в vohmtarios,6 черноволосые девушки с желтыми лицами, которые пели «Интернационал» и носили патроны в окопы и которые все еще, несмотря на голод, сохраняли свое женское достоинство. Эти обитатели скорбных кварталов своими костылями, лохмотьями, нищетой и горем все как один проклинали лицемерную набожность и средневековое мракобесие, богатство и эгоизм другого, блестящего Мадрида. Ни один благочестивый кюре, ни один знатный сеньор не удостаивал своим любопытством этот страшный Мадрид, потому что все они боялись его обитателей. И только к вечеру, когда солнце заходило и вытягивались вечерние тени, когда к грязным лавчонкам направлялись молчаливые женщины купить немного лежалой рыбы и прогорклого оливкового масла на деньги, вырученные за день, по улицам проезжали конные патрули гражданской гвардии с карабинами за спиной и тяжелыми кожаными плетками в руках, чтобы внушить жителям этих подозрительных кварталов уважение к власти.

Однажды в послеобеденные часы, решив посмотреть места, где бушевали сражения за Мадрид, Луис обошел эти унылые улицы, хотя и сознавал, что не имеет с ними ничего общего, что он только заурядный контрабандист, ничтожество. И все же ему было приятно сознавать, что он навсегда порвал с классом угнетателей.

Господа из Барселоны и Кадиса (один был представителем немецкой химической фирмы, другой – капитаном) прибыли и договорились с Луисом о подробностях той части операции, которую они брали на себя. Потом они вынесли запрещенный товар с видом почтенных коммерсантов: можно было верить в их pun d'honor,7 так как они наравне с Луисом подлежали уголовной ответственности и поместили свои деньги в это предприятие. При себе Луис оставил лишь около десяти килограммов, которые собирался сбыть в Рио-де-Жанейро, чтобы закрепить связь с одним тамошним поставщиком. Товар был расфасован в маленькие пакетики и размещен между двойными стенками чемоданов. Упаковку большой партии взял на *себя* сеньор Дитрих, представитель немецкой фирмы в Барселоне, который с давних пор практиковал остроумный способ обмана: он насыпал морфий в склянки для химикалиев с невинными этикетками и запечатывал их фальшивой печатью фирмы. Таким образом склянки благополучно достигали места назначения на торговом судне, где служил сеньор Кинтана, капитан из Кадиса. Партию следовало отправить после получения телеграммы из Буэнос-Айреса, Но телеграмма не приходила, и Луис Ромеро стал тяготиться бездельем.

Чтобы убить время, он завел привычку ходить по утрам в Прадо, обычно в зал Веласкеса, картины которого освежали его душу, насыщали ее своей жизненностью, и Луис, постояв перед «Пьяницами», «Пряхами» и «Менинами», отправлялся погулять по Пасео-де-Реколетос, уже без раздражения наблюдая людей. Такое же чувство он испытывал, перечитывая «Дон-Кихота» и «Ласарильо с Тормеса». В музее и в этих книгах, в квартале, окружавшем Сыодад-Университариа, Луис ощущал подлинное достоинство своего народа, безжалостно подавляемое кастой помешанных мистиков, лицемеров и хвастунов, которые рядили его на забаву всей Европе в шутовские лохмотья традиции. Но велика ли цена тому, что он это сознает, если он так далек от своего народа, если он равнодушен к несправедливости, если его не интересует ничья судьба, ничто, кроме его постыдной торговли? И Луис почувствовал лишний раз, что он человек пропащий, что ему уже не выкарабкаться, что угрызения его совести – это лишь слабый и никому не нужный порыв возмущения против несправедливости, жалкий фарс, разыгрываемый остатками его былого нравственного сознания. У него отсутствовала воля. Он не мог ничего предпринять. Источник нравственной энергии, дающий жизни смысл, у него уже иссяк.

«Ну и что из того?» – спросил он себя и мысленно над собой посмеялся. Глупая сентиментальность, в которую он впал, вероятно, вызвана бездельем из-за отсутствия телеграммы. Пришла бы наконец эта чертова телеграмма!.. Смена впечатлений в поездке, риск, нервный подъем, который он испытывал, сталкиваясь с другими такими же, как и он, мошенниками, выведут его из этого состояния, снова заполнят его жизнь. Но чем дольше он ждал телеграммы, тем больше росло его нетерпение. Он забросил музей. Целыми днями валялся у себя в номере и читал дурацкие детективы, потягивая виски и проклиная медлительность аргентинца.

Как-то после обеда в его комнате зазвонил телефон и вывел его из этого состояния.

Женский голос не совсем уверенно спрашивал Луиса. «Какая-нибудь из теток», – подумал он с досадой. Дон Индалесио, наверное, раззвонил всем родственникам о его приезде. Но незнакомка говорила с заметным иностранным акцентом и спрашивала известного только за пределами Испании сеньора Ромеро. Кто бы это мог быть? Значит, в отеле есть особа, встречавшая его за границей! Кар-рамба!..

И Луис насторожился.

– Кто говорит? – спросил он.

– Одна знакомая.

– Ваше имя?

– Называть его нет необходимости.

– Что вам угодно?

– Я бы хотела встретиться с вами…

Луис раздраженно хлопнул трубкой. «Дура!..» – подумал он. Женщины часто приставали к нему таким идиотским способом. Но потом ему пришло в голову, что это, вероятно, одна из жриц любви, вышвырнутых конкуренцией из Сан-Себастьяна. В общем, Луис не презирал этих женщин. Все они проявляли одну и ту же слабость – влюблялись в него и самоотверженно помогали в контрабанде. И он не без сожаления подумал, что, может быть, звонила одна из этих не всегда бессовестных и вечно униженных женщин.

Телефон зазвонил еще раз. Незнакомка не отчаивалась.

– Ну, говори! – сказал Луис снисходительно.

– Я хочу тебя видеть!

– Где мы встречались?

– Мы не встречались вообще.

– Врешь!.. Кто ты такая?

– Англичанка, – последовал сердитый ответ.

– Верно, Эдит с фальшивым жемчугом?

– Никакая не Эдит! – раздраженно сказала незнакомка.

– Э, я не могу тебя узнать!.. – добродушно заявил Луис – Скажи, кто ты?…

– Это неважно, – ответила она упрямо.

– Тогда пошла к черту и оставь меня в покое!.. После ужина я буду в Негреско. Подойдешь ко мне, я подкину тебе деньжонок.

И Луис опять положил трубку. Несомненно, это была Эдит – вымогательница, обиравшая пожилых мужчин, которая разъезжала одно время по Южной Америке и потому немного знала испанский. Она тоже любила Луиса и даже разрешала себе его ревновать. У нее были глупые увлечения порядочной женщины. Мережить платочки и пришивать ему оторванные пуговицы доставляло ей величайшее удовольствие. Она часто набиралась нахальства и преследовала его, мистифицируя подобным образом. Но сейчас Луис не рассердился. Ему пришло в голову взять ее с собой в Рио-де-Жанейро и дать ей рискованное поручение провезти чемоданы. Попадись Эдит в руки полиции, она скорей позволит вырвать себе язык, чем скажет, от кого получила товар. Да, это, конечно, Эдит!.. И Луис обрадовался, когда телефон зазвонил опять.

– Слушай, негодник! – сердито призналась незнакомка наконец. – Это я, Эдит!

– Меня не обманешь. Когда ты приехала?

– Вчера вечером.

– Откуда?

– Из Сан-Себастьяна. Приходи сейчас же ко мне!

– Подождешь, пока я побреюсь. В каком ты номере?

– В сто втором, Луис!..

Эдит запнулась как бы в нерешительности.

– Что еще?…

– Принеси мне немного товара!

– Для кого?

– Для меня. В сто второй, запомнил?

И Эдит в свою очередь сердито хлопнула трубкой. У нее был строптивый шотландский нрав, который спасал ее от обычного у падших женщин раболепия, и потому она больше нравилась мужчинам.

Луис принял ванну, побрился, оделся и тщательно пригладил черные, блестящие, как антрацит, волосы. Потом надушился «Gato Negro» – духами обольстителей. Эдит была крайне придирчива к своим любовникам, даже к тем, кого любила по-настоящему. Она не была особенно красива, но одевалась изысканно и благодаря усердному чтению викторианских романов умела держаться как женщина из общества. Но за каким чертом ей понадобился сейчас морфий? Может, ей нужен только один пакетик, чтобы кому-то подарить? У нее ведь тоже своя сеть предприятий и помощники из подпольного мира, которых надо вознаграждать. И Луис сунул в карман стограммовый пакетик. Потом бросил довольный взгляд в зеркало и вышел из комнаты. Он был слегка взволнован. Тело Эдит смутно напоминало горьковато-сладкий вкус тела Жоржет Киди, зарезанной моряком в Бейруте. Широко и быстро шагая, он направился на второй этаж. Толстые ковры поглощали звук его шагов. Был час послеобеденного сна, и в коридорах, где горели матовые лампы, бросая отсвет на темно-красную полировку дверей, не было ни души. Даже мальчики-лифтеры лениво дремали на своих стульчиках. Луис подошел к сто второму номеру и уверенно постучал. Дверь отворилась. За ней стояла женщина в блекло-зеленом шелковом пеньюаре. Но эта женщина была не Эдит.

В первый момент Луис решил, что ошибся дверью, и, растерянно пробормотав: «Извините, сеньора!» – уже сделал движение, чтобы уйти. Он никогда не видел этой женщины, и ее глаза – холодные, зеленые глаза, блестевшие в полумраке передней, – вдруг смутили его. У нее было бледное лицо и пепельно-белокурые волосы, стянутые за ушами. Смущение Луиса усилил испуг этой женщины, в свою очередь отпрянувшей назад. Она слабо вскрикнула, по телу ее прошла дрожь, а глаза расширились от ужаса, точно перед ней стоял сам дьявол. «Каррамба!.. – подумал Луис – Да она помешанная!» И он почувствовал разочарование, потому что не увидел перед собой Эдит.

– Это вы мне звонили? – спросил Луис.

– Да, – ответила женщина.

Она овладела собой почти так же мгновенно, как испугалась, и знаком пригласила его войти. Потом смерила его взглядом и улыбнулась презрительно.

– Пройди в комнату, – сказала она, обращаясь к нему на «ты».

«Вымогательница, – подумал Луис, неприятно удивленный, – или подослана для переговоров». Может, за этой женщиной скрывается банда ирландца О’Греди, соперника Луиса, который тоже пытается проникнуть на богатый аргентинский рынок?

Луис вошел и инстинктивно нащупал маленький револьвер, который всегда носил в заднем кармане брюк. Но сразу успокоился. Он стоял в гостиной, в открытую дверь был виден смежный с нею кабинет, еще дальше – спальня. Женщина занимала целый апартамент, стоивший самое малое двести песет в сутки. Следовательно, у нее много денег и она, конечно, не из банды О'Греди, который во всех своих делах проявлял неразумную скупость и вряд ли раскошелился бы на содержание такой дорогой агентки. Еще меньше она была похожа на тех женщин, что обедают в ресторане в одиночку и молча, одним взглядом, предлагают себя за плату. Но кто же она такая? И он опять заподозрил, что она помешанная. Желтоватый полумрак в комнате все еще мешал ему рассмотреть ее как следует. Он только догадывался, что черты ее лица, линии плеч, все ее тело красивы, или, скорее, соблазнительны. Может быть, эта женщина заметила его где-то и теперь хочет сделать своим любовником? Черт побери, она, кажется, недурна!.. Богатые и избалованные северянки часто ошеломляли его подобными предложениями. Но Луис сильней всего презирал именно этих женщин.

Она продолжала разглядывать его все так же напряженно, точно хотела увериться, что он не призрак, испугавший ее в первый момент.

– Где ты меня видела? – спросил он грубо.

– В Монте-Карло.

– Я никогда не бывал в Монте-Карло.

– Врешь!.. – сказала она презрительно. И, помолчав, добавила: – Ведь ты испанец?

– Да, из самых худших, – подчеркнул Луис.

– У тебя есть родственники?

– Целая куча.

– Чем они занимаются?

– Просят бога, чтоб он вернул монархию.

Лицо ее дрогнуло. Потом она рассмеялась.

– Не хочешь ли ты уверить меня, что ты Эредиа? – спросила она с неожиданной иронией.

– Я хочу тебя предупредить, что, если ты будешь много болтать, тебе не поздоровится.

– Болван! В любой момент я могу выдать тебя полиции!

Луис схватил ее за руку и злобно вывернул кисть.

– Ты за этим меня позвала? – спросил он, задыхаясь от ярости.

– Нет!.. – Она застонала от боли. – Мне нужен морфий!.. – И, царапая ему кожу ногтями другой руки, бешено захрипела: – Пусти, гангстер!.. Я позову на помощь!.. Луис презрительно отпустил ее руку. Значит, эта женщина просто морфинистка! Но все равно это неприятно. Она может проболтаться и скомпрометировать его еще здесь, в Испании. Какая нелепость!

– Кто тебе наплел, что я продаю морфий? – спросил он грубо.

– Один знакомый из Биаррица.

– Враки!.. Я не продаю морфий.

– Ты обещал его Эдит!

– Ты не поняла, дура.

– Сядь и поговорим спокойно, – предложила она, справившись с собой.

Луис сел напротив нее. Она разглядывала его с отвращением, злобно улыбаясь, точно хотела сказать: «Ты негодяй!.. Ты мерзкий кабацкий тип!» Лицо ее дышало ненавистью, которая внезапно уязвила Луиса. «Я тебе отплачу», – подумал он хладнокровно.

– Как зовут твоего знакомого из Биаррица? – спросил он, закуривая сигарету.

– Ты становишься невыносим! – сказала она с нервной улыбкой.

Луис не настаивал. Женщина из высшего класса не желала спускаться до уровня плебея, до жалкого, вульгарного контрабандиста. Вероятно, она считала унизительным для себя осведомлять его о своих знакомых, но, с другой стороны, не хотела и раздражать и потому улыбнулась. Луис не мешал ей говорить. Она наивно пыталась внушить ему, что ее порок – невинная страсть, пустяковая прихоть, вроде табака у людей, которым врач запретил курить. В то же время она дала ему понять, что не допустит вымогательства. Она знает и других торговцев, но просто ей не хочется соваться в сомнительные бары, где иной раз бывает хороший товар. Чистый ли продукт предлагает Луис? Да? Она посмотрит. Она принимает морфий только под настроение и отказывается от него, когда захочет.

Пока она с надменным видом болтала и лгала, Луис сумел лучше рассмотреть ее. Весь облик незнакомки напоминал мрачные по колориту портреты англичанок в Прадо. Свет из окна падал на нее сзади, оставляя лицо в полутени. У нее были зеленоватые северные глаза с холодным леском, которым пепельно-белокурые волосы придавали акварельную прозрачность; тонкие, почти бескровные губы свидетельствовали о гордости и жестоком сплине. Она была, так сказать, великолепным экземпляром британской аристократической касты. Но минутой позже тени под глазами, восковая исхудалость щек, манера говорить, жесты поведали Луису о необратимых разрушениях, нанесенных ядом. Она употребляла морфий давно и в страшных дозах! Наверное, только хорошее питание спасало ее от полного разрушения. И все же она выглядела необычайно красивой – гордая, холодная, замкнутая, как это свойственно англичанам, которые сохраняют свою неприступность даже в грязи и мерзости порока. Было что-то раздирающе тоскливое в этом контрасте между ее притворной беспечностью и внутренней драмой ее личности. В первый раз в жизни Луис видел такую трагическую фигуру. И может быть, он ощутил бы сострадание к незнакомке, если бы она невольно, бессознательно, каждым жестом и каждым словом не выражала глубокого презрения к нему. У него не было оснований сердиться – разве он имел право требовать уважения? – но в ее взгляде, в этих надменных зеленых глазах был какой-то презрительный блеск, который больно ранил его гордость. И Луис твердо решил поступить безжалостно.

Наконец после общих фраз разговор стал более конкретным. Луис принялся в сдержанных выражениях, как порядочный торговец, хвалить свой товар. Он заверил ее, что порошок абсолютно чист, без примеси героина, который действует вредно (будто сам морфий мог быть полезен). Она спросила, каким количеством морфия он располагает, и тогда, вытащив пакетик, Луис сказал, что здесь сто граммов. Несмотря на ее старания казаться равнодушной, глаза женщины алчно сверкнули, и Луис прочитал в них безнадежную страсть к наркотику.

– О!.. – вырвалось у нее. – Мне хватит на три месяца.

– Это зависит от того, какую дозу ты принимаешь.

– Да, разумеется… Я считаю, как кухарка. Мне хватит на целый год! Больше!.. Я принимаю очень маленькие дозы!

Она лгала. Первая реакция – вспышка радостного изумления, которую она не смогла подавить, – была достоверней. Наверное, она дошла до восьмидесяти или больше сантиграммов в день – доза, за которой стоят безумие и смерть. Ее худая изжелта-бледная рука конвульсивно схватила пакет. Этот жест и горячечное пламя в глазах подсказали Луису, что в данный момент у нее нет морфия. Наверное, ее последние запасы кончились, и нервы ее уже много часов голодают. Несмотря на старательное притворство, депрессия организма была совершенно очевидна. Луис понял, какую выгодную сделку он мог бы сейчас заключить, если бы продавал в розницу. Но даже в этом случае не жадность определяла бы его действия, а только ненависть. Он испытывал к этой женщине какую-то необъяснимую, жестокую и почти несправедливую ненависть. Она рассматривала пакет с неудержимой радостью, с животным удовлетворением, которого не могла скрыть. Особенное выражение глаз, лихорадочная быстрота, с какой пальцы ощупывали пакет, в любом другом случае вызвали бы у Луиса только жалость. Однако теперь он наблюдал эту нервозность со злобным удовольствием. Пакет был облеплен фальшивыми этикетками с печатями и подписями, которые должны были уверить жертву, что морфий прошел все анализы и проверки. Впрочем, хотя этикетки были фальшивыми, товар действительно был совершенно чистый. Вскоре женщина, вероятно, спохватилась, что нельзя обнаруживать волнение, не то она может подвергнуться вымогательству. С равнодушным видом она положила пакет на столик черного дерева, ближе к Луису, чем к себе, словно ей ничего не стоило возвратить пакет владельцу. Еще в первые годы своей карьеры, торгуя в розницу, Луис познакомился с этим приемом своих жертв и сейчас притворился, будто не заметил его. Борьба за цену началась.

– Сколько ты хочешь за это? – спросила она небрежно, но в ее тоне проскользнула тревога.

– Пять тысяч песет, – спокойно ответил Луис.

Его голос прозвучал непоколебимо. Сумма, которую он запросил, была поистине чудовищной. И он не собирался торговаться, а был уверен, что она заплатит, хотя и содрогаясь от ненависти к нему, заплатит, потому что губительная страсть, порок, жажда морфия ее сжигали. Или если не сможет заплатить, то будет унижаться, просить, а именно этого и хотел Луис. Пока она молча, напряженно ждала, чтобы он назвал цену, ее тоскливые зеленые глаза выражали сначала безнадежность, потом боль, потом отчаяние, и, наконец, в них блеснули надменность и издевка. В этой женщине было что-то не поддающееся определению, но вызывавшее у Луиса непонятную ненависть, что-то скрытое в ее характере, какое-то упорство, гордость, неуязвимость и вызов.

– Hijo! – воскликнула она со смехом. – Это безобразие!

«Hijo!» Она назвала его «hijo»!.. Это слово было полно оскорбительного снисхождения, которое взбесило Луиса. Испанцы звали ласково «hijo» своих сыновей и приятелей, но этим же обращением они пользовались, подзывая носильщиков на вокзалах или прогоняя нищих. В убийственном тоне, каким она произнесла «hijo», опять прозвучало то самое, странное и таинственное в ее характере, что низводило людей на уровень существ, лишенных достоинства, безнаказанно топтало и унижало их. Ненависть, еще более сильная, чем раньше, опять перехватила горло Луису.

– Слушайте! – яростно крикнул он по-английски. – Никто не заставляет вас покупать морфий.

Гримасу удивления на ее лице тут же смыло презрительное равнодушие. Что удивительного в том, что Луис говорит по-английски? Такие типы, как он, могут владеть и пятью языками.

– Ты с ума сошел! – сказала она опять по-испански, как будто не хотела слышать свой родной язык из уст мерзавца. – Ты давно занимаешься этим делом?

– Десять лет.

– Значит, у тебя немалый опыт. Ты серьезно допускаешь, что я настолько глупа, чтобы заплатить такую сумму?

– Я прошу такую сумму именно потому, что у меня немалый опыт.

Ее веки, припухшие и синеватые, возмущенно затрепетали.

– Это вымогательство!.. – прохрипела она.

– А кто говорит о честности?

На ее щеках проступил легкий румянец, сразу сменившийся прежней мертвенной бледностью.

– Хорошо! – сказала она. – Я не желаю платить.

– Заплатишь, – произнес Луис невозмутимо, – если хочешь получить морфий.

– Но я могу обойтись без него.

– О!.. Не можешь!

Луис усмехнулся. Протянул руку и спрятал пакетик в карман. Изжелта-бледное лицо англичанки выразило боль и отчаяние.

– Слушай!.. – промолвила она глухо. – Назови разумную цену!

– Я назвал. И ни на сантим меньше.

– Досадно. Ты заставишь меня обходить притоны.

– И обойдешь – ничего не достанешь. Испанцы не употребляют наркотиков даже во время операций.

– Глупости!.. Почему?

– Потому что хотят претерпевать муки, как Христос! – сказал Луис со смехом.

– Твое шарлатанство мне надоело!

– Я могу сейчас же уйти.

– Поговорим еще… Я хочу купить часть твоего морфия. Скажем… десять граммов!

– Я не продаю по частям.

Она беспомощно откинулась на спинку кресла. Ее лицо с полузакрытыми глазами выражало безнадежность. Маска, которую она с трудом сохраняла, вдруг спала. Незнакомка даже не пыталась надеть ее снова. Луис понял – у нее не было денег или она не располагала ими сейчас, и его ненависть к ней перешла в злорадство. Очевидно, родные учредили над ней опеку: оплачивали все, но не разрешали держать при себе большие суммы, чтобы она не покупала наркотиков. Вряд ли Луис мог вытянуть у нее деньги, но это его ничуть не волновало. Деньги и нажива в эту минуту для него не существовали. Он испытывал только темное, необъяснимое желание сломить эту женщину, наказать ее за презрительный изгиб губ, который его оскорблял.

Она с трудом овладела собой, ее зеленые глаза снова заблестели.

– Я предлагаю другую комбинацию, – сказала она. – Я заплачу тебе эту сумму по частям.

– Я не продаю в кредит.

– Ты, может быть, хочешь, чтобы мы разыграли сцену Шейлока и Порции?8

– Шейлока и Антонио, – поправил Луис – Ты – Антонио.

– А ты, оказывается, начитан.

– Везде можно получить кое-какое образование.

– Во всяком случае, ты заслуживаешь того, чтобы я выдала тебя полиции, – сказала она злобно.

– Это будет чисто по-английски!.. Но даже если ты это сделаешь, я не боюсь.

Она поглядела на него озадаченно.

– Я связан с официально зарегистрированной фирмой, торгующей наркотиками, – объяснил Луис.

Она снова откинулась в кресле в полном изнеможении. Жажда морфия сжигала ее, причиняла всему телу тупую боль, она задыхалась, точно в комнате не было воздуха. Но даже теперь в гримасе ее бескровных губ была надменность и холодная гордость. Да, эти презрительно искривленные губы!.. Вот что раздражало и ожесточало Луиса. Внезапно, словно на что-то решившись, она вскочила и, сделав ему знак подождать, прошла в спальню. Луис услышал, как открылся гардероб, и минуту спустя она громко крикнула по-испански:

– Hijo!

Опять она назвала его hijo с тем же презрением, что и раньше. Нет, в этой женщине было что-то отвратительное, какое-то неописуемое злое стремление унижать. Оно давало себя знать даже сейчас, когда ее уже источил порок и угнетала необходимость добывать морфий, без которого она не могла дышать, жить… Луис видел наркоманов – в моменты кризиса они все же сохраняли человеческий облик, не кричали и не оскорбляли так, как она. В их поединке проявлялась не только неврастения, порожденная ее пороком, но и бесчеловечная надменность, чудовищное пренебрежение к людям. Да, вот почему Луис ее возненавидел!.. Услышав ее зов, в первый момент он решил не трогаться с места. Потом понял, что начинается последний раунд, в котором он должен ее сразить. Он встал, прошел через кабинет, где она, вероятно, никогда не сидела, и оказался в спальне. Она стояла у раскрытого гардероба, полного дорогих туалетов и мехов.

– Смотри, hijo, – сказала она донельзя оскорбительным тоном, показывая на гардероб. – Должна признаться, что в данный момент я не располагаю деньгами. Будь у меня деньги, я бы швырнула их тебе в лицо, лишь бы поскорее избавиться от такого шакала, как ты!..

Она призналась, что у нее нет денег, но безденежье и порок не лишили ее ни гордости, ни дерзости, она была все так же полна презрения к Луису и ко всему, что не входит в ее аристократическое и привилегированное «я»… Хотелось раздавить эту женщину, раздавить, как змею… так, без всякой нужды, из одного отвращения. Луис сделал неимоверное усилие, чтобы сохранить спокойствие. И произнес невозмутимо, точно ее слова ничуть его не задели:

– Что ты хочешь сказать?

– Что ты вместо денег можешь взять все, что угодно, из этих вещей.

– Я не торгую барахлом.

– Негодяй!.. Это не барахло!

– Может быть, ты рассчитываешь, что я займусь распродажей этих тряпок?

– Тогда я покажу тебе еще кое-что!.. Сделка должна состояться. Я подохну, если до вечера не достану морфия. У меня нет сил разыскивать других торговцев… Ты прекрасно это видишь!

– Да, вижу! – злобно подтвердил Луис.

– Подлец! – быстро проговорила она. – А как тебе нравится вот это?

Она подала ему массивный золотой браслет, осыпанный бриллиантами, который достала из шкатулки для драгоценностей.

– Недурная вещица, – сказал Луис.

– Возьми и дай мне пакет!

Луис равнодушно положил браслет на стол.

– Что?… – крикнула она возмущенно. – Тебе мало? Возьми и это!

Она бросила на стол кольцо и платиновые серьги.

– Больше у меня ничего нет, – сказала она нервно. – Ничего!.. Ничего!.. Ничего!.. Вот, смотри! – Она схватила шкатулку, опрокинула ее и потрясла перед ним. – Можешь перерыть все мои вещи, обыскать все комнаты! Дай пакет!..

Не обращая внимания на ее слова и жесты, которые становились все лихорадочней, все безумней, Луис собрал драгоценности и опять положил их в шкатулку.

– Невозможно! – сказал он. – Я не могу менять или продавать эти вещи. Я не хочу иметь неприятности с полицией. Ты под опекой.

– Ты продашь их потом… где-нибудь. Это дорогие бриллианты.

– Не желаю. Я хочу получить деньги сразу.

– Тогда дай мне только один грамм… на сегодняшний вечер. Иначе я сойду с ума.

Лицо ее исказилось, она села на кровать и бессильно уткнулась подбородком в ладони. Луис видел, как жгучая жажда морфия раздирает ей мозг, добирается до каждой его клетки. Он вообразил себе ее ночь, черную, бессонную, ужасную… Ее состояние могло бы вызвать жалость, но в презрительной линии ее губ все еще змеилась мрачная и холодная, оскорбительная гордость.

– Я не могу тебе дать один грамм, – сказал Луис. – Пришлось бы порвать этикетки и испортить пакет. Товар обесценится.

Она подняла голову и поглядела на него с немой ненавистью. Потом пошатнулась и ухватилась за спинку кровати. Невозможность достать морфий сломила ее. Мысль об адском дне, об адской ночи, которую она проведет без наркотика, ввергла ее в отчаяние. Конечно, больше ей нечего предложить!.. Но, даже придавленная безнадежностью, она злобно прошипела:

– Паршивая собака!.. Отребье… Я тебя презираю! Кулаки ее конвульсивно сжались. Щеки задергались.

Что-то подсказало ей, что Луис не совсем тот, за кого она его принимает, что ее слова его не трогают. Она хотела его унизить, но гораздо больше унизила себя. Точно они поменялись ролями. Он, плебей, негодяй из вертепов, сохранял спокойствие, владел своими нервами, в то время как она, аристократка, под влиянием дикой жажды морфия вопила, как уличная девка. Какое падение, еще большее, чем порок, которому она предалась!.. Но надменность, гордость снова заставили ее высокомерно вскинуть голову.

– Ты меня презираешь! – произнес Луис с холодным смешком. – Зачем ты мне это говоришь? Не воображаешь ли ты, что я все еще торчу здесь, чтобы заслужить твою благосклонность, чтобы ухаживать за тобой?

Лицо ее болезненно сморщилось, но в словах Луиса ей почудился намек, который внушил ей новую мысль. Она не потеряла самообладания и не раскричалась, как перед этим, но задумалась, потом бросила на него косой взгляд.

– Почему бы нет? – процедила она тихонько. – Разве ты не пошел бы на это?

Луис посмотрел на нее, пораженный внезапной уступчивостью в ее голосе. Она улыбалась горько, но лицо ее странно оживилось. Может, она снова думает о морфии? О, она располагает еще кое-чем, она может предложить свое тело – тренированное, гибкое тело Дианы, которое мужчины когда-то, наверное, боготворили и которое сейчас пожелал некий мерзавец.

– Да, почему бы нет? – подтвердил Луис.

Взгляды их встретились, взгляды, закрепившие молчаливое согласие, если злобную радость, с какой Луис готовился нанести ей последний удар, можно было назвать согласием.

– А после ты дашь мне морфий? – спросила она.

Еще раз она выказывала свой бешеный нрав: вопрос был задан не из недоверия – она еще раз хотела подчеркнуть свое презрение к Луису, свою неуязвимость даже в грязи падения. И она продолжала с оскорбительным равнодушием, точно все, что произойдет, ничуть ее не трогало:

– Ты – законченный мерзавец!.. Теперь мне понятно, почему ты запросил такую фантастическую сумму. Ты умеешь пользоваться случаем! Ты не лишен такта. И подлости тоже! Видимо, кокотки тебе приелись. Давно ли у тебя появилась склонность к женщинам не твоего кабацкого круга?

Она стала снимать туфли, но Луис остановил ее движением руки. Она посмотрела на него тревожно, почти умоляюще, словно почти добытый морфий оказался миражем, таявшим у нее на глазах. Он спокойно вынул пакет из кармана и бросил его ей. Потом презрительно улыбнулся и сказал равнодушно:

– Ты мне не нравишься!

И пошел к двери, но крик, пронзительный, истерический вопль заставил его обернуться. С искаженным лицом, обезумев от гнева, она вскочила с постели, держа морфий в руке. Она ударила его пакетом по лицу, яростно крича:

– Негодяй! Пес из притонов! Я расплачиваюсь всем, но я не принимаю подарков… Понял? Убирайся со своим товаром!

Она была похожа на пантеру. В первый раз Луис увидел, как более мощная сила – дьявольская гордость – побеждает в этой женщине страсть к морфию. Луис нагнулся и поднял пакет. Когда он выпрямился, ее лицо уже застыло в мрачной неподвижности. Зеленые глаза, все еще налитые кровью, напряженно смотрели в пространство, но ярость в них угасла, остались холод и тоска. Луис положил пакет в карман и вышел. Он знал, что без морфия она через сутки сойдет с ума. И внутренний безжалостный голос шепнул ему: «Пусть сходит!..»

Он вышел из отеля и направился по Маркес-де-Куба к Гран-Виа с намерением посидеть в «Молинеро». Несмотря на ранний час и жару, кафе было полно. Он заказал коньяк и, пока неприятный осадок от недавней сцены таял в легком алкогольном дурмане, принялся рассеянно наблюдать толпу. Даже в этот нестерпимый июльский зной мужчины были в крахмальных воротничках и перчатках; женщины, черноволосые, с золотисто-смуглыми лицами и ярко накрашенными губами, лениво посасывали лимонад и обмахивались веерами. Луис невольно сравнил яркость и безмятежность этих женщин с призрачной бледностью и истерией англичанки из отеля. Он вообразил ту женщину среди испанок – точно стальной клинок в букете пестрых безобидных вееров. Сейчас он думал о ней с тревожной смесью любопытства, отвращения и угрызений совести. Он старался определить, что именно могло так безвозвратно толкнуть ее к пороку: снобизм, безделье или что-нибудь еще, какая-нибудь мрачная тайна. Что она станет делать без морфия? Луис мог предсказать с полной уверенностью, что завтра у нее будет припадок – буйное помешательство, которое перепугает мирных постояльцев отеля и кончится для нее клиникой. Он очень хорошо знал, что в этой стадии морфинизм неизлечим и что единственно возможное – это новыми дозами отдалить безумие и самоубийство. Надо вернуться и дать ей пакет. Несмотря на свой бешеный характер, она в конце концов его примет.

Но размышляя о ее падении, Луис вместе с тем осознал и гнусность своего собственного ремесла. До каких пор он будет продавать яд таким несчастным, как она? Не был ли он, в сущности, таким же падшим, как эта женщина? И вдруг его осенило, что в их судьбе есть что-то общее – их объединяет полная невозможность вернуться к нормальной жизни. Она будет продолжать принимать морфий, пока не разрушит до конца свой организм, а он, Луис, будет продавать его, заключать грязные сделки, вести жизнь бандита, человека без дома, без отечества, без близкого существа, которое могло бы спасти его от ужасного чувства одиночества, от ледяного дыхания надвигающейся старости. Оба они – каждый в своей среде и на своем жизненном пути – скользят по одной и той же наклонной плоскости, ведущей в пропасть. Перед ней маячит сумасшедший дом, а перед ним – тюрьма, невеселые скитания по свету, вечное напряжение преступника и горькая, неутешительная мудрость мизантропа. Разница между ними только в том, что она его опередила. Если он идет медленно к меланхолии отщепенца, к неврастении существа, не видящего никакого смысла в своем существовании, то она стремглав мчится к безумию, к самоубийству или смерти в клинике для душевнобольных. Ничто не может замедлить или остановить этого приближения к гибели, ничто – ни прохлада атлантических пляжей, ни соборы и музеи, ни солнце и лазурное небо Испании!.. Вероятно, Эскуриал и Альгамбра нагоняют на нее такую же скуку, как и на Луиса. Они одинаково разъедены своим прошлым или своим образом жизни, одинаково опустились, одинаково бесполезны для себя и для других. Единственное, что им остается, – идти по тому пути, на который они ступили. Им не вернуться назад. Они не знают, зачем живут. У них нет и следа хоть какой-нибудь веры, какого-нибудь мировоззрения, которое поддерживало бы их и помогало жить. Они сознают одно – они упустили то, что стало бы целью и оправданием их существования, и это делает их черствыми, мрачными, жестокими. Да, между ними нет никакой разницы. Только Луис не ищет забвения в наркотиках и все еще старательно поддерживает равновесие своей нервной системы, а эта женщина уже гибнет. Ее гибель так близка, так неминуема, так естественна, как температура у больного тифом или частые революции в Испании. Ее месяцы, недели сочтены.

Но разве его это интересует? Иногда Луис гордился тем, что жизнь отучила его от всякой сентиментальности. Иногда он испытывал мрачное удовлетворение, сохраняя бесстрастие во время самых ужасных драм Но при этом он не сознавал или сознавал только позже, что, сам того не желая, в подобные минуты встает в вечную театральную позу идальго, одержимого упрямой и тупой аристократической косностью, которая противоречит разуму, отказывается понять жизнь и подавляет в человеке все человеческие порывы. Сегодняшний случай лишний раз доказал ему это. Почему он был так жесток с этой несчастной, отравленной морфием женщиной? Надо было не обращать внимания на то, как она держится, попять, что она больна и ненормальна, не унижать ее, продать ей спасительный порошок за умеренную цену. Где источник этой внезапно вскипевшей в нем ненависти к ней? Может быть, в ее презрении к нему? Но какая жертва не презирала бы торговца, хладнокровно и сознательно продающего ей яд? И потом, она была не в себе, ее нервы совсем сдали. Но пока он глотал коньяк, все эти мысли постепенно заглушил горький смех его мизантропии. Почему именно Луис должен волноваться и страдать из-за порочности, извращенности и истерии всех идущих ко дну личностей, которые употребляют морфий? Ко всем чертям эту женщину!

Он подозвал кельнера и расплатился. Потом вышел из кафе и по Алькала направился к Пасео-де-Реколетос. Чтобы доказать самому себе, как мало тронуло его происшествие в отеле, он стал мурлыкать модный португальский мотив и пристально разглядывать хорошеньких женщин. Почти все они были одеты в черное. Лица молодых блестели, как лица статуй из слоновой кости, а волосы, губы и темные глаза на фоне янтарной кожи создавали чудесное сочетание черного с розовым. Что-то кроткое и целомудренное было в спокойствии их взглядов, в их походке, в их черных одеждах. Когда-то Луис презирал этих женщин среднего сословия, так же как и благородных девиц, и скучал в их обществе. Их семьи, по традиции, не давали им достаточного образования, и потому они выглядели глупее, чем были. Но сейчас они казались ему привлекательными и милыми. В самом деле, вряд ли где-нибудь есть женщины достойнее испанок! Ему пришло в голову, что еще не поздно найти девушку из народа – только не аристократку, которая сразу же после свадьбы обнаружит тайные космополитические пороки своего сословия, – жениться на ней и зажить себе спокойно в Гранаде.

И вдруг Гранада всплыла в его сознании такой, какой он знал ее в детстве: белые дома с внутренними двориками, красные башни и кружевные стены Альгамбры, снежные вершины Сьерра-Невады, ослепительно сверкавшие в жаркой лазури андалусского неба. Ему представились религиозные шествия в страстную неделю и торжественные пасхальные дни, когда отец брал всю семью на бой быков. Все тогда казалось блестящим, красочным и живописным. На арену, посыпанную желтым песком, выскакивали громадные разъяренные быки, и тореадор Бомбита убивал их с неподражаемой ловкостью. Как прекрасна, солнечна и жизнерадостна бывала в такие дни Гранада! И когда Бомбита вонзал свою блестящую шпагу в сердце быка, и когда огромное страшное животное в судорогах валилось на землю, сколько торжества было в победном марше тореадоров, с каким неудержимым восторгом мужчины размахивали широкополыми кордовскими шляпами и бросали их в воздух, а женщины, раскрасневшиеся от возбуждения, грациозно помахивали своими веерами!..

И пока он шел по бульвару и думал о Гранаде, воспоминания детства одно за другим возникали в его сознании. В ту пору у него была маленькая кузина, Мерседес. Ребенком Мерседес была хрупкой, худенькой, почти дурнушкой, но потом расцвела, как цветок апельсина, обрела южную сочную прелесть женщины, выросшей под солнцем Андалусии. Луис вспомнил, как однажды поцеловал ее в девственную щечку и как совершил это святотатство не где-нибудь, а в соборе, воспользовавшись набожной сосредоточенностью сопровождавшей ее тетки. Много лет спустя Луис узнал, что Мерседес поступила в кармелитский монастырь и что ее уход в монастырь совпал с его отъездом во Францию. Франция!.. Ах, тогда в его жизни появилась Жоржет Киди, которая заманила его в вертепы Северной Африки и Ближнего Востока. Шагая по все еще раскаленному тротуару, Луис стал думать о Жоржет Киди и о пьяном французском моряке, зарезавшем ее в Бейруте. Собственно, удар предназначался для шеи Луиса, который хотел вырвать свою любовницу из рук пьяного грубияна. Какая, в сущности, мерзкая и в то же время обольстительная женщина была Жоржет Киди! Она обманывала его и все-таки на каждом шагу рисковала ради него жизнью. Ее чувственность подчиняла тогда Луиса с той же неумолимостью, с какой сейчас он был готов отшвырнуть любую женщину, вставшую на его пути. Он с досадой прогнал образ Жоржет Киди и, достигнув памятника Колумбу, пошел обратно и опять погрузился в мысли о Мерседес. Он вообразил себе ее живописную, уже зрелую красоту, оттененную черной рясой, в мраморной галерее одного из андалусских монастырей, среди пальм, мимоз и розмаринов. Но потом с полным равнодушием допустил, что она могла превратиться в истеричную поблекшую девственницу и наступающий климактерический период окутает ее пеленой тупой животной апатии. Мерседес! Неужто она его волнует? Какие глупости! Подходя к отелю, Луис понял, что даже в ореоле юношеских воспоминаний ее образ поблек, стал карикатурно смешным. И когда он входил в отель, другой образ вдруг овладел его сознанием: то был призрак пепельно-белокурой женщины с зелеными, жестокими, усталыми глазами – глазами, в которых вспыхивала адская жажда морфия. Он прошел прямо в бар и, чтобы отделаться от этого видения, выпил несколько рюмок подряд.

Фавн Хорп, родилась в Солт-Медоу в 1912 году. Эти данные Луис узнал на другой день из книги проживающих, любезно предоставленной в его распоряжение одним из служащих отеля. После этого Луис решил больше ею не интересоваться. Ее имя нужно было ему только затем, чтобы обезопасить себя, если бы ей вдруг вздумалось устроить ему неприятности с полицией. Чемоданы с двойным дном он еще с утра на всякий случай переправил к дону Индалесио, который оставил его обедать. Утомленный праздной болтовней брата о необходимости реставрации монархии и скучными семейными анекдотами, Луис вернулся в отель в самое жаркое время дня и лег спать.

Проснулся он около пяти и сошел в бар выпить кофе. У него был билет на бой быков, но он отказался от этого зрелища, потому что в бар вошла Фани Хоры.

Столики пустовали. Постояльцы все еще отлеживались в своих комнатах либо пили кофе в холле; кельнеры в ожидании вечернего наплыва лениво перешептывались. Дым послеобеденных сигар уже рассеялся, и в зале было прохладно и приятно. Но Фани, вероятно, стало не по себе при мысли, что скоро зал заполнится людьми, потому что она тревожно посмотрела на свои часы, а потом огляделась вокруг устало и безнадежно, как преследуемое животное, которому негде укрыться. Она была в красивом сером костюме, и его элегантный покрой до некоторой степени скрадывал ту небрежность, которой дышало все остальное в ее внешности. Волосы ее висели прядями, а пустые, блуждающие глаза делали изжелта-бледное лицо совсем бескровным и призрачным, точно это было лицо со старинного портрета, поблекшего от пыли, сырости и времени, портрета, который так обветшал, что вот-вот рассыплется сам собой, подобно тем фрескам, разрушение которых не может остановить и самая искусная техника.

Она направилась к столику в дальнем конце зала, словно хотела забиться в угол, чтобы спрятаться от людей, и, пока она шла, Луис заметил, что это несчастное создание движется с огромным усилием, пошатываясь и хватаясь за стулья, как боксер, поднявшийся после нокаута, или как пьяный, каждое мгновение рискующий грохнуться на пол. Добравшись до углового столика, она опустилась на стул и хриплым голосом заказала кофе. Потом так же глухо попросила, чтобы кофе сварили двойной, а кельнер ответил звонким испанским: «Si, senora»,9 и жизнерадостность его голоса составила поразительный контраст с теми звуками, которые исходили из ее подточенного морфием организма. И только тут, сопоставив ее походку и внешность с тем, что он уже знал о ней, Луис понял, что она напилась, мертвецки напилась, чтобы алкоголем заглушить сжигавшую ее жажду морфия.

Вероятно, она вышла сразу после обеда, чтобы обойти все подозрительные кафе и бары Мадрида в надежде достать хотя бы грамм спасительного порошка. Вероятно, она униженно выспрашивала у кельнеров, кокоток и сводниц о спасительном яде, способном успокоить ее нервы. Вероятно, пока она скиталась по этим грязным дырам, какой-нибудь невежа предложил ей сигарету или стакан вина, и ей пришлось принимать его ухаживания и объяснять ему, что она ищет только морфий, морфий, морфий… и готова заплатить за него деньгами, драгоценностями, своим телом. Но все ее усилия оказались тщетными. Развращенный и жизнерадостный Мадрид не знал наркомании, ибо предпочитал любовь, вино, бой быков, ибо прогонял угрызения совести исповедями и посещением литургии. Скорее бананы вырастут в Шотландии, чем здесь отыщется хотя бы один грамм яда, которого она жаждала. И после всего этого, усталая, измученная, отчаявшаяся, она пила, пила до потери сознания, чтобы утолить более страшную жажду, которая ее сжигала. Потом она, вероятно, доехала до отеля в такси, вышла, но уже у подъезда ощутила парализующее действие алкоголя, полную невозможность взять ключ от номера, пересечь холл, где толпились любопытные бездельники, добраться до своих комнат. И она зашла в бар у самого входа в надежде, что чашка крепкого кофе отрезвит ее, поможет ей прийти в себя. Но все это было совершенно бесполезно, потому что именно сейчас алкоголь начал действовать. Садясь на стул, она пошатнулась. Кельнеры поняли, что она пьяна, и стали шушукаться, насмешливо ухмыляясь.

Когда она увидела Луиса, выражение ее лица стало еще трагичней и беспомощней. К унижению перед кельнерами, ироническую почтительность которых она уже улавливала, теперь прибавилось новое унижение перед человеком, который так больно оскорбил ее своим великодушием. И опять Луис прочитал на ее лице дьявольскую надменность, неуязвимую гордость, придававшие ей такой вызывающий вид. Выпив кофе, она бросила кельнеру кредитку и презрительным жестом, как собаку, отослала его прочь, чтобы он не беспокоил ее со сдачей. Потом с неимоверным трудом выпрямилась, и ее лицо, обращенное к Луису, выразило холодность, равнодушие и насмешку, точно все случившееся вчера ее ничуть не задело и сейчас она вполне владела собой. Она задержала на нем взгляд всего на секунду, не больше, и даже не сочла нужным ответить на его вежливое приветствие. Вместо этого она сделала эксцентрический жест – благосклонно улыбнулась человеку, который сбивал коктейли, словно хотела сказать: «Ты один интересуешь меня здесь, потому что готовишь отличные коктейли!..»

«Надо было тебя добить!» – подумал Луис, снова почувствовав ненависть к ней. И он ощутил настоящее злорадство, когда, пройдя несколько шагов, она пошатнулась и беспомощно ухватилась за край стола. Она была пьяна, ужасно пьяна. Когда она встала со стула, все коньяки, вина и ликеры, поглощенные за время послеобеденных скитаний по грязным барам, всколыхнулись в ней и, вероятно, ее чуть не вырвало, потому что мучительное усилие, с каким она стиснула губы, отразилось на ее лице. Она едва держалась на ногах и так и стояла, согнувшись, опираясь на стол. Кельнер кинулся к ней и поддержал ее. Она выпрямилась и постояла, опираясь на его руку, лицом к лицу со скандальной перспективой рухнуть на пол или идти дальше с его помощью на глазах у посетителей, уже сидевших в баре, и целой толпы в холле. Она силилась овладеть собой, но не могла, и тогда Луис прочитал в ее глазах полное поражение, немое отчаяние. Вокруг нее распространялся противный запах алкоголя, и, наверное, все уже поняли, что она пьяна. Теперь ей предстояло пройти расстояние до своих комнат под удивленными, насмешливыми или возмущенными взглядами всех присутствующих, приняв помощь презренного кельнера, оказанную им по обязанности, потому что у нее нет ни одного близкого человека, потому что она в раздоре с целым миром. Теперь она была беззащитной, слабой женщиной. Ее зеленые глаза остановились на Луисе – в них были пустота и мука существа, отвергнутого миром.

В следующую минуту Луис машинально встал, подошел к ней и сказал кельнеру громко, так, что все кругом могли его слышать:

– Даме дурно!.. Скорей позовите горничную из сто второго!

Он подхватил Фани под руку и повел ее между столиками так ловко и естественно, что никто не мог предположить ничего особенного, точно они были обыкновенной парой, выходившей из бара. Она пробормотала глухо: «Thanks»,10 а он сказал:

– Думаю, что наверху вам станет лучше. А сейчас постарайтесь, чтобы вас не вырвало.

– Меня не вырвет, – ответила она. – Просто в одном идиотском баре я пила паршивое виски.

Она шла послушно, спокойно, опираясь на его руку. С удивительным самообладанием она делала вид, что все это ее ничуть не задело, точно хотела сказать: «Я напилась совершенно случайно… так?… взбрело в голову» – и точно все это не имело другой, более глубокой причины. Когда они пришли к ней в номер, он уложил ее в постель и укрыл одеялом. Она следила за его движениями усталыми, блуждающими, но чуть удивленными глазами.

– Лучше всего вам заснуть, – сказал оп.

– Да, я постараюсь заснуть.

И она прикрыла веки, отекшие и синие, придававшие ее лицу мертвенный вид.

Он постоял еще немного возле ее кровати, пока усталость и алкоголь не погрузили ее в тяжелый сон. Потом он обратился к горничной, стоявшей в дверях:

– Сеньора больна. Если она проснется и позвонит, сразу вызови меня по телефону.

Он знал, что Фани Хорн проснется через несколько часов, и тогда мучительная жажда морфия охватит ее о новой, еще более страшной силой. Он хотел быть в эту минуту рядом с ней и несколькими уколами спасти ее от припадка. Выйдя от нее, он пошел в аптеку и купил шприц, спиртовку и все остальное, необходимое, чтобы приготовить стерильный раствор морфия и сделать укол, не опасаясь инфекции. Весы были у него в чемодане. Тщательно все приготовив, он поужинал в ресторане, потом послушал в холле струпный оркестр и ушел в свой номер. Во всех этих заботах о Фани Хорн было для него что-то странное и волнующее, они как будто вырвали его из холодной пустоты той жизни, какую он вел до сих пор. Ему захотелось пойти к ней, сесть возле ее кровати и ждать ее пробуждения, чтобы ни на мгновение не оставлять ее одну в приступе страданий и безумия. Когда она под действием морфия успокоится, с ней можно будет поговорить разумно. Он мог бы посоветовать ей начать лечение с постепенного уменьшения доз, заняться спортом, закалять волю. Но все эти размышления пробудили в нем насмешливую жалость к самому себе. Он, контрабандист, торговец наркотиками, обдумывает, как вылечить морфинистку! Ему пришло в голову, что оп похож на старинных бандитов со Сьерра-Невады, которые совершали всяческие злодейства, а потом где-нибудь в пещере вершили суд и часть добычи раздавали бедным. С тех пор как он вернулся в Испанию, он день ото дня совершает все более глупые поступки. Не удивительно, если он начнет ходить на литургию. «Надо поскорей ехать в Буэнос-Айрес», – подумал оп, точно столица Аргентины, с ее вертепами и кабаками, – какой-то санаторий для нравственных калек, где он исцелится.

Все в том же саркастическом настроении он выкурил сигарету, надел пижаму и лег, но не мог уснуть. Перед ним снова возникло лицо Фани Хори, и опять его охватило настойчивое желание помочь ей до наступления кризиса, прежде чем ее увезут в клинику, где ее состояние ухудшится. «Жоржет Киди, – горько подумал Луис, – то же самое было и с Жоржет Киди». И ее оп хотел спасти от пороков, от падения, от физического разрушения, но не сумел. Почему его влекли к себе только такие, проклятые судьбой женщины? И он опять посмеялся над собой.

Кто-то тихо постучал в дверь. Это была горничная со второго этажа. Послышался ее голос:

– Сеньора проснулась, и ей, по-моему, очень худо.

– Иду! – сказал Луис.

Он знал, что увидит, и все же картина, которую он застал, его потрясла. Он тут же мысленно восстановил трагическую сцену, недавно разыгравшуюся в этой комнате. Фани проснулась и героически решила продержаться остаток ночи; окурки и пустая бутылка из-под вермута указывали на ее старания бороться до конца, но жаждущий яда мозг не дал ей забыться, и, когда начался припадок, шум заставил горничную прибежать к ней. Сейчас она лежала совершенно обессиленная, бесчувственная на вишневом ковре, а одежда ее валялась по всей комнате. Волосы рассыпались в беспорядке, юбка от костюма была измята, блузка разорвана в клочья. Было что-то безобразное и щемящее в раскиданных по комнате вещах, в перевернутых стульях, в разбитом зеркале гардероба, в сорванных гардинах, в кровавых бороздах на лице, которое она расцарапала ногтями, в наготе ее плеч и рук, время от времени вздрагивавших. Но ужаснее всего были ее расширенные блуждающие глаза, в которых все еще не угасла ярость безумия.

– Все это похоже на пляску святого Витта, – сказала горничная и перекрестилась.

– Помоги мне перенести ее на кровать, – приказал Луис.

Они вдвоем положили Фани на широкую кровать. Под ярким светом лампы, стоявшей на тумбочке, царапины на лице несчастной обозначились еще ярче.

– Pobrecita!11 – ахнула горничная. – Эту болезнь лечат?

– Конечно! – ответил Луис – Завтра вызовем врача.

– Если это пляска святого Витта, лучше бы пригласить священника!

– Нет, это не пляска святого Витта, – сухо произнес Луис – Ты давно знаешь сеньору?

– Три месяца. Раньше она жила в отеле «Риц». Сеньора иностранка и, сдается мне, не очень-то счастлива.

– Видимо, так, – ответил Луис. – У нее есть друзья?

– Нет. Никого.

– Как она относится к тебе?

– Очень плохо, сеньор, хотя и щедра на чаевые. Впрочем, когда человек беден, оп предпочитает второе.

– Да, да, – рассеянно усмехнулся Луис. Вынул кредитку и дал ее женщине. – Если никто не узнает, что у сеньоры был припадок, это будет гораздо лучше для тебя. Завтра пораньше с утра убери комнату и повесь гардины. Про зеркало скажешь, что оно разбито случайно.

– Хорошо, сеньор!..

– Можешь идти.

Когда горничная вышла, Луис приблизился к Фани со шприцем и стерильным раствором в руке. При виде шприца в глазах ее сверкнула дикая радость.

– Ты сумеешь сделать укол? – спросил он.

Мысль самому вонзить иглу ей в тело была ему отвратительна.

– Да, конечно, – прошептала она.

– Сколько сантиграммов?

– Тридцать.

Луис содрогнулся. Эта доза вполне могла бы убить здорового человека, но для нее она была нормальной. Он отмерил нужное количество, подал ей шприц и вату, смоченную спиртом, и отвернулся. Он не хотел видеть, как она вгонит иглу себе в бедро или в руку. Когда он снова повернулся к ней, она уже отложила пустой шприц на тумбочку и откинулась на подушку. Усилие утомило ее, но все же она нашла в себе силы посмотреть на Луиса с признательностью и произнести по-испански чуть слышное gracias.12

Через несколько минут морфий начал действовать, и она погрузилась в блаженное забытье. Луис знал, что для нее это было возвратом к нормальному самочувствию. На ее мертвенно-бледных щеках проступили розовые пятна, потом они разлились по всему лицу, а ее заострившиеся черты смягчились, и лицо приняло счастливое, мечтательное выражение. Она оставалась в таком состоянии около получаса, потом приподнялась, опершись локтем на подушку, и вперила в Луиса глаза, все еще холодные и тоскливые, но какие-то умиротворенные, в которых не было и следа прежней дикой истерии и кровавого пламени. Она еще раз слабо произнесла gracias, и Луис подумал, что, наверное, так она говорила и смотрела с северным спокойным холодком в голосе и в глазах давно, много лет назад, когда была совсем молодой девушкой. Больше она ничего не сказала, опустилась на подушку и заснула, а Луис вышел, предварительно убрав морфий и шприц в тумбочку возле ее кровати.

**III**

На другой день Луису захотелось как можно скорей увидеть Фани Хорн. Но он не стал звонить ей по телефону, боясь нарушить ее полезный и укрепляющий сон. Чтобы как-то убить время, пока она, по его расчетам, не проснется, он отправился в Ретиро и выпил кофе в баре «Флорида». Потом погулял в парке, наблюдая, как бесчисленные стайки испанских детей, которым предстояло заместить жертвы революции, играют в аллеях в мяч и бегают с обручами. Когда он вернулся в отель, ему передали, что англичанка спрашивала о нем и недавно ушла. Его удивило, что Фани Хорн сама им интересуется. Но может быть, она просто хочет сказать ему несколько сухих слов благодарности. «Я увижусь с ней за обедом в ресторане», – подумал он. И так как было всего одиннадцать часов, он решил пойти в Прадо.

В музее он стал бродить по залам среди портретов королей и святых, на лица которых нельзя было смотреть без ужаса, потому что у всех было почти одинаковое выражение грешников, истерзанных мыслью о боге и загробном мире. Студенты из академии бездарно копировали полотна великих мастеров, а редкие посетители – провинциалы и иностранцы – с невежеством профанов подходили вплотную к картинам, чтобы прочитать подписи.

Дойдя до Веласкеса, он с удивлением увидел Фани Хорн, сидевшую спиной к нему на диване в середине зала. Она внимательно рассматривала картины кисти великого мастера.

– Ты здесь? – спросил Луис, приблизясь к ней и слегка коснувшись ее плеча.

– Hombre! – вскрикнула она, оборачиваясь, и протянула ему бледную, точно мрамор, руку.

Ее восклицание было приветливым, непринужденным и даже радостным. Теперь все в пей дышало элегантностью и кокетством, и только царапины на лице еще напоминали о ночном припадке. В глазах играл мягкий изумрудный свет. От глубокого сна, ванны и утреннего укола морфия она порозовела. На ней был другой костюм, более светлый, и это подчеркивало нежные акварельные тона ее белокурой головки.

– В сущности, я тебя ждала, – сказала она.

– Правда? – удивленно спросил Луис.

Оглядев ее лицо, изящные и нервные очертания лба, шеи и ноздрей, он вдруг осознал, что она редкостно красива.

– Ты часто приходишь сюда, – объяснила она. – Я видела тебя несколько раз. Тебя легко запомнить.

– В этом вся трагедия.

– Почему?

– Потому что полиция тоже легко меня запоминает.

– Ты и сейчас боишься? – спросила она насмешливо.

– Нет.

– Мне будет жаль, если тебя теперь поймают.

– А мне еще, больше. Но здесь это абсолютно исключено.

Луис улыбнулся самоуверенно, а она вдруг посмотрела на него с мрачной и напряженной серьезностью.

– Надеюсь, тебе лучше, – сказал он и сел рядом с ней.

– Мне почти совсем хорошо, – подтвердила она горько. – Спасибо за пакет. Ты джентльмен, и я могу принять его в подарок, если ты настаиваешь, чтобы я за него не платила.

– Я настаиваю, чтобы ты за него не платила.

– Потому что у меня нет денег, да?

– Мне осточертела твоя гордость.

– Это единственное, что у меня осталось.

– Показывай ее другим.

– А почему не тебе?

– Потому что мы оба люди конченые.

– Ты не конченый, – промолвила она задумчиво. Потом спросила: – Кто ты такой, в сущности?

– Тот, кем кажусь. Уголовник.

– Ты умеешь быть жестоким!

– Смотря по обстоятельствам.

– Ты прав. Почему ты не раздавил меня до конца?

– Мне понравилась твоя твердость.

– Твой поступок – признак силы. Когда-то я не ценила это качество в людях, поэтому теперь я развалина.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего… – проговорила она, не отводя рассеянного взгляда от портретов. Потом обратилась к нему с живостью: – Сегодня утром я спрашивала о тебе в отеле. Как видно, тебе удалось, сойти за аристократа. Не дерзко ли?

– Дерзко, но забавно.

– Как мне тебя называть?

– Как все: дон Луис Родригес де Эредиа-и-Санта-Крус.

– Какое изобилие «р»!..

– В этом виноваты мои предки.

– О!.. Зашла речь и о предках?!

– Почему бы нет? – спросил он, стараясь разгадать, что кроется за ее неопределенной улыбкой. – Я испанец, католик и дворянин.

– Идальго без меча и пелерины.

– Я сменил их на револьвер и плащ. А ты кто такая?

– Я с Пикадилли, – ответила она, задорно поджав губы.

– Я так и предполагал, – сказал Луис ей в тон. – Наверное, из ночных клубов?

– Да. Ты разочарован?

– Ничуть. У меня нет предрассудков. Кто тебя содержит?

– Богатые друзья.

– Откровенность, которая вызывает уважение.

– И которая отсутствует у тебя, дворянин из Таррагоны.

– Из Гранады, – поправил Луис серьезно.

– Или из Кордовы, все равно.

– Нет, не все равно. Разве ты не проводишь никакого различия между мужчинами?

– Теперь да!.. Но знаешь, мне нравится, как мы пикируемся. Это забавно.

– В таком случае пообедаем вместе в «Паласе».

– С одним условием: чтобы ты больше не морочил мне голову.

– Чем?

– Тем, что ты не Эредиа.

Луис вздрогнул, но тотчас справился с собой.

– Хорошо. Пускай я буду Эредиа.

– Мне очень важно знать правду, – сказала она нервно и страдальчески свела брови.

Удивление Луиса перешло в легкое беспокойство.

– Я фальшивый Эредиа, – сказал он сразу охрипшим голосом и прокашлялся.

– Неправда. Ты слишком похож на настоящих.

– Ты их знаешь?

– Да.

– Именно это сходство я и использую.

– Ты не рискнул бы делать это здесь, в Мадриде.

– Риск ведет к успеху.

– В чем?

– В моем предприятии.

– Ты опустился, но это не мешает тебе быть Эредиа.

– Ты решила любой ценой сделать из меня аристократа, – сказал он презрительно. – Какой снобизм!..

– Это не снобизм. Ты помнишь, как я тебя встретила?

– О!.. Вряд ли я это когда-нибудь забуду.

– Я вела себя так потому, что не допускала, не хотела, чтобы ты был Эредиа!..

– Видно, эта семья крепко тебе насолила, – сказал он гневно. – В последний раз тебе говорю: я не Эредиа.

– О!.. Не злись! – попросила она тихо. И помолчав, заговорила быстро: – Полюбуемся Веласкесом!.. Как тебе нравится эта серия идиотов?… Это уродство действует на меня более успокоительно, чем чувственные мадонны Мурильо.

Они встали с дивана и обошли зал. Луис посмотрел на часы. До закрытия музея оставалось двадцать минут.

– Хочешь, посмотрим Греко? – предложил он.

– Кто такой Греко? – спросила она тупо, и веки ее лукаво дрогнули.

– Один грек, сбитый с толку испанцами.

– А… вспомнила!.. Художник загробных душ, страдающий астигматизмом? Тот, что рисует таких длинных тонких святых с головами, как булавочные головки?

– Ты довольно-таки образно толкуешь Греко. Но зачем ты притворяешься американкой?

– Я не притворяюсь, – сказала она, и веки ее опять лукаво дрогнули. – Может, я еще глупей американок.

– Ты хочешь убедить меня в этом?

– Глупо сердиться на мою грубость.

– Я не сержусь. Мы по крайней мере обходимся без банальностей.

– Тогда сбрось маску.

– Сделаем это оба.

– Я ее уже сбросила, – сказала она. – Очередь за тобой!

В «Паласе» Луис и Фани стали центром язвительного внимания публики, к тому времени заполнившей бар. Большинство привыкло видеть их порознь и теперь удивлялось их знакомству. Как Луис, так и Фани возбуждали неприязнь своей замкнутостью. Женщины, оскорбленные равнодушием Луиса, утверждали, что Фани привлекла его своими деньгами. Разбогатевшие спекулянты вольфрамовой рудой, напротив, находили, что это он прельстил англичанку своим старомодным аристократическим гонором. Пока они пробирались к свободному столику, Луис рассеянно поздоровался с несколькими знакомыми и одним родственником – двоюродным дядей по материнской линии. Последний давно промотал свое имение в Андалусии. Теперь он жил подачками родных, ничем не занимался и даже, случалось, сидел без куска хлеба, но считал унизительным для себя пропустить перед обедом рюмочку где-нибудь в другом месте, кроме «Рица» или «Паласа».

– Откуда ты знаешь этого конкистадора? – спросила Фани.

– Не помню, – солгал Луис – Даже забыл его имя.

– Это маркиз Торе Бермеха, – сказала она, – из Пальма-дель-Рио.

– Я с трудом запоминаю эти аристократические имена. А ты его откуда знаешь?

– С гражданской войны.

– Где ты была в гражданскую войну?

– Здесь. В Мадриде.

– О!.. Ты начинаешь завоевывать мое уважение. С кем ты жила?

– Я работала в посольстве.

– А на каком поприще подвизался этот тип?

– Не называй его типом. Этот человек оказывал помощь аристократам, скрывавшимся в городе, разносил им продукты. Довольно опасное занятие. Республиканцы могли в любой момент схватить его и расстрелять.

– Жаль, что они его упустили.

– Якобинец!.. – воскликнула она. – Что ты хочешь этим сказать? Он спас от голодной смерти многих людей. Хочешь, угостим его? Он очень беден и может позволить себе только рюмку коньяку.

– Тогда зачем он сюда ходит? – злобно спросил Луис.

– Чтобы повидать знакомых. Пригласим его?

Луис категорически отказался.

Однако, к несчастью, маркиз Торе Бермеха, узрев свою знакомую по гражданской войне, да еще и своего родного племянника, сам поспешил подойти к их столу. Маркиз был маленький шустрый старикашка, похожий на белку, одетый в сильно потертый, но тщательно отутюженный костюм. Из кармана его пиджака торчали аккуратно сложенные перчатки. Он носил монокль, трость с набалдашником из серебра и слоновой кости, а на лацкане орденскую ленточку и монархистский значок. Прежде всего маркиз поцеловал руку Фани и обрушил водопад комплиментов на «прекраснейшую из всех сеньор в мире». Потом обнял племянника и стал шлепать его по спине, шумно и радостно величая его «mi sobrinito»,13 так что и Фани, и все окружающие поняли, что они в близком родстве.

«Кончено», – подумал Луис, внезапно осознав, что потерпел полный провал. Его мистификация рушилась. Фани наконец-то добралась до истины. Впредь Луис будет для нее опустившимся аристократом, ничтожеством, куклой, вроде маркиза Торе Бермеха, который хотя бы сохранил свое достоинство и не погряз в уголовщине. Если знают, что ты торговец наркотиками, преследуемый полицией, – это унизительно, но если видят, что ты скатился в эту яму с высоты аристократического рода, – это невыносимо. И в первый раз в жизни Луису стало стыдно; мелкие капельки пота выступили у него на лбу; ему было стыдно, что он – Эредиа и контрабандист морфия, дворянин и гнусный торговец людскими пороками. Теперь он посмотрел на Фани так же униженно, так же потерянно, как она смотрела на него накануне, сидя, пьяная, за столиком в баре. Теперь она видела его падение с той же ясностью, с какой он видел ее падение вчера. Теперь она понимала его до конца благодаря тому, что уже было между ними, теперь она уже разгадала драму его жизни своим острым умом, проникла в нее силой своей интуиции. Но теперь и она поступила так же великодушно, как он тогда. Мгновенная насмешка, сверкнувшая в ее глазах, тотчас погасла, уступив место сочувствию к униженному, и она улыбнулась добродушно, с веселым укором, точно хотела сказать: «Ты меня дурачил, но теперь ты попался. Полно же, все это очень забавно». И в подтверждение она опустила руку под стол и дружески сжала кисть Луиса: «Ты милый, славный обманщик… Не волнуйся! Пригласи этого веселого старичка посидеть с нами!»

И Луис пригласил.

Теперь Фани казалась ему еще красивей и обаятельней. Он смотрел на нее с чувством глубокого внутреннего облегчения. Нет, она его не презирает, она умное и милое создание, сразу разгадавшее его. Но в самой глубине ее взгляда, во внезапной бледности, покрывшей ее лицо, он уловил смятение и панический страх, причиненные сделанным ею открытием. Это смятение, эта мгновенная скованность всего ее существа были поразительно похожи на ее ужас при первой встрече с ним.

Но Луис не успел обдумать это, так как маркиз обрушил на них поток слов. Комплименты в адрес Фани неслись вперегонки с радостными восклицаниями по поводу приезда Луиса. Отзывы родственников об этом приезде смешивались с собственными соображениями маркиза. Советы Луису посетить ту или другую аристократическую семью переплетались с упреками, почему Луис не сделал этого до сих пор. В результате даже дереву, из которого был сделан стол, стало ясно, что Луис – один из семи сынов славного рода Эредиа, после долгих странствований за границей возвратившийся в Испанию. Фани выслушала все с видом человека, которому это давно известно.

Расправившись с двумя крупными омарами и выпив с десяток рюмок крепкого коньяку, андалусский идальго стал еще жизнерадостней и болтливей.

– Луисито! – Счастливая идея озарила его внезапно, когда он заметил, что Фани и Луис обращаются друг к другу на «ты». – Луисито, ты давно знаешь эту сеньору?

– Давно, – солгал Луис.

– Но раз так… – Смакуя одиннадцатую рюмку, идальго почуял, что зашел слишком далеко. – Раз так… – Волшебный вкус коньяка лишил его дара речи, и это спасло его от рискованных высказываний, но смеющиеся глаза закончили его мысль. «Тогда почему бы вам не пожениться? – хотел сказать идальго. – Вы созданы друг для друга».

– Мы знакомы давно, – любезно подтвердила Фани, – но мы ничего не знаем друг о друге.

Вот как?… Маркиз Торе Бермеха понимал, что столетний коньяк слегка затуманил ему рассудок, но, восхищенный своей идеей, решил приступить к рассказу. Продолжая пить коньяк и с остервенением уничтожать омаров, он поведал все, что знал о каждом из них в отдельности. Прежде всего он описал заслуги сеньоры Хорн перед аристократами во время осады Мадрида. «Благороднейшая» из всех сеньор лично разносила масло, шоколад и витамины, получаемые английским посольством, аристократам, укрывавшимся в подвалах и на чердаках от зачисления в республиканскую армию. В то время в Мадриде свирепствовал голод и челюсти осажденных гнили от цинги… Из продуктов в городе осталась одна чечевица, ничего, кроме чечевицы, которую сами красные называли «пилюли Негрина».14 Одного этого достаточно, чтобы все дворянские семьи Испании смотрели на сеньору как на святую (como una santa mujer), не говоря уже о других ее подвигах.

– Подвигах?… – удивленно повторил Луис.

Разумеется, подвигах!.. Маркиз Торе Бермеха разволновался и даже выронил свой монокль. Господи!.. Идальго чуть не пропустил самое важное. Разве Луис не знает, что сеньора Хорн работала в тифозном лагере монаха Рикардо? Нет?… Каррамба!.. Маркиз был так ошеломлен, что не знал, с чего начать. Немного оправившись, он повел подробнейший рассказ. Итак, монах Рикардо (упокой, господи, его душу) по распоряжению своего ордена устроил лагерь для больных сыпным тифом в Пенья-Ронде. В этот лагерь поступила добровольно и сеньора Хорн. Вспыхнула революция, и как раз в самый разгар эпидемии. Какой ужас!.. Не известно даже, умер ли Рикардо от сыпного тифа или его расстреляли красные. Во всяком случае, героическая сеньора нашла в себе силы даже после этих испытаний приехать в Мадрид и помогать через посольство другим несчастным. Да, это настоящий подвиг!.. И в честь подвига маркиз опрокинул еще одну рюмку коньяку. Пока волны его красноречия рокотали над столом, Луис нервно зажигал одну сигарету от другой, а Фани, смертельно бледная, молча смотрела в одну точку прямо перед собой. Теперь он напряженно сопоставлял ее слова «мне очень важно знать правду» с ее испугом при первом их свидании и со своими воспоминаниями о Рикардо. Но он почти не помнил Рикардо. Он даже не знал, как брат выглядел взрослым, потому что не видел его взрослым. Столько лет прошло с тех пор, как они виделись последний раз! Но что было между Фани и Рикардо? Почему она поступила в лагерь Пенья-Ронда? Вопросы один за другим вспыхивали в его сознании, переплетаясь, противореча друг другу…

А маркиз Торе Бермеха все пил и все говорил с тем неиссякаемым цветистым красноречием идальго, в котором он сорок лет упражнялся в аристократических клубах, на собраниях монархистов и стреляя по голубям. Покончив с похвалами Фани, он принялся за своего дорогого Луисито: намекнул неопределенно на его мелкие грешки в молодости и поспешил подчеркнуть его теперешние качества зрелого и совершенного идальго.

– Общество тебя ждет, – произнес он торжественно. – Общество хочет тебя видеть. Еще один Эредиа должен блеснуть на небосклоне возрожденной Испании!

К концу его речи можно было заключить, что общество погибнет, если Луис не соблаговолит в нем появиться.

Съев еще одного омара и выпив приблизительно бутылку коньяку, маркиз Торе Бермеха наконец поднялся, чтобы пойти и повсюду разнести новость о знакомстве своего дорогого Луисито с прекраснейшей из всех сеньор в мире. Бар был почти пуст. Луис расплатился. Славному бедному идальго удавалось поесть и выпить всласть, только когда платили родственники.

– Теперь мы без масок, – сказал Луис, когда они сели обедать в ресторане.

– Да, – глухо подтвердила она.

– Можно подумать, что мы стыдимся своего происхождения, но это не так. Мы стыдимся только самих себя.

– Я не стыжусь даже себя.

– Ты не должна так говорить! Это значит захлопнуть дверь в жизнь.

– Я ее уже захлопнула.

– Я ожидал, что ты подумаешь, прежде чем сказать это. Разве ты не понимаешь, что я тебя люблю?

– Ты не должен меня любить.

Ее рука с вилкой застыла в воздухе, а глаза выразили укор. Они были холодны и пусты. Казалось, все в ней помертвело. Оживление, которое освещало ее лицо в Прадо, исчезло.

– Значит, мы расстанемся? Каждый пойдет своей дорогой? Так?

– Так будет лучше всего.

– Когда я должен убраться? – спросил он горько.

– О!.. Ты как ребенок! – В глазах ее снова вспыхнул нежный изумрудный свет, кокетство и радость женщины, за которой ухаживают. – Я совсем не хочу, чтобы ты убирался.

– Тогда зачем нам расставаться?

– Затем, что мне нечего тебе дать. Я мертва. Я – женщина без тела. Разве ты можешь любить женщину без тела?

– Но ты меня любишь. Ты вернешься к жизни.

– Нет. Я тебя не люблю… по крайней мере так, как тебе хотелось бы. И не знаю, могу ли я вернуться к жизни… прекратить уколы. Ты видел, что случилось прошлой ночью. Думаю, поздно.

С ее лица не сходила бледность, а в покорности тона было какое-то мертвенное спокойствие.

– Не знаю, понимаешь ли ты меня.

– Завтра начнем лечение, – заявил он решительно.

– Бесполезно. Я пробовала столько раз.

Кельнер приносил кушанья, к которым они едва притрагивались, и с оскорбленным видом убирал тарелки. Почему этим испанцу и англичанке – самой изысканной паре в отеле – не нравится еда? И кельнер пошел отчитывать повара. А Луис и Фани впивались глазами друг в друга с горьким сожалением, как люди, встретившиеся слишком поздно.

– Значит, ты знала Рикардо? – спросил он после долгого молчания.

– Да, – ответила она. И щеки у нее дрогнули.

– А я его едва помню. Когда я уезжал, он был ребенком. Непохожим на других, набожным ребенком… Как он выглядел взрослым, я себе не представляю.

– Внешне он был похож на тебя, – сказала она осевшим голосом.

– А какой у него был характер?

– Непреклонный и жестокий.

– Но к себе он, вероятно, был снисходителен?

– Он был беспощаден и к себе.

Фани судорожно сжала кулаки и задышала часто, точно невидимая рука стиснула ей горло.

– И ты пошла ухаживать за больными сыпняком в Пенья-Ронде!.. Зачем ты сделала это?

– Чтобы быть с ним.

– Романтика! – сказал он с улыбкой. – Это была любовь?

– Не знаю.

– Что произошло потом?

Лицо Фани приняло цвет синеватого мрамора. В нем не осталось ни кровинки. Челюсть задрожала, точно от холода какого-то ужасного воспоминания. Но она мгновенно овладела собой.

– Не надо мне больше рассказывать о Рикардо, – сказал Луис.

– Напротив. Я должна рассказать тебе все. Но не сейчас!.. Еще не сейчас!

– Мертвые вообще не представляют интереса, – заявил Луис дерзко, очистив апельсин и подавая его Фани.

– Ты веришь в бессмертие души? – спросила она.

– Нет. Трудно согласиться, что повар нашего отеля, Альфонс XIII или маркиз Торе Бермеха бессмертны.

– Я тоже, – сказала Фани с нервным смехом. – Но маркиз Торе Бермеха заслужил бессмертие… Ты не находишь?

– Почему?

– Потому что он сорвал с пас маски.

– Да, – сказал Луис.

И они опять впились глазами друг в друга. В глазах Луиса светилась надежда, а Фани опять почувствовала острую, пронизывающую боль отчаяния. Никогда, никогда она не ощущала сильней свое полное физическое разрушение.

Когда они, пообедав, вышли из ресторана, она пожаловалась на усталость. Луис сразу понял, что это обычная, постепенно наступающая депрессия. Действие утренней дозы морфия иссякало, и теперь она нуждалась в новом уколе.

– Очень глупо пить кофе в холле, – сказала она. – Я предлагаю выкурить по сигарете в моем номере. У меня есть бутылка настоящего бренди.

– Да, но мужчинам запрещено заходить в комнаты дам, и наоборот, – весело заметил Луис.

– Неужели ты настолько наивен, чтобы соблюдать правила?

– В таком случае попробуем бренди.

В ее комнатах было жарко и душно. Как только они вошли, Фани включила вентилятор и спустила жалюзи, которые ленивая прислуга оставила поднятыми. Комната потонула в полумраке. Сонную тишину нарушали только редкие трамвайные звонки или гудок автомобиля, проезжавшего по накаленной мостовой Сан-Херонимо. Были самые знойные часы дня.

– Почему бы тебе не поехать в Сан-Себастьян? – спросил он.

– Там сейчас полно англичан, – сказала она с досадой. – К тому же деньги у меня на исходе.

– На сколько тебе хватит?

– На несколько месяцев… О!.. Этого более чем достаточно!

И зловещее спокойствие этого «более чем достаточно!» отозвалось в нем острой болью.

– Un momentito,15 – сказала она (они уже перешли на испанский) и достала из тумбочки коробку с принадлежностями для укола.

С этой коробкой в руках она направилась к ванной.

– На десять сантиграммов меньше! – строго приказал Луис.

– Нет. Не имеет смысла, – ответила она.

– Попробуй! – Он нагнал ее и схватил за плечи. – Прими меньшую дозу, если ты меня действительно любишь.

– Я тебя люблю, но сделать этого не могу… Сегодня я хочу быть спокойной. Мне надо о многом рассказать тебе.

– Я не хочу, не рассказывай мне ни о чем.

– Ты должен знать все… Ты должен узнать, как погиб Рикардо. Тебе надо это знать. Я никогда не рассказала бы тебе, если бы ты не был его братом.

– Тогда обещай: начнем лечение с завтрашнего дня.

– Хорошо. Обещаю, – сказала она с пустой улыбкой.

И голос ее выразил, насколько безнадежна такая попытка.

– Ты стерилизуешь шприц и раствор?

– Никогда.

– Почему? – спросил он гневно.

– Потому что в Испании нет микробов. Витамины и солнце убивают все.

– Кто тебе это сказал?

– Один испанский врач.

– Из Королевской академии, наверно. Эти негодяи усыпляют свою совесть, чтобы не думать о миазмах нищеты.

– О!.. Да ты красный! – сказала она с усмешкой.

Он взял коробку у нее из рук и включил штепсель электрической плитки, чтобы прокипятить шприц. Фани ушла в ванную и вернулась оттуда в шелковом блекло-зеленом пеньюаре, в котором он видел ее тогда. Один рукав у нее был закатан. Когда все было готово, она сама сделала себе укол. Луис опять отвернулся, чтобы не видеть, как игла вопьется в ее бледную руку.

– Сними пиджак. Здесь очень жарко, – сказала она. Она осторожно растерла бугорок от укола пальцами, подошла к кровати и легла.

Луис наблюдал за ней с отчаянием.

– Не смотри на меня так, – сказала она умоляюще. – Бренди в шкафу. Пей из стакана, другого у меня нет.

Луис снял пиджак, нашел бренди и не отрываясь выпил полстакана. Потом, чувствуя слабое головокружение, стал рассматривать то, что валялось в беспорядке на ее туалетном столике. Среди флаконов с одеколоном, коробочек пудры и таблеток снотворного он увидел две книги: «Лечение нервных расстройств самовнушением» и «Руководство по стрельбе в голубей» славного маркиза Торе Бермеха. «Руководство» недавно вышло из печати и было брошено здесь с полным равнодушием к беспорядку, свойственным наркоманам. Под именем маркиза мелким шрифтом перечислялись заслуги благородного идальго в этой области: бывший чемпион страны, бывший председатель клуба в Сантандере, бывший секретарь международной федерации по стрельбе в голубей. Книга была подарена опять-таки «прекраснейшей из всех сеньор в мире», о чем свидетельствовала надпись, сделанная крупным аристократическим почерком. Этот автограф напомнил Луису о пребывании Фани в Пенья-Ронде и в осажденном Мадриде. С тех пор она жила в Испании, и причина ее порока – мелькнуло в голове Луиса – должна быть связана с чем-то пережитым ею здесь. Он стал фантазировать, обдумывая все, что могло случиться в Пенья-Ронде между ней и Рикардо, но не пришел ни к какому серьезному заключению. В нем шевельнулось лишь смутное подозрение, что, наверное, она – сентиментальная бездельница, одна из тех причудниц-англичанок, что, не успев приехать в Испанию, начинают воображать, что с ними должно случиться что-то драматическое и необыкновенное. Ее роман с Рикардо и пребывание в осажденном Мадриде, вероятно, дань этой глупой сентиментальности. Но он тут же признался себе, что все его злобные предположения порождены внезапно охватившей его нелепой ревностью к мертвому Рикардо. «Зачем она позвала меня? – подумал он перед этим. – Не затем ли, чтобы рассказать мне про свою банальную интрижку с монахом?» Только его это ничуть не интересует, хотя Рикардо, этот монах, его собственный брат!

Он выпил еще полстакана бренди, и взгляд его упал на застывшее в забытьи лицо Фани. Кожа ее порозовела, глаза полузакрыты. В этом лице нет и следа глупости, которую он ей приписал, – ведь глупость, когда она есть, скажется в любом лице. Напротив, все в нем – высокий лоб с голубыми жилками, правильный нос, рисунок губ, подбородок, – осененное ореолом пепельно-белокурых волос, говорит об утонченности интеллигентного существа, об уме и духовной красоте. В выражении ее лица можно уловить остатки воли, когда-то, должно быть, очень сильной, стальной, направляемой холодным умом. Были в этом лице и следы когда-то буйной, но уже угасшей страсти, безумного порыва существа, стремившегося к чему-то, дурному или хорошему, но не достигшего цели. Нет, такая женщина никогда не опустилась бы до дешевой интрижки, глупой сентиментальности. Она ничуть не похожа на светскую дурочку с банальной голливудской внешностью. Ее красота необычна. И Луис почувствовал, что она влечет его к себе неотразимо.

Он отпил еще бренди. Потом встал с кресла и подошел к ней, чтобы лучше рассмотреть ее лицо, сильнее ощутить эту неотразимость. В забытьи, полуопустив веки, может быть на грани между сном и явью, она, наверное, витала в гибельном блаженстве, точно совсем освободившись от своего тела и ото всех земных связей, и из-под ее ресниц мерцал таинственный зеленый свет. Может быть, у нее были зрительные галлюцинации и она видела яркие, страстно желанные образы, плод своей возбужденной фантазии – то, чего она хотела и не могла достичь, или испытывала приятное, неясное ощущение, будто парит в пространстве, как бесплотный дух. Но вместе с тем подобное действие морфия говорило и о неизбежности ее близкой гибели. Это блаженство, это спокойствие она получала, принимая восемьдесят сантиграммов в день. «Спаси ее, – шептал ему внутренний голос, – спаси ее от гибели, от отчаяния, от тупости, в которую она все глубже погружается после каждого нового укола». Но то был только смешной, беспомощный голос любви. Он вдруг понял, что и правда слишком поздно, что разрушение нельзя остановить, что костлявые руки смерти уже схватили Фани и постепенно, за несколько месяцев, увлекут ее в могилу. Никакое уменьшение доз, никакая клиника, никакой санаторий не помогут ей. И тогда Луис почувствовал ледяную пустоту одиночества, которое скоро опять станет его уделом.

Стоя над пей, оп увидел, что веки ее приподнялись, что она его заметила и сделала движение рукой, точно хотела прогнать его от себя.

– Оставь меня ненадолго, – попросила она далеким голосом. – В столе, в ящике, сигареты… Кури, они недурны!..

Он медленно отошел, потрясенный до глубины души тем, что видел, не стал искать сигарет и снова сел в кресло. Он не знал, долго ли просидел так, потому что думал о пей и был одурманен, алкоголем. Легкий шорох заставил его вздрогнуть. Он поднял голову и увидел, что она идет к нему с большой коробкой сигарет в руках. Теперь она опять спустилась на землю с высот своего гибельного рая и опять была в том же настроении, что и утром, в музее: легко и приятно возбужденная, готовая беседовать, шутить. Ее исхудалая рука протянула ему коробку, и он заметил, что эта рука, даже в своей страшной бледности, изящна и красива, как ее брови и ноздри, как нежные очертания ее губ, как все в ней. Мысль, что так близко от него, под пеньюаром, скрыто прекрасное тело, чистое и гладкое, как мрамор, тело любимой женщины, вдруг затмила ему рассудок.

В следующий миг он встал и, подчиняясь зову ее плоти, этой неотразимой силе, с какой она его привлекала, схватил ее в объятья. Она не оказала никакого сопротивления, но и не ответила ему, а осталась в его руках, неподвижная и безжизненная, точно это объятие ничуть ее не касалось, точно он случайно толкнул ее, а она покачнулась. Он посмотрел ей в глаза, ожидая увидеть в них глубокое, страстное томление, мягкий и сладостный изумрудный блеск, тот, что он заметил в ресторане. Но теперь эти глаза были стеклянными и неподвижными. В них не было даже дружеской игривости, с какой она только что предлагала ему сигареты. Теперь он видел в них пустой и мертвый холод, бескрайнюю печаль, безмолвное и тихое отчаяние… И тогда Луис понял, что Фани права, что он держит в руках женщину без тела.

Он тотчас отпустил ее и медленно, подавленный своим открытием, сел в кресло, а она бросила незажженную сигарету и бесшумно отошла к кровати. Минуту спустя раздался ее голос.

– Луис!.. – позвала она. – Луис!.. – и показала рукой на свободное место рядом с собой. Она звала его, чтобы дать ему несуществующую страсть умерщвленного морфием тела.

Но Луис не шевельнулся.

И тогда она начала говорить. Сначала она говорила запинаясь, нерешительно, с длинными паузами, точно стыдясь и не зная, все ли ему сказать, а потом речь ее потекла с искренностью отчаяния, как исповедь души, которая знает о своей близкой гибели, души, что уже стоит у черных вод Ахерона…

**Часть вторая**

**Фани и Лойола**

**I**

В дождливое апрельское утро тысяча девятьсот тридцать шестого года Фани проснулась, против обыкновения, рано и, протерев глаза, ощутила легкий приступ раздражения. Она жила в Испании уже месяц, и страна не показалась ей ни варварской, ни романтичной и не такой уж смешной, как ее в прошлом веке изобразили в своих романах Готье и Дюма или какой ее хотели видеть многие современные писатели, превозносившие ее набожность и традиции с неменьшим воодушевлением, чем бои быков и сомнительный стиль страстных cante flamenco.16 Напротив, предметы, события и люди этой страны, где свет жизни был так ярок, а тени смерти так глубоки, будили у Фани какое-то необычное, горькое любопытство. А раздражение ее было вызвано тем, что она пригласила в гости нескольких друзей и теперь не знала, что с ними делать.

Двое из них – Джек Уинки и Клара Саутдаун, американцы, – надоели ей своей глупостью, а третий – Жак Мюрье – любил ее и молча страдал, и это тоже ее тяготило. Американцев она пригласила из признательности – они дали ложные показания и облегчили ей развод с мистером Морисом Ллойдом, скотоводом из Йоркшира, – развод, который из-за железного упорства мистера Ллойда тянулся целых три года. Что до Жака Мюрье, с ним ее связывал мимолетный зимний роман в Баварских Альпах. Фани находила француза чересчур «мозговым» – выражение, усвоенное ею из книг. Этим определением она осуждала его несносную привычку разрушать приятные иллюзии, привычку, которая вечно толкала его к ироническим рассуждениям и убивала всю его пылкость. Когда увлечение Фани прошло, она открыла в нем незаменимого друга, но Мюрье, увы, не мог понять ни ее потребности иметь его постоянно при себе, ни того обстоятельства, что она не может вечно быть его любовницей.

После развода родственники мистера Ллойда распустили по адресу Фани кое-какие слухи, к несчастью не совсем вымышленные, и она сочла необходимым исчезнуть на некоторое время из Англии, чтобы погасить молву. Шесть месяцев она провела в Париже и на юге Франции, а весной приехала в Сан-Себастьян. Акварельные краски ранней весны были здесь мягче, чем на побережье у Биаррица, но люди казались темпераментнее и ярче.

Фани совершила короткую автомобильную поездку на юг и увидела немало интересного. У этой страны был свой красочный облик и свои формы, которые проплывали перед ее глазами, как в цветном фильме, за праздничной пышностью и театральной фантастикой которого, однако, угадывалась жестокая трагедия народа, борющегося с самим собой, чтобы выйти на какой-то свой, новый путь. Разумеется, это были беглые впечатления, и все это трогало Фани лишь постольку, поскольку казалось занятным и вызывало острое возбуждение, подобное трепету, который охватывает иностранца, когда бычьи рога вспарывают живот несчастного, разодетого в золото и шелк тореро. Здесь не было и в помине филистерского спокойствия других стран. Одна крайность переходила в другую без мягких полутонов компромисса, и столкновения этих крайностей рождали новые конфликты. Старинные соборы чередовались с клубами анархистов, рабочие митинги с поклонением святым мощам. После почерневшего от фабричного дыма Бильбао она увидела Толедо, потонувший в сонной романтике. В Мадриде она познакомилась с аристократами, которые все еще верили в архангелов и в чудотворные статуи богородиц, а в отеле слуги читали Энгельса и Дарвина. В Барселоне работа кипела в американском темпе, в Севилье бренчали гитары и жизнь катилась в сладкой неге, как ленивые воды Гвадалквивира. По радио гремело пламенное красноречие Пассионарии, в Авиле женщины два раза в день ходили на литургию. Аристократы устраивали заговоры против республики, пролетарии грозились их перерезать, по все медлили. У Фани был иммунитет против романтики (по крайней мере она любила этим хвастаться), и контрасты сегодняшней Испании казались ей гораздо интереснее, чем изъеденное пылью веков величие Толедо и Эскуриала. Она сразу поняла настоящую причину того, что увидела: и здесь, как в Англии, одни имели все, а другие ничего; с той разницей, что здесь те кто не имел ничего, протестовали и бунтовали. Здесь слуга не хотел всю жизнь оставаться слугой, не хотел, чтобы дети его тоже стали слугами, ибо это оскорбляет человеческое достоинство. Правда, Фани вдолбили еще в детстве, что подобные претензии угрожают существованию цивилизации. Но сейчас она ничуть не была склонна тревожиться о судьбах цивилизации. Ей казалось просто забавным немного пожить в этой стране, где люди озлоблены, где в любой день может разразиться революция и где быстрей пройдет время, пока уляжется негодование семьи Ллойдов.

В Мадриде Фани встретилась с другом детства – мистером Блеймером, или просто Лесли, как она его называла. Она сказала ему, что хотела бы на некоторое время остаться в Испании.

– Что ты будешь здесь делать? – спросил он.

– Развлекаться, – ответила Фани со всей серьезностью, какой требовал поставленный перед ней вопрос. – Кроме того, я изучу страну, соборы, бои быков…

– Что ж, только не слишком увлекайся! – предупредил ее Лесли.

Фани вернулась в Сан-Себастьян и сняла на три месяца виллу у маэстро Фигероа, забытого художника. Маэстро Фигероа в молодости был довольно известным живописцем, хотя и не сумел прославиться за пределами Испании подобно Пикассо или Сулоага. Его картины, несмотря на оригинальный колорит, были испорчены театральностью композиции и вызывали у критиков улыбку. Вилла у него была несколько уединенная, зато красиво расположенная на склоне, спускавшемся к самому океану. Фани поселилась в ней вместе с шофером и пожилой служанкой, рекомендованной ей самим маэстро. Она ежедневно брала уроки испанского языка и читала книги, привезенные из Парижа, но скоро ей стало скучно. Тогда она пригласила Друзей, и, когда те приехали, ей опять стало скучно.

Фани проснулась на старинной кровати в комнате, примыкавшей к просторному и светлому помещению, прежней мастерской художника. Она вытянулась в кровати – немой свидетельнице страстных ночей молодого маэстро – и лениво зажгла сигарету. Выкурила ее, спрягая глагол tener (она решила основательно изучить испанский). Потом встала, чувствуя легкое головокружение и приятное покалывание во всем теле – сигареты содержали опиум. Не надо бы курить эти сигареты!.. Ее пристрастие к ним становилось опасным. В первый раз она попробовала их на Монмартре в мансарде одного свихнувшегося поэта, который считал себя приверженцем эссенциализма. Почему он называл свое безумие именно так, Фани никогда не могла понять.

Она быстро оделась, а ванну принимать не стала, так как ей предстояла поездка, да и сама ванна, устроенная по капризу маэстро в мавританском стиле, ничуть ее не привлекала – весь бассейн был в грязных трещинах. По телу ее прошла дрожь – в комнате было холодно, несмотря на то, что дверь в мастерскую, где пылал большой камин, была распахнута. В знойной Испании весной и зимой приходится вечно дрожать от холода. Приближалось время завтрака, скоро по вилле разнесутся громогласные шутки Джека и несносный смех Клары. Еще тошнее Фани стало, когда она подумала о предстоящей поездке в Авилу – об этой идиотской экскурсии, на которую она согласилась по настоянию американцев.

Когда Фани вошла в мастерскую, ее взгляд упал на одну из картин маэстро Фигероа, которую накануне она пожелала купить и которую маэстро в приступе испанского великодушия ей подарил. Это была довольно) зловещая картина – она пронимала даже американцев. За чаем Клара всегда садилась к ней спиной. Сюжет был чисто иберийский. Смерть, ужасный полускелет-полумумия, вела в ад вереницу пляшущих мертвецов – императора, папу, рыцаря и куртизанку. Картина была написана художником в молодые годы, очевидно в манере какого-то классика.

Фани подсела к камину и, греясь у огня, стала внимательно ее рассматривать. Избитый сюжет, да и с технической стороны картина не выдерживала никакой критики. Фигуры похожи на деревянные куклы, в передаче движений видны недопустимые ошибки. Даже цветовая гамма, которой славился маэстро, уступила здесь явному подражанию Греко: холодные серо-синие тона и фосфоресцирующий свет, льющийся из невидимого источника. Но в этой небрежности если не гения, то настоящего таланта Фани уловила муки мастера, забывшего анатомию и критиков, дабы выразить свою мысль философа. И выразил он ее удивительно. В то время как смерть зловеще свалилась и нижняя половина лиц грешников, осужденных на эту пляску, улыбалась тупо и цинично, взгляды их были скованы страхом. Это грешники сознательные, они не раскаиваются они, кажется, хотят обмануть самое смерть и идут за ней с угодливой улыбкой, но с тайным ужасом в глазах. И ничто не радует взгляд – никакие ангелы, никакая неземная любовь, обычные у набожных классиков. Даль, куда ведет грешников смерть, тонет во мраке и безнадежности. О, идея этого полотна так современна!.. И по телу Фани поползли холодные мурашки. Она почувствовала, что в картине есть что-то от ее собственной жизни. Внезапно ей захотелось увидеть живого человека, вырваться из-под власти этой ужасной картины.

– Пилар!.. – крикнула она нервно. – Пилар!..

Старая служанка маэстро Фигероа вошла в студию.

– Дон Сантьяго17проснулся?

– Quién? – спросила испанка. – El françés о el americano?18

– El françés,19 – сказала Фани.

– Нет! Еще не проснулся, сеньора.

– Тогда иди. Не надо его будить.

И Фани, слегка расстроенная, пересела в другое кресло, спиной к картине. Пилар вышла, бросив на сеньору сочувственный взгляд. Она давно заметила, что все, кто снимал виллу, обычно садились так, чтобы не смотреть на эту картину.

Жак Мюрье проснулся давно, но сидел у окна в дурном настроении и рассеянно смотрел, как железно-серые маслянистые волны океана пенистыми языками разливаются по широкому пляжу, усеянному черными скалами. По профессии он был врач, и в это дождливое весеннее утро анализировал собственную жизнь с той же суровостью, с какой прежде ставил диагнозы в парижской больнице «Сен-Лазар». Вот уже два года, как он бросил работу, и теперь ему грозило полное разорение. Денежные дела его были почти в катастрофическом состоянии. Восемьдесят тысяч Франков сбережений да еще сто тысяч, полученные в наследство от матери, умершей в Провансе, бессмысленно растрачены по отелям, казино и дансингам Ривьеры. Почему и как это произошло – на это Мюрье не мог дать себе ясного ответа. Он мог только сказать, что все началось с Фани. Он любил ее горькой, саркастической и изломанной любовью, потому что тело ее было прекрасно, а дух утончен и развращен. Целых два года она таскала его за собой только потому, что нуждалась в товарище по безделью, в лекарстве от сплина, который овладевал ею в ненастные дни, в присутствии его тела в минуты каприза. Пустая, смешная и жалкая история!.. Теперь, когда в кармане у него оставалось несколько тысяч франков, он хотел скрыться, исчезнуть, где-нибудь затеряться. Он смотрел на волны, и перед ним внезапно возник кошмарный призрак колоний. Мысль о колониях как о последнем, единственном выходе уже давно навязчиво преследовала его. Колонии – это пучина, которая поглощает опустившихся и бесталанных французских врачей. Загубить свою жизнь в Сайгоне или где-нибудь в Африке, заглушить горечь в каких-нибудь джунглях, проводить бессонные тропические ночи за бутылкой виски или за покером с колониальными чиновниками, лечить их жен от неврастении – вот его удел!.. Но даже это все-таки достойней, чем состоять при Фани, которая скоро превратит его в презренного альфонса.

Последними проснулись Клара и Джек. Они пребывали в незаконном сожительстве с благословения одного евангелического пастора, который еще лелеял надежду их обвенчать и регулярно присылал им письма с моральными наставлениями. Приглашение Фани застало их в Париже. Почему сейчас они находились в Сан-Себастьяне, а не в Париже или в Сан-Франциско – этого они не могли бы объяснить. Они бросались куда вздумается, движимые свежей варварской энергией духа, которая у американцев, вынужденных работать, находит выход в создании материальных ценностей, а у таких, как они, кому работать незачем, – в сумасбродствах. Они разъезжали по свету, подчиняясь импульсу непрерывного движения, точно жизнь вообще не что иное, как глупое, бессмысленное движение. Их активность в спорте и путешествиях была подобна деловой активности их отцов, мистера Уинки и мистера Саутдауна, компаньонов и совладельцев заводов авиационных моторов, – двух благодетелей человечества, которые с нетерпением ждали второй мировой войны, чтобы увеличить стократно, а по возможности и тысячекратно свои богатства.

Как только они встали, Клара занялась своей красотой. Каждый день к ней специально приезжала в такси парикмахерша из Сан-Себастьяна укладывать ее локоны. Джек пошел в соседнюю комнату, надел боксерские перчатки и стал наносить свирепые удары по кожаному шару, укрепленному на пружинах между полом и потолком, синхронизируя удары с дыханием. Пока они совершали этот утренний ритуал – одна во имя красоты, другой во имя силы, – по коридору прошел Мюрье и резко захлопнул полуоткрытую дверь комнаты, в которой прихорашивалась Клара. Он сделал это без всякой нужды, просто так, ощутив внезапную ненависть к спокойствию этих американцев и презрение к их самодовольству. Джек, увлеченный тренировкой, не слышал стука, а Клара тотчас догадалась, что это мог быть только вспыльчивый и чудаковатый Мюрье.

– Monsieur Jacques! – крикнула она звонко. – Почему вы не заходите?

Но мсье Жак не ответил, а сбежал вниз по лестнице. Ему стало не по себе от одной мысли, связанной с Кларой, мысли подлой и унизительной, которая уколола его гордость; она-то и заставила его так гневно хлопнуть дверью.

Не получив ответа, Клара вздохнула не без грусти. Она испытывала к Жаку смешанное чувство уважения и страха. Уважения к его знаниям – он знал тысячу полезных вещей о витаминах, о гигиене кожи, о том, как избежать беременности и ожирения, – и страха перед его взглядом: в этом взгляде было что-то холодное, аналитическое и насмешливое, приводившее ее в замешательство, как будто француз заранее предвидел все ее мысли и поступки. Чтобы избавиться от этого страха, она попыталась делать ему авансы, которые Мюрье с презрением отверг. После этого он стал волновать ее еще сильнее, она сама не знала почему. Она вообще с трудом разбиралась в чем бы то ни было, поэтому при игре в бридж ее обычно не принимали в компанию. Впечатления у нее испарялись так же быстро, как высыхал лак на ногтях, а в голове оставался только осадок глупости.

Через полчаса Джек и Клара спустились в мастерскую. Джек в своем тренировочном костюме был похож на профессионального боксера, а Клара превратилась в гладкую, идеально завитую фарфоровую куклу.

Позавтракав ветчиной и яичницей, они надели плащи и вчетвером вышли на песчаную террасу перед виллой, где их ждала машина Джека. Машина была особой конструкции. Ее мотор представлял собой нечто среднее между моторами обычного автомобиля и самолета-истребителя. По асфальтовому шоссе он развивал скорость в сто сорок километров в час, и его зловещий вой наводил ужас на всех автомобилистов в окрестностях Сан-Себастьяна, особенно когда Джек решал подшутить и вихрем проносился в нескольких сантиметрах от крыльев этих ползущих как черепахи бедняг.

Равнодушный к автомобильным трюкам (Джек предлагал научить его делать повороты на полной скорости, ударяя по тормозам), Мюрье сел на заднее сидение. Его грызла мысль, как бы уложиться на этой экскурсии в триста песет, – мысль гнетущая и неприятная, потому что дядя, у которого он в письме попросил денег взаймы, еще не ответил. Клара и Фани сели в автомобиль после маленькой стычки. В спортивной машине было только четыре места, и ни одна из них не желала сидеть впереди. Когда Мюрье предложил уступить свое место и сесть рядом с Джеком, обе одновременно воспротивились. Клара воспользовалась заминкой и уселась сзади рядом с Мюрье, а Фани, огорченная и злая, заняла переднее место. Ее раздражало, что Клара снова пытается кокетничать с Жаком и говорить ему «ты». Какая дичь!.. Неужто эта гусыня воображает, что может соблазнить Мюрье в ее, Фани, присутствии? Но в сущности, еще больше Фани раздражало то обстоятельство, что за завтраком Мюрье начал отвечать на авансы Клары и как-то бессмысленно, по настойчиво поддерживал с ней разговор. Потом Фани сравнила изящную фигуру Мюрье, его породистую голову провансальского рыцаря и красивый рот с дюжими плечами, круглым, как луна, лицом и толстыми губами Джека Уинки. Несомненно, Клара уже давно сделала это сравнение и теперь продолжает атаковать Мюрье. Эта овца совсем не так безобидно глупа, как кажется.

Джек опытным ухом в последний раз вслушался в шум мотора и, убедившись в его исправности, выжал сцепление. Осторожно, чтобы не повредить рессоры на колдобинах изрытой дороги у виллы маэстро Фигероа, он вывел машину на шоссе, повернул на Витторию и тут уж дал себе волю. Зеленые холмы вокруг Сан-Себастьяна скрыли серую полоску океана, а потом и сами исчезли в тумане хмурого дня. Джек вел машину уже со скоростью сто километров в час. Когда они оставили за собой Панкорбо, небо вдруг прояснилось и перед ними открылся бесплодный, однообразный, красновато-бурый пейзаж Старой Кастилии. За несколько часов езды степь нагнала на них тоску, но в Бургосе настроение всей компании поднялось. Поедая цыплят, жаренных в оливковом масле, и рис по-валенсийски, они принялись обсуждать, остаются ли кюре девственниками всю свою жизнь. Клара заинтересовалась, может ли герцог Альба встретиться на равной ноге с герцогом Йоркским. Фани посмотрела на нее враждебно и сказала, что не может. Она с горечью убеждалась, что Мюрье больше не подсмеивается над американкой. Он рассказал ей историю жившего в восемнадцатом веке графа де Вильянуэва, любовные проказы которого стоили горьких слез придворным дамам королевы Изабеллы. Увлекшись едой и такого рода разговорами, они забыли осмотреть город и даже не вспомнили, что в нем есть знаменитый собор.

Потом они покатили дальше на Валенсию по шоссе, прорезавшему эту землю рыцарей и святых, голодных крестьян и тощих мулов. Пейзаж был однообразным и гнетущим. С обеих сторон шоссе, насколько хватал глаз, простиралась бесплодная дикая равнина, изрезанная глубокими каньонами, покрытая желтыми и оранжевыми песками и черными скалами. То тут, то там торчали руины замков или виднелись горстки хижин – маленькие бедные селения, жители которых возделывали узкие полоски годной для посевов земли вдоль рек.

К вечеру погода испортилась, внезапно хлынул дождь. Реки вздулись, каньоны превратились в огромные потоки, и путешествие стало неприятным. Чтобы поскорей доехать до Авилы, Джек увеличил скорость. Они только что обогнали какую-то черную фигуру верхом на муле, когда Джек заметил на повороте шоссе полицейского из гражданской гвардии, который отчаянно махал рукой. Этот тип, наверное, хочет оштрафовать его за недозволенную скорость. В таких случаях Джек обычно давал полный газ, по сейчас какой-то добрый дух побудил его вовремя нажать тормоза. Когда он остановился, все увидели, что перед машиной на месте снесенного моста зияет пропасть. Желтые волны потока все еще пенились вокруг разрушенных опор и с глухим ворчаньем растаскивали камни и бревна. Джек стал ругать испанских инженеров.

– Господи!.. Что же мы будем делать? – воскликнула Клара.

Мысль о том, что в Авиле, возможно, не найдется хорошего парикмахера, который бы подновил ее попорченную дождем красоту, встревожила ее не на шутку. Именно теперь, когда Мюрье стал с ней так мил, ей особенно важно быть безупречно красивой.

Дождь прекратился, и они вышли из машины. Фани дала сто песет человеку, который их спас, и попыталась, применив свои познания в испанском, расспросить его о другой, окольной дороге. Но полицейский говорил на каком-то ужасном диалекте, и понять его было невозможно. Ничего не оставалось, как ехать обратно до ближайшей деревни, и это страшно их раздосадовало. Все были вымотаны путешествием, а холодный степной ветер усиливал скверное настроение. Джек покрыл больше четырехсот километров за день, что было бы не под силу и самому хорошему шоферу. Мюрье слишком поверхностно разбирался в автомобилях, а Клара и Фани не решались сесть за руль – они боялись специальной конструкции и внезапных рывков сильного мотора. Довериться Джеку было опасно, он слишком устал. Тем не менее другого выхода не было, и Фани предложила вернуться назад.

– Я не хочу разбить себе голову, – заявила Клара.

– Тогда спи под дождем, – зло бросил Джек.

– Идиот!..

– Оттого что я терплю тебя с самого утра?

Джек уже заметил флирт Клары с Мюрье. Он не ревновал Клару – он давно хотел от нее отделаться, – но его нервировала Кларина глупость. Этой дурище невдомек, что Мюрье просто хочет позлить Фани. Впрочем, он не был вполне уверен, что дело обстоит именно так.

– Не ссорьтесь! – сказала Фани, довольная реакцией Джека. – Лучше спросим про дорогу вон у того попика.

Только сейчас они заметили, что черный всадник на муле, которого они обогнали и который теперь приближался – духовное лицо. Незнакомец покачивался на муле, который уже несколько часов с философским спокойствием плелся под проливным дождем. Он и теперь не изменил хода. Фани не могла себе представить ничего более странного, чем этот промокший до костей человек. Одежда его была похожа на губку, напоенную влагой. Широкие поля шляпы волнообразно изогнулись и обвисли. С рясы и черного плаща, который прикрывал нижнюю часть лица, стекала вода. Ветер вывернул его зонт, и кюре, вероятно, после безуспешных попыток выпрямить его, сунул эту редко употребляемую в Испании вещь под мышку; в другой руке он держал поводья. Лицо его было скрыто под плащом и широкополой шляпой. Вся его закутанная фигура выглядела комично и в то же время немного зловеще. Однако это впечатление тотчас рассеялось, когда он поздоровался с путешественниками. Подъехав совсем близко и увидев, что дорога обрывается, он придержал мула, а потом кивнул головой и сказал вежливо:

– Buenas tardes, señores!..20

– Поп, ты понимаешь по-английски? – спросил Джек вместо того, чтобы поздороваться. Остальные, включая Клару, ответили на приветствие испанца.

Джек задал свой вопрос скорее с досады, почти не надеясь получить ответ на родном языке.

– Да, господин, – неожиданно ответил кюре.

– Чудесно! – воскликнул Джек. – В таком случае, сэр, – продолжал он уже любезнее, – не могли бы вы сказать, как нам добраться до Авилы?

– Единственный способ – ехать обратно до Астигарагуа, а оттуда через Деспеньяторос.

– Разве можно запомнить эти чертовы названия? – вырвалось у Фани.

– Перед каждым селением есть надпись, мисс, – спокойно объяснил кюре.

Незнакомец сидел верхом на своем муле в десяти шагах от них, лицо его было по-прежнему закрыто. По-английски он говорил очень хорошо, а в голосе его звучали металлические нотки – признак энергии и полной непринужденности.

– А вы куда едете? – спросил Джек.

– Я тоже в Авилу.

– Прямо сейчас?

– Нет, я думаю переночевать на одном постоялом дворе, в двух километрах отсюда.

– Может быть, и нам сделать то же самое? – предложила Фани.

– А там чисто? – спросила Клара.

Испанец не ответил. Джек метнул на Клару сердитый взгляд и сказал вежливо:

– Мы вам очень благодарны, господин священник!.. С вашего разрешения мы поедем потихоньку за вашим мулом и тоже переночуем в этом странноприимном месте.

Так они и сделали. Кюре тронулся первым, а они сели в машину и поехали за ним самым медленным ходом. Полицейский из гражданской гвардии, поцеловав священнику руку и получив благословение, остался у моста, чтобы с помощью красного фонаря предупреждать шоферов об опасности. К тому времени совсем стемнело. Джек зажег фары, осветившие зад мула, и гулом мотора припугнул несчастное животное. Машина подгоняла мула, пока наконец не подняла его в галоп, и тело священника, вероятно не привычного к такой езде, стало беспомощно мотаться в седле. Все это показалось компании очень забавным. Настроение снова поднялось.

– Ты должен был называть его padre, а не господин священник, – сказала Фани.

– Что это значит?

– Это значит – отец.

– Может быть, следовало приложиться к его ручке? – сказал Мюрье, обняв в полумраке Клару за талию. Американка крепко прижалась к нему, и они поцеловались.

– Сначала надо бы выжать из него воду, – предложила Фани, не подозревая измены.

– Это сделает Клара! – сказал Джек.

– И приготовлю тебе чай из этой воды, – ответила американка.

Так, не переставая издеваться над мулом и несчастным странником, они наконец добрались до постоялого двора, затерянного в степи.

Это было старинное заведение, один из тех испанских постоялых дворов, где, по свидетельству Готье, в спальни попадали через конюшню и где, может быть, когда-то ночевали Сервантес и Лопе де Вега. Путники прошли через первый этаж, мимо нескольких оборванцев, которые пили вино, и поднялись на второй, отведенный для более важных гостей. Здесь в среднем помещении горел камин, а скатерти и приборы на столах сверкали чистотой. Керосиновая лампа заливала все белым светом. Из кухни шел запах жаркого. За прилавком стоял трактирщик – смуглый толстяк в бархатной жилетке, с засученными рукавами и красным платком на голове. В одном ухе у него поблескивала золотая серьга. В его внешности сразу угадывалась умышленная стилизация на потребу туристов. Дождливая погода и снесенный мост могли привести сюда посетителей. Поэтому трактирщик и вдел серьгу, которая должна была вызывать восхищение иностранцев. Этот стиль был выдержан во всем убранстве заведения. И только радио и портрет Алькалы Самора21 выдавали коммерческую фальсификацию этой Espana tradicional.

Удобно расположившись, голодные путешественники заказали обильный ужин. Пока они пили мансанилью и с жадностью уничтожали нежных цыплят, эгоизм помешал им вспомнить о человеке, который привел их сюда. Войдя в трактир, они и не подумали его поблагодарить, а за ужином вовсе забыли о его существовании. Кюре появился совершенно неожиданно, когда компания перешла к хересу, и его появление никого бы не смутило, не покажись он им совершенно другим. Сначала всем стало неловко, как будто их вдруг выставили напоказ. Смех и шутки сразу смолкли, потом все почувствовали себя виноватыми. Теперь кюре был без плаща и шляпы, под ярким светом керосиновой лампы Фани могла разглядеть его лицо. Первое, чем поражало это лицо, была красота.

Оно было пугающе, греховно, почти кошмарно красиво, слишком красиво, чтобы принадлежать монаху или священнику. Изящные очертания бровей, носа, губ дышали безмятежной мечтательностью и спокойствием языческого бога, но в матовости кожи, в черных как уголья глазах горели темперамент и зной Андалусии, что-то пламенное и страстное, что воздействовало сильней всего, но это не было земной чувственностью, а скорее фанатизмом, в котором проглядывало даже что-то жестокое и зловещее. Может, это был чисто испанский фанатизм его веры, а может быть, такое впечатление производила монашеская ряса или ум, спокойствие и железная воля, которые светились в его глазах и странно контрастировали с молодым, почти юношеским лицом.

Он поклонился легко, непринужденно и улыбнулся, показав два ряда ослепительно-белых зубов. Фани сразу поняла, что этот человек вполне уверен в себе. В нем не было и тени мучительной робости перед женщинами, какую прячут иные католические священники под маской напыщенной строгости.

Первой опомнилась Клара, наименее восприимчивая ко всему необычному.

– Как вы себя чувствуете? – прощебетала она, пожирая пустыми глазами красавца монаха.

– Мы только что говорили о вас!.. – солгал Мюрье, которому стало стыдно за эгоизм компании.

Монах сказал, что был в конюшне, растирал соломой своего мула. Животное могло простудиться. А потом в кухне сушил у огня одежду. Все это он объяснил без всякой досады, точно дождь и путешествие ничуть не были ему неприятны.

– Почему вы путешествуете на муле? – спросила Клара.

– Я объезжаю горные селения.

– Вы ужинали? – спросил Джек.

– О нет!.. Я буду ужинать сейчас, – сказал монах весело.

– Пригласи его поужинать с нами! – быстро прошептала Фани.

Джек облек свое приглашение в самую учтивую форму, и все же в нем прозвучала снисходительная нотка, которая могла оскорбить монаха. Тот ответил, что очень сожалеет, но не может принять любезного приглашения. Правила ордена, к которому он принадлежит, обязывают его ужинать скромно, и он вынужден отказаться от удовольствия разделить их благородную компанию. Ответ обескуражил всех четверых и произвел неприятное впечатление. Монах заметил это и, не смущаясь, добавил откровенно:

– Я бы с радостью сел с вами, но я должен соблюдать устав ордена.

Правдивость и твердая убежденность, с какими он говорил, были удивительны. Мюрье и Фани поняли его отлично, чего нельзя было сказать об американцах. Джек насупился, а Клара сказала хихикая:

– Мы слишком испорченная компания для вас?

– Оставь человека в покое! – вскипела Фани.

– Не сердись, милая, – звонко пропела Клара. – Это ты предложила его позвать.

К счастью, монах не слышал их перепалки. Ему только что принесли ужин, и в тот момент, когда они обменивались колкостями, он встал у своего стола и начал читать молитву.

– Без сомнения, он попадет прямо в рай! – тихо сказал Джек. – Фани, почему ты не пьешь вино? Похоже, наружность его преподобия начинает на тебя действовать?

– А почему бы и нет? – сказала Фани и залпом выпила свой стакан. И вдруг ей стало грустно оттого, что через полчаса лицо монаха исчезнет и она никогда больше его не увидит.

– Он похож на Франшота Тона, – авторитетно установила Клара. – Только поменьше ростом.

– Теперь я вижу, что ты и правда с удовольствием бы его выжала, – заметила Фани.

Американка усмехнулась снисходительно и не сочла нужным ответить. Она уже вырвала Мюрье из рук Фани и была полна тщеславной гордости, но отчасти и сочувствия к своей приятельнице. Бедная Фани! Когда в женщине нет изюминки, ей ничто не поможет!

В это время монах кончил молитву и спокойно принялся за еду. Ужин его был самый дешевый – такой, наверное, заказывали бедняки и странники на первом этаже. Немного вареного гороха, капуста и сало – все в одной тарелке. Пока он ел, а Фани спорила с друзьями – она настаивала, чтобы они подольше пробыли в Авиле, – с шоссе послышались громкие голоса и шум грузовика. Трактирщик выскочил из комнаты, но никто не обратил на это внимания.

Джек, по природе не злопамятный и не ревнивый, а только вспыльчивый и избалованный, снова почувствовал расположение к монаху и, перебросившись с ним несколькими словами, решил, несмотря на протесты Фани, послать ему бутылку вина. Монах принял ее с благодарностью, но попросил позволения выпить вино на следующий день. Четверка опять повела вполголоса иронический разговор, которого монах не слышал, так как столик его стоял в противоположном углу комнаты.

– Держу пари, он вообще не станет ее пить, – сказал Джек сердито.

– Куда же он ее денет?

– Может, кому-нибудь подарит.

– Или сам выхлещет перед сном, – предположила Клара.

– Ну и что из этого? – спросила Фани.

– А ты готова стать его адвокатом, дорогая?…

– Чем он нас оскорбил?

– Как чем? – спросил Джек, уже сильно захмелевший, – Можно ли представить себе более дерзкую надменность?

– Глупости!.. Он держится совершенно естественно.

Они уже готовы были поссориться, когда монах кончил ужинать и оперся локтем о стол. Видимо, ему хотелось уйти, но из вежливости он решил поговорить с ними несколько минут. Или, может, он делал это в силу привычки изучать людей. Его красивые глаза остановились по очереди на каждом.

– Вы… вероятно, туристы?… – спросил он вежливо.

– Вроде того, – развязно ответил Джек. – Ищем потехи по всей Испании.

– Так делает большинство иностранцев, которые не знают нашей страны, – кротко заметил монах.

– Мы из таких.

– Может быть, вы гордитесь этим? – внезапно спросил испанец.

– Конечно, – ответила Фани за Джека, – потому что мансанилья сразу бросается нам в голову.

Она сказала это по-испански, к удивлению монаха, который улыбнулся п пробормотал понимающе:

– Yo lo veo!..22

Он посмотрел на нее своими пронзительными, блестящими, как черный бриллиант, глазами, точно хотел сказать: «Спасибо, но меня ничуть не задевает поведение этого сеньора!» Фани ощутила волнение от этой мгновенной солидарности, установившейся между ними. Присутствие монаха сразу заглушило раздражение, которое вызывал у нее флирт Клары и Мюрье.

Кюре действовал на нее как мансанилья или, точнее, вместе с мансанильей вносил в обстановку что-то гипнотическое, возбуждающее и приятное… Это матовое испанское лицо, блеск зубов, нервная южная красота, аскетически сжатые губы и твердый блеск глаз в таком странном сочетании с христианским смирением были поистине пленительны и овладевали всем ее существом. Молчание, наступившее после глупой выходки Джека, прогнало бы монаха, если бы Фани не постаралась задержать его еще немного.

– К какому ордену вы принадлежите, отец? – спросила она почтительно.

– Ого, она называет его «отец»! – вырвалось у Клары. И американка громко захохотала, потому что тоже была пьяна.

– Я из Христова воинства, – ответил монах, не обращая внимания на смех.

– Что это за общество? – спросил Джек.

– Это не общество, сэр, а религиозный орден, основанный нашим духовным отцом Лойолой.

– А-а! Значит, вы иезуит? – торжественно установила Клара и обвела взглядом всю компанию, точно хотела сказать: «Наконец-то мы его поймали!»

– Это слово звучит у нас не слишком лестно, – заявил Джек.

– В этом виноваты наши враги, – ответил монах.

– А почему у вас есть враги?

– Потому что даже у самого Христа было мало друзей.

– Какие цели у вашего ордена?

– Они просты, но мне не дозволено излагать их по трактирам.

– Может, вы изготовляете ликеры? – спросила Клара.

– Нет, благородная мисс.

– Вы не обязаны отвечать на глупые вопросы, – заявила Фани решительно.

– Знаю, – смиренно ответил монах, – но я не считаю господ глупыми.

– Мы только нечестивые, – сказал Джек.

– И избалованные, – добавила Фани.

Клара и Джек набросились на нее с ироническими упреками, но Фани не обратила на них внимания. Она не спускала глаз с монаха, который опять посмотрел на нее слегка озадаченно, точно удивлялся, что она так реагирует на выходки своих друзей и даже готова рассориться с ними ради него. Они обменялись взглядами и снова молча согласились, что Клара и Джек – избалованные дети, на дерзость которых но следует обращать внимания. Но нахальство американцев уже перешло все границы. И тем не менее в терпении монаха было не безразличие, а достоинство человека, превосходящего их неизмеримо. Может быть, он вел себя так, подчиняясь только правилам ордена. Может быть, если бы этот человек – его властные с жестокой складкой губы, острый взгляд, в котором горели неукротимые фанатичные огоньки, утонченность всего его облика выдавали идальго, облачившегося в рясу por convicción,23 – может быть, если бы этот человек находился где-нибудь в клубе или на стадионе, он ответил бы Джеку вызовом на дуэль, ударом кулака в челюсть. Но сейчас он воздержался даже от резкого слова и сделал это красиво, умело, подчиняясь той внутренней дисциплине, какой требовал его орден.

Шум, долетавший снизу, внезапно усилился и отвлек внимание четверки от монаха. Послышались громкие угрожающие выкрики и вслед за тем удары по воротам.

– Что там происходит? – по-испански спросила Фани кельнера.

– Это очень неприятно, сеньора!.. Рабочие едут на митинг в Сеговию.

– Ну и что же?

– Они хотят войти в трактир.

– Пускай входят!

– Как? Сюда? – растерялся кельнер.

Мысль о том, чтобы смешать господ с простонародьем, показалась ему скандальной.

– Говорите, митинг? По какому поводу? – спросил Джек.

– Против восстановления старой церкви в Сеговии, – объяснил Мюрье.

В Бургосе, пока они пили кофе, он успел пробежать заголовки газет.

– Но ведь Испания – прогрессивная республика?

– Вот именно! Прогрессивная, только чересчур набожная, и рабочие протестуют.

– Замолчите, давайте послушаем! – предложила Фани.

Шум и крики не смолкали. Откуда-то выскочили две служанки и испуганно прижались друг к другу.

– Madrecita!..24 – захныкала молоденькая, ломая руки.

– Не бойся, Рамонсита! – утешала ее другая, постарше. – Хозяин послал Хоселито за гражданской гвардией.

– Какой от нее толк? Эта гражданская гвардия наполовину из антихристов!.. – не унималась Рамонсита.

Сельский священник давно внушил ей, что все, кто не признает короля, – антихристы.

Любопытство компании перешло в тревогу, когда по лестнице, ведущей наверх, тяжело затопали люди, прорвавшиеся в трактир. Послышался голос хозяина, который убеждал их:

– Mucliachos!.. Muchachos!..25 Это комнаты для господ. Там сейчас иностранцы… англичане…

Другой голос, подобный иерихонской трубе, взревел яростно:

– А мы собаки, что ли, черт подери? Нынче у нас равенство!

Человек, который так свирепо настаивал на равенстве, показался в дверях. Это был молодой черноволосый великан с добродушными карими глазами, выражение которых никак не вязалось с сердитыми выкриками, с какими он крушил ворота. Он был одет в опрятный рабочий комбинезон и, видимо, уже подвыпил. За ним толпились его товарищи, человек десять, в потрепанной одежде и баскских шапочках. С виду все они были рабочие или бедные интеллигенты, воодушевленные идеей дружно продемонстрировать в Сеговии свою ненависть к средневековой Испании. Войдя, великан обвел взглядом комнату; когда глаза его остановились на монахе, в них блеснули огоньки фанатической ненависти.

– Товарищи! – объявил он зловеще. – Вот он, чернорясник!

И угрожающе двинулся на представителя реакции. Но остальные были гораздо трезвее своего товарища. Один из них тотчас почуял опасность, грозившую монаху, и, схватив плечистого исполина за локоть, спокойно осадил его:

– Карлито!.. Без глупостей!

Карлито моргнул. Потом с некоторым усилием сосредоточился и пришел к выводу, что и впрямь не имеет смысла вышвыривать кюре из трактира. Да их не счесть, этих черных паразитов в рясах!.. Лучше будет сперва взять власть, а потом погрузить их на пароходы – в подарок Ватикану от Испанской республики. И Карлито смирился. Он только дал волю своему энтузиазму, ударив что есть мочи по столу и крикнув во всю силу легких:

– Viva el anarquismo!..26

После этой внушительной декларации в присутствии кюре и компании капиталистов, ужинавших жареными цыплятами, Карлито и его товарищи велели хозяину сдвинуть два стола и расселись за ними. Так как испанская честь не позволяла им угощаться бесплатно, они вытащили кошельки и проверили, сколько у них денег. Половина субботней получки была пожертвована на нужды профсоюза, часть другой половины оставлена семьям – женам и детям. Об ужине не могло быть и речи, но все же на остатки денег можно было вскладчину заказать бутылку мансанильи. Не хватало всего пятидесяти сантимов. Их дал хрупкий юноша с высоким лбом и затуманенным взором – самый обеспеченный изо всей компании, тот, что удерживал Карлито от глупостей. Он был учителем начальной школы в Аранде и, хотя показывал ученикам, как изготовить гранату, подобно всем интеллигентам робел, когда наступало время действовать.

От удара Карлито по столу и его громовой здравицы анархизму задрожали стекла. Фани заметила, что это вызвало появление еще одного представителя пролетариата, тоже в рабочем комбинезоне. Новое лицо, видимо, не принадлежало к группе анархистов, но обладало какой-то властью, возможно, было одним из организаторов предстоящего митинга. На его баскской шапочке блестела красная звезда. Оглядев комнату, он задержал взгляд, подозрительный и враждебный, на тщедушном рыжеволосом рабочем с неприятным лицом.

– Что такое, товарищ Лоренте? – сухо спросил Карлито в наступившей тишине.

– Ничего, – ответил Лоренте хмурясь, – слишком расшумелись.

– Может, мы собрались на литургию? – заметил рыжий, и его произношение сразу выдало иностранца. – Когда в трактир приходят плутократы, они поднимают больше шума!

– А ты кто такой? – внезапно спросил Лоренте, подходя к нему.

– Анархист! – гордо ответил рыжий.

– Покажи членский билет.

– Мне надоело показывать его полицаям.

– Покажешь или нет? – повторил Лоренте, и в голосе его прозвучала угрожающая нотка.

– Гилермо, покажи билет! – сказал учитель из Аранды, – Товарищ из комитета Конфедерации.

Рыжий нехотя вытащил какую-то карточку и бросил ее на стол. Не проявляя признаков раздражения, товарищ Лоренте внимательно просмотрел билет и так же, как рыжий, не слишком вежливо, вернул его.

– Спокойной ночи, товарищи! – сказал он, вскинув кулак, и пошел к двери.

Почти никто ему не ответил.

– Долго мы будем терпеть самоуправство этих коммунистов? – спросил рыжий после ухода Лоренте. – Где наша свобода действий, товарищи анархисты?

Вопрос прозвучал патетически и ударил анархистов по самому больному месту, но подоспевшая бутылка мансанильи помешала им ругать Лоренте. Учитель из Аранды, самый кровожадный из всех заговорщиков на свете, по-братски разделил вино, налив себе меньше всех. Единственной бутылки едва хватило на десятерых, да и то каждому пришлось по полстакана, что составило неприятный контраст с обилием разнообразных вин и остатками богатого ужина на столе плутократов. Этот факт рабочие невольно отметили и обменялись горькими взглядами.

– Здесь пахнет дракой, – сказал Джек.

– Ничего не будет, – раздраженно бросила Фани.

Ее слегка расстроило неприятное сознание своей вины, вызванное всей обстановкой, – она вспомнила, что накануне с полным равнодушием проиграла в казино Сан-Себастьяна три тысячи песет, тогда как на свете есть люди, которые собирают сантимы, чтобы заказать бутылку мансанильи. И эти люди, пока она бездельничала, целую неделю работали в душной атмосфере литейных мастерских Бильбао. Ей показалось, что все это подло, слишком подло, чтобы считаться нормальным.

– Мюрье, ты умеешь боксировать? – спросил Джек.

– Нет, – презрительно ответил француз.

– Тогда, если понадобится, пока я буду действовать, ты выведешь женщин, ладно?

– Что ты собираешься делать? – с досадой спросил Мюрье.

– Я намерен выставить их отсюда.

– Глупости!.. – сердито сказала Фани. – Не воображаешь ли ты, что это негры?

– Негры лучше выдрессированы. Знают свое место. Джек был вполне уверен, что эти испанцы не знают своего места, хотя находятся в собственной стране. Их говор и смех раздражали его, вызывали почти физическое отвращение к ним, к рабочему классу вообще, который переходит все границы в своих претензиях. Короче, он не мог выносить их присутствие. К его раздражению и классовой ненависти к рабочим прибавлялось и дурное настроение, владевшее им с утра. Клара и Мюрье продолжали флиртовать, считая его дурачком, который ничего не замечает. Фани была поглощена монахом, и Джек стал чувствовать себя за столом пятым колесом в телеге. Какая нелепость!..

Он налил себе стакан вина и выпил его залпом, что было очень дурно истолковано пролетариями.

– Ты видел, Карлито!.. Вот это называется пить! – с горечью заметил рыжий.

Это правдивое замечание заставило литейщиков поглядеть на свои пустые стаканы не столько с досадой, сколько с чувством унижения. Взгляды их враждебно устремились на стол плутократов.

– Мы пот проливаем, а богачи живут себе припеваючи! – продолжал рыжий, ободренный воздействием своих слов.

И это было печальной истиной, давно известной рабочим, но вопреки ожиданию рыжего сейчас она никого не взволновала. Большая часть товарищей пропустила его замечание мимо ушей, остальным стало просто досадно. Зачем говорить то, что и так ясно. Потому ведь они и борются! Гораздо важней сказать что-нибудь о тактике борьбы или самому принять участие в решительном выступлении. Умные глаза товарища из Аранды остановились на Гилермо с недовольством. Гилермо, немец по происхождению, вечно вызывал инциденты и раздоры. Коммунисты даже подозревали, что он провокатор. Конфедерация рассылала указания о том, что не следует компрометировать борьбу рабочих грубыми выпадами против отдельных лиц. Теперь слова Гилермо могли раззадорить товарищей и вызвать нежелательные действия против иностранцев.

Внимание рабочих было поглощено компанией плутократов, и они вовсе забыли про монаха, который по-прежнему спокойно сидел за своим столом. Теперь все глазели на иностранцев, точно они были труппой артистов и готовились петь в кабаре. Чтобы избавить дам и господ от этого плебейского любопытства, трактирщик стал вертеть ручки приемника, пока не отыскал какую-то станцию, которая передавала джаз. Он решил, что танцевальная музыка отвлечет рабочих. Но музыка пробудила в них другие эмоции.

– Пять бутылок хереса за мой счет! – громко заказал рыжий, бросив надменный взгляд на аристократов.

– Гилермо!.. – испуганно воскликнул учитель из Аранды. – А у тебя хватит денег расплатиться?

Рыжий важно похлопал по карману своей синей блузы.

Этот поступок, такой неожиданный и товарищеский, привел всех в восхищение. Впрочем, Гилермо был холостяком, получал высокую поденную плату, как опытный литейщик, и мог позволить себе такое транжирство. Товарищи, выражая свой восторг, наградили его шумными хлопками по спине. Они были испанцы – буйные, пылкие люди с южной кровью, которые любили жизнь, борьбу и вино. Мысль о том, что после тяжелой работы в литейной они будут пить херес, совсем вскружила им головы. Они даже не спросили, откуда у Гилермо деньги, чтобы проявлять такую щедрость. Сумма, которую он швырял на угощение, во много раз превосходила его недельный заработок. Только в голове учителя из Аранды мелькнуло смутное подозрение.

Между тем кельнер принес бутылки, и вино оказало свое действие. Гилермо еще раз раскошелился и заказал еще пять бутылок крепкого вина, настоящего хереса, который могли пить только плутократы… Даже учитель из Аранды, сначала не одобрявший поступок Гилермо, забыл про свое недовольство и стал горячо разъяснять двум товарищам необходимость временных уступок по некоторым пунктам доктрины ради сохранения союза с коммунистами. Борьба рабочих должна быть единой!.. Пусть товарищи анархисты это поймут.

Итак, в этом зале для caballeros27 было чисто и уютно; камин пылал, радио играло, херес лился! Как хороша жизнь, как приятно после целой недели работы в литейных сидеть в чистом зале за рюмкой хереса и беседовать с товарищами!.. Как счастливы были эти простые и чистые испанские души, эти страшные анархисты из Бильбао, одно упоминание о которых нагоняло ужас на кюре, аристократов, банкиров, промышленников! Теперь они больше не испытывали ненависти к плутократам с соседнего стола, поедавшим омаров и жареных цыплят. Равенство между людьми, всеобщая гармония и анархия как будто наконец наступили!..

Убедившись, что товарищ из Аранды все более страстно углубляется в рассуждения о едином фронте с коммунистами (к группе присоединились новые рабочие), рыжий встал со своего места и подсел к Карлито.

Теперь уже можно было сказать, что Карлито по-настоящему пьян, что, впрочем, случалось с ним редко, потому что он, хоть и был холост, не имел возможности распускаться. Он содержал мать, двух сестер да еще семью брата, убитого на митинге во времена Примо де Ривера.28 Теперь Карлито был в чудесном настроении, то и дело похлопывал своих товарищей по плечу и вдохновенно провозглашал: «Viva el anarquismo!»

– Гилермо!.. Viva el anarquismo!

– Viva! – ответил рыжий, согнувшись под ударом тяжелой лапы, которая обрушилась на его плечо.

– Нравится тебе здесь?

– Ого! Еще бы!

– Вино недурное, а?

– Ого!.. Чудесное!

– А как тебе нравятся дамы за тем столом?

Карлито, хоть и был пьян, застыдился такого вопроса. Нет, в женщинах он не разбирался… Он мог кричать на митингах, драться с фалангистами, стрелять с баррикад и даже закатить речь, но женщины всегда его смущали. Да и деньги на них требовались, а его заработка едва хватало, чтобы прокормить братниных ребятишек. Он только несколько раз потанцевал с работницами на вечерах в клубе коммунистов – вот и все!

– Хороши, а? – сказал рыжий и прицокнул языком.

Карлито бросил робкий взгляд на дам, но тут же стыдливо потупился. Что и говорить, Гилермо прав. Таких женщин ему редко приходилось видеть. Холеные, белокожие, золотоволосые, ослепительно красивые. Но разве эти женщины существуют для того, чтобы ими любовались рабочие? Они для богатых. Впрочем, Карлито больше нравились испанки. Каких девушек он встречал на митингах в Пуэрта-дель-Соль в Мадриде!.. Особенно те две, из Бадахоса! Но опять-таки отсутствие денег и застенчивость помешали ему завязать с ними дружбу. Не разбирался он в женщинах, да и только! Вот когда надо строить баррикады против полиции, драться, не жалея жизни ради идеи, Карлито не робеет, это знают все.

– Посмотри!.. Толстушка тебе улыбается!.. – сказал Гилермо.

Карлито снова засмущался. Ну уж и улыбается!.. Но все же он бросил беглый взгляд на иностранку. Да, она в самом деле улыбалась. Если бы добрый Карлито знал, какими лживыми могут быть улыбки благородных сеньор, он, может быть, не был бы так взволнован. В этот момент Клара весело комментировала с Мюрье смешные и целомудренные повадки рабочего парня. Впрочем, она имела привычку улыбаться всегда, когда замечала, что на нее смотрят мужчины.

– Ты танцевал когда-нибудь с благородными сеньорами? – внезапно спросил рыжий.

– Нет, конечно! – обиженно ответил Карлито.

Вопрос Гилермо показался ему глупым и оскорбительным. Все равно как если бы его спросили: «Ты поддерживаешь связи с плутократами?»

– Почему бы тебе не пригласить ее на танец? – равнодушно спросил Гилермо, точно это было в порядке вещей.

– Hombre! Разве мы собрались на танцы? – справедливо заметил Карлито.

– А что тут такого? Как будто нам положено только молотом махать.

– Оставь! Это не по моей части.

– Дурень!.. Погляди, как она ухмыляется! Так и ждет, что ты ее пригласишь!

Карлито опять бросил быстрый взгляд на сеньору и опять увидел, что она смотрит на него и улыбается, но теперь вроде как насмешливо… Так и есть! Женщины всегда будут над ним смеяться, потому что он стесняется. И Карлито почувствовал себя оскорбленным. Что? Разве он какой-нибудь мальчишка-подмастерье?

– Ну, иди же! – подтолкнул его Гилермо.

Карлито заколебался. Что ж, так ему всегда и быть посмешищем? Пусть товарищи видят, что он не боится женщин и даже готов пригласить на танец благородную сеньору. И все же Карлито не решался. Что-то смутно подсказывало ему, что и время и обстановка не подходят для демонстрации смелости.

– Кажется, ты боишься плутократов? – презрительно бросил рыжий.

Это он-то боится плутократов? Карлито в свою очередь с насмешкой посмотрел на товарища. Сейчас увидишь! Он с тщеславной радостью вообразил, как после танца товарищи ему скажут: «Браво, Карлито!.. Не побоялся пригласить благородную сеньору!» Разумеется, у него не было никаких непорядочных намерений по отношению к этой сеньоре, ну, чтобы, например, прижать ее к себе или надоедать ей дурацкими любезностями. Он только хотел доказать и ей и товарищам, что он не дичится, как мальчишка-подмастерье или деревенский кюре, и не боится плутократов.

И Карлито самоуверенно поднялся с места. Твердо шагая, он подошел к столу иностранцев и встал перед сеньорой. Он поклонился галантно, как в кино. Не пожелает ли сеньора протанцевать с ним этот фокстрот? Он был совершенно уверен в ее согласии. Но сеньора не шелохнулась. Ее кукольные голубые глаза смотрели на него холодно. Улыбка исчезла с ее лица. Неужели она откажет? Карлито покраснел от стыда и смущения. Он простоял несколько секунд в полной растерянности, а потом беспомощно поглядел на другую сеньору, с зелеными глазами. Каррамба!.. Он ошибся! Надо было приглашать эту сеньору, а не голубоглазую. Вблизи он разглядел, что она гораздо красивей той, к которой его направил Гилермо, что в ней вовсе нет надменности и что она весело улыбается ему. Но к ней нельзя было обратиться, раз он уже пригласил первую. И Карлито продолжал стоять в растерянности перед столом иностранцев.

– Спроси господ!.. – подсказала ему по-испански зеленоглазая сеньора.

Верно, пропади оно пропадом!.. Карлито забыл попросить разрешения у господ. Вот неуч!.. Да это же первое условие, которое выполняют и его товарищи, приглашая незнакомых девушек на рабочих вечеринках. Разве приглашают так, как попало!.. И Карлито смущенно выполнил салонный ритуал.

– Чего хочет этот идиот? – спросил Джек.

– Он просит позволения танцевать с Кларой, – весело перевела Фани.

– Он его непременно получит! – сказал американец. Он вскочил и сунул одну руку в карман, другой грубо толкнул рабочего.

– Джек! – крикнула Фани.

Но было поздно.

Карлито отлетел назад и чуть не упал. Усилие, которое он сделал, чтобы удержаться на ногах, протрезвило его и заставило понять, в какое жалкое положение он попал. Подумать только! Этот плутократ позволил себе его толкнуть! Как же так? Ведь Карлито не сделал ничего непристойного. Он только спросил, можно ли ему потанцевать с дамой. Так принято во всей Испании. Если знатный кабальеро не разрешает, он мог отказать ему по-человечески, а не толкаться. И весь долго копившийся гнев против плутократов внезапно вскипел в груди Карлито. Ему захотелось схватить этого аристократа за руки, прижать его к стенке и сказать ему: «Слушай! Ты подлец, потому что ни во что не ставишь рабочего!» Да, Карлито так и сделал бы, но плутократ его опередил.

С быстротой молнии Джек нанес ему свирепый удар кулаком в нос. Карлито отлетел назад во второй раз, инстинктивно раскинув руки. Ловкий, как тигр, Джек бросился на него и нанес ему еще один удар, страшнее первого, в глаз, который поверг парня на пол.

Кровь залила лицо Карлито. Фани тотчас догадалась, что Джек бил свинчаткой, он всегда носил ее в кармане. Совершенно озверев, американец расправился бы со своим противником до конца, если бы Фани и Мюрье не повисли у него на руке.

– Кровопийца! – простонал Карлито. Он попробовал встать, но снова рухнул на пол. Нос, глаза, затылок болели нестерпимо. Он ничего не видел. Кровь из носа, который был расплющен, текла ручьем и собиралась в кровавую лужу на досках пола. Зрелище было отвратительным и жестоким. Все совершилось в какие-нибудь несколько секунд. Увидев, что произошло, товарищи Карлито в ярости повскакали с мест. Джек опять приготовился к драке.

– Все ни с места! – громко приказал учитель из Аранды. И обратился к соседу: – Хуанито, скорей позови товарища Лоренте!

Хуанито бросился за Лоренте. Рабочие послушались учителя и остались на своих местах. Монах и двое из них склонились над изувеченным Карлито, остальные смотрели на Джека горящими ненавистью глазами.

– Свинчаткой бил!.. – возмущенно сказал кто-то.

– Сукин сын! Такой мог и стрелять.

Джек налил себе вина и залпом осушил стакан. Клара смотрела на него с тупым восхищением. Фани и Мюрье вроде бы успокоились, но теперь перед всеми встал вопрос о последствиях. Если рабочий изувечен серьезно, этот случай им даром не пройдет. Они вполголоса обменялись мнениями о том, что делать дальше.

– Лучше всего удрать, – предложила Клара.

Это предложение, хотя и подлое, выглядело довольно разумным. Джек быстро расплатился с трактирщиком.

Они были готовы двинуться в путь, когда в столовую вошли сержант и трое солдат гражданской гвардии в черных лакированных сапогах и пелеринах. За ними шел товарищ Лоренте.

– Что случилось? – строго спросил Лоренте.

– Ничего, товарищ… – смущенно стал объяснять один из анархистов. – Мы пришли, сидели тут и… Карлито пригласил даму танцевать.

– Глупцы!.. Канальи!.. – взорвался Лоренте. – Вы на танцы ехали или на митинг? Кто заказал вино?

– Гилермо.

– Где Гилермо?

– Вон он!

– Арестуйте его! – сказал Лоренте, указав жандармам на рыжего. – Это провокатор!.. Наши товарищи давно за ним следят.

Затем он обратился к иностранцам:

– Ваши паспорта, сеньоры!

– Как?… По какому праву?… – возмутился Джек.

– В противном случае я вас арестую! – хладнокровно предупредил Лоренте.

После короткого объяснения все были вынуждены отдать ему свои паспорта под расписку.

– Вы свободны, – сказал коммунист.

Джек и Клара пошли в свои комнаты, Фани отправилась было за ними, но Мюрье знаком попросил ее задержаться.

– Посмотрим, не опасна ли рапа! – сказал он. – Похоже, Джек здорово его трахнул.

И только теперь они вспомнили про монаха. Монах стоял на коленях над избитым Карлито и ватой с марлей вытирал ему с лица кровь. Эта сцена напоминала Фани старинную гравюру с изображением монахов, врачующих больных чумой. Рядом на стуле стоял маленький кожаный несессер с хирургическими инструментами. Принесли суповую миску с кипятком; монах вылил в нее какую-то жидкость, а потом опустил туда инструменты. Когда он начал работать, в комнате наступила полная тишина.

– Он действует, как врач! – удивленно заметила Фани.

– Он, несомненно, врач, – подтвердил Мюрье, наблюдая, как быстро и ловко работает монах.

Мюрье почувствовал угрызения совести. Он не поспешил на помощь поверженному, как монах. Он хотел остаться рядом с Фани на случай, если бы разъяренные рабочие бросились на них. Да, опять Фани. Хотя, в сущности, он должен был бы уже думать о Кларе, женщине с долларами, которая спасет его от колоний, от безденежья, от унижений.

Раненый глухо стонал. Кость над одним глазом была раздроблена, и монах пинцетом извлекал кусочек за кусочком из кровавого месива сплющенных мускулов. Время от времени он прибегал к местной анестезии, искусно манипулируя шприцем. Потом пришла очередь разбитых носовых хрящей. Наконец раны были вычищены и перевязаны, только рот и один глаз несчастного остались свободными от бинтов. Монах поднес руку к этому глазу и спросил кротко, голосом, бросившим Фани в дрожь:

– Братец! Ты видишь мою руку?

– Нет!.. Нет… – простонал раненый.

– Каррамба!.. Неужели? – спросил Лоренте, нагибаясь к нему.

– Да, сеньор! – подтвердил монах. – Он ослеп на оба глаза… От ран и от сотрясения мозга.

Фани и Мюрье выскользнули из комнаты, а рабочие мрачно склонились над раненым товарищем. Провокатора арестовали, у бездельника-американца отобрали паспорт, но Карлито, буйный и жизнерадостный Карлито, на всю жизнь остался во тьме…

Через полчаса постоялый двор затих. Сержант и солдаты гражданской гвардии уехали на мотоциклах, забрав провокатора Гилермо. Анархисты, получившие взбучку от Лоренте, повезли на грузовике раненого товарища в ближайшую больницу. Монах лег на общих нарах в нижнем помещении вместе с подозрительными оборванцами. Клара и Джек после продолжительной ссоры разошлись по своим комнатам и заснули. Мюрье отдался мрачным размышлениям о своей беспринципности, но вскоре тоже заснул. И только Фани бодрствовала.

Сначала она с возмущением думала о том, какой жестокий, хулиганский поступок совершил Джек, а потом ей стало казаться, что в этом путешествии под дождем, в бурю, в этом ночлеге на испанском постоялом дворе есть что-то страстное и возбуждающее, что-то тревожное и пьянящее, о чем она, наверное, будет вспоминать всю жизнь, как о тех незабываемых ощущениях ранней молодости, которые никогда не стираются из памяти. Фани блаженно улыбнулась этим чарам, этому бесконечно приятному чувству, охватившему все ее существо, когда монах во время ужина вошел в зал. Она знала, что это значит. Она старалась не признаваться в этом даже самой себе, заглушить в себе нечистый импульс, подавлявший все остальные, более высокие чувства, и не смогла.

Монах должен был ей принадлежать.

Это желание было внезапным и вульгарным, но разве она не может его осуществить? Эксцентричные порывы, необузданные прихоти, мгновенные капризы всегда управляли ее волей. Можно было предположить, что достоинство, с каким монах выносил насмешки американцев, его хладнокровие в стычке с анархистами, античная поза, в которой он стоял на коленях над телом раненого, вызовут у нее наичистейшее восхищение. О да!.. Все это ее восхищало. Но кто упрекнул бы ее за другие чувства? Мужественная красота монаха – такая южная и пламенная, фанатичный огонь в его глазах, аскетизм его тела и души уже разожгли Фани до безумия. В его личности было что-то притягательное, как в пароксизмах самой Испании, что-то экзотичное и таинственное, как позолоченные мрачные соборы под лазурным небом Андалусии. То, что она испытывала, было какой-то странной, доселе ей незнакомой смесью чувственности, романтики и возвышенного порыва, приправленной, разумеется, капризным желанием во что бы то ни стало заполучить монаха и еще – светским тщеславием. Ей казалось, что ради одной ночи с этим человеком она могла бы пожертвовать всем, что имела! Сейчас она испытывала мучительную страсть классического испанского Дон Хуана, севильского развратника, к девственной монахине. Не похожа ли Фани на Дон Хуана? Это было бы романтическое, пикантное, восхитительное приключение! Фантазия ее понеслась бурным потоком, сметая все препоны действительности. Она привлечет монаха своим обаянием светской соблазнительницы, между ними завяжется любовная игра, у него начнется борьба между духом и плотью; потом вспышки сладострастного воображения Фани наивно рисовали ей его падение в волшебной обстановке какой-нибудь черной, душной андалусской ночи, в келье монастыря, утопающего в мимозах, пальмах и апельсиновых деревьях; и вот наконец она, теша свое тщеславие светской женщины, рассказывает о своем редкостном романе в модных салонах или в интимном уединении с каким-нибудь новым интересным собеседником… Все это сейчас радовало, возбуждало и опьяняло Фани.

Изнуренная порывами своего воображения, Фани заснула только под утро. Когда она проснулась, комната была залита солнечным светом. Она встала и посмотрела в окно: был роскошный весенний день, но под ярким солнцем, под синим небом, которое теперь приобрело кобальтовый оттенок, кастильская степь была здесь такой же бедной, такой же бесплодной, красновато-бурой и песчаной, как и повсюду. На шоссе перед постоялым двором Джек копался в автомобильном моторе. Испанский бродяга, в лохмотьях, с сумкой через плечо, медленно брел, опираясь на палку, куда глаза глядят.

Фани быстро оделась и вышла в зал. Клара и Мюрье еще не появились из своих комнат. Рамонсита мыла пол, а хозяин, уже без серьги и живописного платка, с карандашом в руке что-то подсчитывал за прилавком. Фани подошла к нему и спросила, встал ли монах.

– О, он давно уехал, сеньора! – ответил хозяин.

– А вы не знаете, откуда он?

– Нет, сеньора.

– А его имя?

– Нет, сеньора.

– Разве вы не заносите имена постояльцев в книгу? – спросила Фани раздраженно.

– Кто станет обременять такими формальностями святого человека!.. – ответил хозяин.

– А Лоренте и полицейские не записали его имя?

– Не знаю, сеньора. Кажется, они предложили ему подписать акт об увечье, но потом решили, что лучше ему не подписывать.

Это Фани уже не интересовало. Она опять ушла в свою комнату и опустилась на стул. Монах исчез бесследно.

II

В скверном настроении, усталая и равнодушная, Фани села в такси, ожидавшее ее у входа в отель «Палас», чтобы ехать в суд.

Вот и наступил наконец этот полный напряженного ожидания день, когда должно было разбираться дело Джека, возбужденное Конфедерацией рабочих. Уже целый месяц все левые и правые газеты вели яростную полемику вокруг происшествия на уединенном постоялом дворе между Деспеньяторосом и Авилой. Наконец-то испанцы увидят, защитит ли республиканский суд своего гражданина, рабочего-литейщика Карлоса Росарио, или уступит нажиму чужестранных сил п освободит Джека Уинки. Коммунистические и социалистические газеты и с ними орган анархистов требовали примерного наказания виновного, в то время как правые поднимали оглушительный шум, протестуя против красной диктатуры в стране. Впрочем, эта диктатура ничуть не мешала им орать во всю глотку. Они даже ставили всем в пример героизм американца, который прибег к законной самозащите, чтобы отстоять честь своей невесты. Того, что Клара Саутдаун была теперь скорей невестой Мюрье, они не знали.

Было чудесное майское утро, и Мадрид утопал в весенней зелени. Трамваи весело звенели, птички щебетали, прохожие заигрывали с красивыми девушками, а те улыбались молча и сдержанно –         как того требовало приличие – в ответ на эти вольности, на эти жизнерадостные испанские piropos,29 не циничные, не оскорбительные, а просто веселые и изящные. Но дурное настроение не покидало Фани. Все казалось ей ненужным и скучным. Даже дело Джека ее почти не интересовало. Уже много недель она разыскивала монаха, но не могла его найти.

Целый месяц она напрасно колесила по горам Леона, Кастилии и Наварры, расспрашивала о нем хозяев постоялых дворов, всех случайно встреченных кюре, бродяг, постовых гражданской гвардии. Монах как сквозь землю провалился. Впрочем, глупо было думать, что Фани сумеет разыскать кюре, не зная ни его имени, ни местожительства. Только один раз она напала на неясный след. Хозяин постоялого двора «Вирхен де Ковадоига», близ Гредоса, вспомнил, что в его заведении ночевал один отец-иеузит, но без мула. Наружность его точно совпадала с описанием сеньоры. «Muy jovencito, muy саго е muy santo»,30 – как объяснил хозяин. Но он тоже не внес его имени в книгу, несмотря на непреложное требование закона. Сам отец попросил его не делать этого. Разве мог он не внять просьбе божьего служителя? За это отец окропил постоялый двор святой водой и благословил больного сына хозяина.

Фани вернулась в Сан-Себастьян, где застала несколько писем: от Джека, от Клары и от Мюрье, а также от Лесли Блеймера. Писем своих друзей из Парижа она не дочитала – они были очень длинные и полные скучных подробностей, касавшихся предстоящего судебного процесса. Интересней было письмо Лесли, которому она поручила навести справки о монахе.

Когда Лесли надо было что-нибудь разузнать в Испании, он прибегал к падежному методу – действовал через аристократов. Итак, он обратился к одному набожному мадридскому идальго, дону Алехандро Винярон де ла Пласа, роялисту, поддерживавшему связь с толедским архиепископом. Дон Алехандро спросил его высокопреосвященство, как узнать имя монаха, разъезжавшего на муле в горах между Деспеньяторосом и Авилой. Архиепископ ответил, что это нелегко, потому что все деревенские кюре и монахи пользуются этим животным в горах. Все же дело значительно облегчилось, когда дон Алехандро сказал, что интересующая его особа – иезуит и, вероятно, врач. Тогда архиепископ посоветовал дону Алехандро обратиться к супериору иезуитов в Толедо, отцу Родригесу-и-Сандовалу. Вероятно, Лесли скоро сумеет сообщить Фани то, что ее интересует. В конце письма Лесли высказывал предположение, что, вероятно, этот монах – агитатор монархистов.

Измученная нетерпением, Фани опять бросилась на поиски, на этот раз в горы Арагона, и объехала все дороги, доступные автомобилю. Неподалеку от Уэски она действительно попала на одно собрание монархистов, устроенное монахом, но агитатором здесь был краснощекий седовласый августинец, который с удивительной беспечностью открыто призывал все земные и небесные силы сокрушить республику. Собрание он проводил на постоялом дворе «Апостол Сантьяго», где остановилась Фани. Пообедав бифштексом, спаржей, жареным цыпленком и двумя бутылками вина, отец побеседовал с Фани, но оказалось, что он никогда не встречал монаха, о котором говорила сеньора. Qué lástima!..31 Служителей бога в Испании такое множество, что, если они из разных епархий, они почти не общаются друг с другом. Однако сеньора, возможно, сумела бы узнать его имя, если бы справилась о нем в иезуитском политехническом училище на улице Альберто Агильера в Мадриде. И отец удалился на покой, потому что арагонское вино уже стало погружать его в блаженную дремоту.

Фани, перенеся в Туделе тяжелый грипп, вернулась в Сан-Себастьян. Служанка маэстро Фигероа опять подала ей целую пачку писем от Джека и Мюрье, но на этот раз она их даже не вскрыла. Вместо этого она углубилась в «Историю католической церкви», из которой узнала много полезного про апостолов, про святых, про пап и про монахов, объединенных во всевозможные ордена. Там же она узнала, что отцы иезуиты работают преимущественно среди народа, а не уединяются в монастыри. Дойдя до восьмой главы, с которой начиналась история Лойолы и святой инквизиции, она получила повестку – ее вызывали в суд, в Мадрид, как свидетельницу по делу Джека. Тотчас вслед за этим Мюрье позвонил ей по телефону. Он настаивал, чтобы Фани ехала в Мадрид и связалась с адвокатом Джека. Но Фани это не взволновало, и она поехала не сразу. Она чувствовала слабость после болезни и отправилась в Мадрид только на третий день вечером; в спальном вагоне она с грехом пополам вспомнила, о чем они уговорились сразу после происшествия.

Джек тогда струсил, и не на шутку. За использование свинчатки и нанесение тяжелого увечья ему грозило самое малое шесть месяцев тюрьмы. Был намечен такой план: Клара и Джек тотчас же обратятся с жалобой в посольство, которое со своей стороны будет добиваться от испанского правительства «наказания виновных». Уговорились также, вопреки показаниям остальных свидетелей, категорически отрицать, что Джек нанес удар первым. Все было прекрасно задумано, но во время следствия все рассыпалось. Клара насочиняла ворох глупых подробностей, противоречивших показаниям Фани и Мюрье. Следователь потребовал ареста Джека. В посольстве шевелились медленно – такие истории с американскими подданными случались часто, а знакомых у Джека там не было. Затем Клара и Мюрье уехали на страстную неделю в Севилью, а Фани отправилась в горы на розыски монаха. Пока Джек, сидя в тюрьме, ругал своих неверных друзей, из Нью-Йорка приехал опытный адвокат, он организовал кампанию в правых газетах и связался со своими испанскими коллегами.

Без сомнения, дело уладится, но все же Фани была несколько озабочена тем, что опаздывала на процесс. Впрочем, она не могла добавить ничего нового к тому, что уже говорила следователю.

Войдя в суд, Фани с тревогой поняла, что заседание идет уже давно. В комнате для свидетелей, однако, никого не было. Какой-то судейский чиновник наспех объяснил ей, что Джек отказался от ее показаний, чтобы не откладывать слушание дела. Слегка поколебавшись, она направилась в зал.

Она вошла в дверь для свидетелей и потому сразу очутилась совсем рядом с судьями. Магистраты, облаченные в тоги, оглядели ее строго и враждебно. Публике было запрещено входить в эту дверь. Меньше педантизма проявили судебные заседатели. Один из них, седовласый и полнолицый, предложил ей сесть, с улыбкой кивнув на несколько пустых мест в первом ряду. В этом же ряду она увидела Клару и Мюрье. Оба смотрели на нее возмущенно.

Фани направилась к ним, но в тот же миг чуть не потеряла сознание. Дыхание прервалось, сердце заколотилось. На маленьком возвышении перед судейским столом стоял монах. Она увидела ту самую фигуру, то самое лицо, те самые глаза, о которых думала с такой страстью, разыскивая его в горах; ту самую пламенную красоту и аскетически сжатые губы, которых она столько раз жаждала; тот самый оливковый оттенок кожи, придававший его лицу какую-то недоступность и призрачность. Но если в тот дождливый вечер, когда она увидела его впервые, одежда подчеркивала его скромность и непритязательность, то теперь внешность его была эффектной и торжественной. Крахмальный воротник и манжеты, новая ряса, мантия из красивой черной ткани, закинутая за плечи, сверкающий крест на шее – все это придавало ему осанку высшего церковного иерарха и распространяло вокруг него обаяние мрачной, величественной и непоколебимой духовной силы, силы церкви, которая в течение веков вращала колесо испанской истории. Может быть, он намеренно явился таким холодным и великолепным в строгой торжественности своего праздничного одеяния (en su гора domin-quera) ради политического оттенка процесса, желая этим подчеркнуть все еще веское слово своего ордена и либо поддержать республиканское правосудие, либо бросить ему упрек. Если он хотел достичь такого эффекта, он его уже достиг.

В зале царила полная тишина. Все взгляды были устремлены на монаха. Даже рабочие – коммунисты и анархисты, поколебавшись, признали, что, хотя в этом священнике есть что-то фанатичное и реакционное, чего они, разумеется, не могут одобрить, в нем зато нет и следа ничтожества и лисьей хитрости, свойственных большинству монахов и кюре – этой своре алчных налоговых агентов папы.

Увидев Фани, монах кивнул. Он сделал это с бесстрастной учтивостью, а потом положил руки на перила и стал ждать вопросов суда. Очевидно, он был вызван в качестве свидетеля – с чьей стороны, Фани не знала. Возможно, об этом упоминалось в письмах Клары и Мюрье, которые Фани не дала себе труда прочитать. Итак, они его нашли – друзья Карлоса Росарио или Джека Уинки, все равно, – пока Фани искала его в горах! Если бы она знала об этом, у нее не пропал бы так бессмысленно целый месяц. А сколько можно было сделать за это время!

Появление Фани вызвало интерес только у допрошенных свидетелей подсудимого и отчасти в английской колонии. Клара стала делать ей какие-то глупые знаки головой, из которых Фани ничего не поняла. Джек взглянул на нее сердито и не пошевельнулся. Мюрье встал и подошел к адвокату, вероятно, чтобы сообщить о ее приходе. Адвокат, дон Хулиан Мартинес-и-Карвахал, скептически покачал головой. Нет, лучше не прибегать к показаниям сеньоры Хорн, она не в курсе дела и может повредить. Сказав это, дон Хулиан озабоченно поправил свою тогу.

Появление монаха было неожиданностью для дона Хулиана. Монах явился в суд как свидетель Карлоса Росарио. Очень неприятно, что подсудимый и его друзья, да и дон Хулиан, сами вовремя не разыскали этого монаха. Несомненно, его показания будут самыми авторитетными для суда и особенно для судебных заседателей из-за его монашеского звания, из-за нелепого заблуждения, будто служители бога не способны лгать. Дон Хулиан ничуть не сомневался, что как раз этот монах скажет правду, но того, что дело из-за него будет проиграно, а орден иезуитов окружит себя ореолом благородства, – этого Хулиан вынести не мог. Впрочем, этот процесс – последнее его дело в Испании. Дон Хулиан готовился эмигрировать в Аргентину. Будучи либералом, он ненавидел иезуитов, будучи парламентаристом, он враждовал с монархистами, будучи потомком знатного рода, он едва выносил власть плебеев, и, наконец, будучи верным сыном Испании, он фанатично следовал своим убеждениям, которые, к несчастью, не вполне совпадали даже с программой его собственной партии. Из-за этой непримиримости дон Хулиан был в ссоре со всеми режимами, со всеми правительствами и со всеми властями в Испании, включая судебную. Несмотря на его блестящий ораторский дар – а может быть, как раз благодаря ему, – его звезда быстро закатывалась. Итак, дело было проиграно. Но, поняв это и словно для того, чтобы уж наверняка обеспечить его провал, страстный дон Хулиан приготовился хотя бы заклеймить публично и католицизм и левых – две ненавистные силы, отравившие ему жизнь. Голосом, напоминавшим скрип ветряной мельницы, председатель задал обычные вопросы. Монах назвал свое имя: Рикардо Леон Родригес де Эредиа-и-Санта-Крус.

– Возраст?

– Тридцать два года.

– Профессия?

– Монах Христова воинства.

– Местожительство?

– Толедо. Резиденция отцов иезуитов, улица Тринидад, сорок восемь.

Ответы глубоко врезались в память Фани.

– Уважаемые судьи, я прошу вас отвести этого свидетеля! – внезапно прогремел голос дона Хулиана.

Судьи посмотрели на него с холодной враждебностью, как люди, терпение которых не раз испытывалось подобным образом. Прокурор сухо кашлянул и сжал губы. Американская колония с любопытством навострила уши. Дело обещало быть таким же интересным, как встреча по боксу. Джек, который не понимал испанского языка, но тотчас смекнул, что защитник сделал ловкий ход, довольно улыбнулся. Вот что значит хороший адвокат!..

Дон Хулиан Мартинес-и-Карвахал величественно задрапировался в свою тогу. Он заговорил медленно, спокойно, плавно, но то был лишь пепел, под которым тлели угли его ярости. Искусно перейдя к более сильным риторическим эффектам, он глубже ковырнул язву, разъедающую общественную жизнь Испании. Итак, профсоюз металлургов выставляет в качестве свидетеля монаха Эредиа! Насытившийся лев спрашивает у лисицы, не совершил ли он преступления! Тирания, схватившая за глотку вековую хитрость, предлагает ей сказать правду! Excelencias!32Граждане Испании! Какой здравый рассудок, какое правительство дерзнули бы признать, что при нынешнем положении иезуит Рикардо Эредиа скажет правду? Да разве он не подумает сначала о своей шкуре, о той тяжкой ответственности, которую несет он и его орден, виновный в исторических преступлениях католицизма? Справедливость, Excelencias! Иезуит Рикардо де Эредиа не должен быть допущен в качестве свидетеля по делу!

По залу волной прокатилось глухое негодование. Коммунисты, анархисты и верующие горожане из других партий роптали одинаково. Это было уж чересчур! Этот адвокат явно позволил себе лишнее. Впрочем, кто не знал Карвахала по его речам в парламенте! Сейчас он словно метнул гранату, начиненную обидами, не пощадившую никого. Последовало короткое и хмурое совещание судей. Нет, суд не удовлетворяет требования защиты отвести свидетеля Рикардо Эредиа. Одновременно председатель сделал строгое замечание Мартинесу-и-Карвахалу за некорректность по отношению к республиканским властям. Республика полностью обеспечивает своим гражданам, невзирая на их убеждения, свободу совести. Утверждать противное было бы провокацией.

Аплодисменты публики заглушили протест Карвахала. Этот инцидент еще сильнее разжег любопытство в зале. Приближался самый интересный момент процесса. В ходе разбирательства центральным оказалось одно обстоятельство, которое никто не мог прояснить до конца, а именно: кто напал первым – Джек или рабочий? Показания очевидцев противоречили друг другу. Адвокаты обеих сторон обвиняли свидетелей противника во лжи. Хозяина заведения, кельнера и обеих горничных в момент драки в помещении не было. Оставался только один человек, показания которого можно было считать беспристрастными и решающими. Этим человеком был монах.

Теперь все внимание публики сосредоточилось на нем. Его как лицо духовного звания освободили от присяги, и он ровным металлическим голосом, с сухой точностью, словно обвиняя какое-то невидимое зло, описал все происшествие. Слова его падали в тишине с неумолимой строгостью, с почти зловещим бесстрастием. Фани почудилось, что, наверное, именно так говорил сам Торквемада.33 И в последний момент четко, ясно, не повышая и не понижая голоса, он заявил, что первый удар нанес Джек Уинки.

На несколько секунд зал замер. Фани слышала только сухое покашливание прокурора да биение своего сердца. В той части зала, где сидела американская колония, пронесся глухой шепот, а потом вдруг испанские рабочие, составлявшие массу публики, зааплодировали. Джек стал бледен, как парафин, Клара, ничего не понимая, смотрела с испугом, а Мюрье подпирал голову то одной, то другой рукой. Темные глаза Мартинеса-и-Карвахала мрачно горели под его насупленным цицероновским лбом. Шея его побагровела от волнения. Он весь кипел от страстной ненависти к иезуитам и к республике. Дело прогорало, но в этом последнем процессе он заклеймит навсегда падение общественной жизни в Испании. А пока он обуздывал свой гнев, чтобы излить его в защитительной речи с тем ужасающим красноречием, которое наводило трепет на всех его противников в кортесах от крайних левых до клерикалов и монархистов. Но все же, чтобы хоть на чем-то сорвать сердце, он воскликнул драматически:

– Предлагаю привести свидетеля к присяге!

К общему негодованию испанской публики, монаха принудили присягнуть. Он сделал это спокойно, с безупречным достоинством, и в тоне его было горестное сожаление о нарушении традиции. По залу прокатилась волна симпатии к иезуиту.

– Граждане Испании!.. – внезапно воскликнул Мартинес-и-Карвахал, и в голосе его прозвучала едкая, убийственная ирония. – Слушайте! Иезуит клянется в верности правде!

Он повернулся лицом к публике и, расправив свою тогу, якобинским жестом показал на монаха. Вот что было самым страшным у Мартинеса-и-Карвахала, вот что везде вносило смуту. Он мог убить своим языком. Иезуит клянется в верности правде! Это все равно, как если бы черт читал Евангелие. Рабочие, сами того не желая, начали смеяться. Эх, и язык же у этого Мартинеса-и-Карвахала! И публика продолжала смеяться легко, беззлобно, по-испански, пока ее не утихомирил звонок председателя. Фани заметила, что твердые черты монаха болезненно исказились.

– Я сказал правду!.. – произнес он неожиданно своим ровным металлическим голосом. – И я знаю лицо, которое может подтвердить мои слова!

– Кто это лицо? – быстро спросил адвокат Карлоса Росарио.

– Сеньора Хорн! – сказал монах. – Она в зале.

Фани показалось, что она слышит свое имя во сне или что она сидит в театре, вся поглощенная спектаклем, и вдруг ее просят выйти из зала.

Теперь возбужденный шепот понесся с мест английской колонии.

– Сеньора Хорн! – бесстрастно повторил голос судьи.

Фани инстинктивно выпрямилась. После короткого совещания суд решил ее допросить. Мартинес-и-Карвахал выдвинул некоторые возражения, но они были отвергнуты. А потом наступила напряженная тишина и слышались только автомобильные сирены и звон трамваев с Пуэрта-дель-Соль. Адвокат Карлоса Росарио, представлявший Рабочую конфедерацию, маленький белокурый испанец с голубыми глазами, поднялся со своей скамьи и подошел к Фани.

– Вы говорите по-испански? – спросил он тихо.

– Да! – смело сказала Фани.

Испанец расправил складки своей тоги п, указывая на монаха, произнес громко и торжественно:

– Сеньора Хорн!.. Вы подтверждаете или отрицаете слова отца Рикардо?

И Фани почудилось, будто это не адвокат ее спрашивает, а сам отец Эредиа, и чувство это перешло в полную уверенность, когда она невольно взглянула на монаха и глаза их встретились. Голова у нее закружилась. Сердце бешено застучало… Состояние ее было близко к состоянию преступника, когда он решил совершить преступление, но колеблется в выборе подходящей минуты. Она остро сознавала, что рассуждать ей некогда, и все же рассуждала, прикидывала, делать ли ей первый шаг сейчас. Мысль о Джеке ее удерживала, страсть подталкивала. На одной чаше весов находились Джек, Клара, Мюрье, их общие забавы и развлечения. Теперь на этой чаше лежали подлость и ложь. На другой чаше находился монах Эредиа и благородная правда. Но что происходило в эту минуту в ней самой? Быть может, драматическое столкновение добра и зла? Фани вдруг ясно поняла, что в ней борются только две подлости. Мгновение она колебалась. Желание сказать правду было не чем иным, как подлостью, расчетливым ходом ее страсти, желавшей завоевать расположение монаха. В ней слабо шевельнулась совесть, и Фани почувствовала, что преодолевает этот расчет, эту подлость, которую публика, включая отца Эредиа, приняла бы за какую-то особую честность. Нет, Фани не любит блистать фальшивыми качествами, как не терпит фальшивых драгоценностей. Но вдруг она осознала, что монах твердо верит в эту ее несуществующую добродетель и что в этот миг ничто не отвратило бы его от нее решительней, ничто не нанесло бы большего вреда ее планам, чем если бы она подтвердила показания Джека, Клары, Мюрье…

– Говорите, сеньора!.. – гремело у нее в ушах. Адвокат Рабочей конфедерации взывал все громче, все драматичней. – Солгал ли монах Эредиа? Солгал ли тот, кто каждый день ходит в кварталы нищеты и лечит больных?

– Я протестую против такого преднамеренного допроса свидетелей! – воскликнул опытный Мартинес-и-Карвахал.

Он уже заметил тревожные симптомы колебания у Фани.

– Заданный вопрос не содержит ничего, могущего нанести вред обвиняемому, – монотонно ответил судья.

Фани подняла голову. В последнее мгновение она увидела прекрасные андалусские глаза монаха. И произнесла твердо:

– Отец Эредиа сказал правду!.. Джек Уинки, Клара Саутдаун, Жак Мюрье и я дали следователю ложные показания.

– Обвиняю свидетелей подсудимого в лжесвидетельстве, – провозгласил прокурор. – Прошу суд подвергнуть их аресту.

Зал погрузился в гробовое молчание. Публика, судьи и адвокаты застыли как громом пораженные. На мгновение Фани показалось, что она совершила величайшую в своей жизни глупость, по потом она поняла, что ой вовсе не грозит тюрьма, что, напротив, ее поступок невероятно взволновал всех испанцев. Даже бесстрастные лица судей выразили волнение. Она обвинила сама себя, но показала при этом нравственное величие, подобно героине в драме Лопе де Бега. Испанцам ли не оценить этого?… Крики и бешеные рукоплескания, как на бое быков, сотрясли зал. Вот она, Англия! Вот они, англичане, самые честные люди в мире! Viva Inglaterra!..34

Приободрившаяся Фани отважилась посмотреть прежде всего на Джека. Американец впился в нее глазами, а потом на его лице появилась презрительная улыбка, точно он хотел сказать: «Сука!.. Я знал, что ты способна на такой номер. И только затем, чтобы понравиться этому попишке, так ведь?» Она отважилась посмотреть и на несчастного Мартинеса-и-Карвахала, который застыл в изумлении, пораженный и подавленный человеческим коварством. Она посмотрела на ошеломленную Клару, вконец поглупевшую, посмотрела на Мюрье, совершенно сбитого с толку всем происходящим. Посмотрела, наконец, и на отца Эредиа – его матовое лицо на миг залилось румянцем, а потом к нему опять вернулась прежняя аристократическая бледность. Среди общего смятения в зале одни золотистые отблески в его глазах казались живыми, и Фани опять почудилось, что между ними установилась знакомая ей молчаливая солидарность, которую она почувствовала тогда, в придорожном трактире. Для нее этого было достаточно, большего она и не желала и не ждала в ту минуту.

Процесс закончился в тот же день. Джек Уинки был осужден на шесть месяцев тюрьмы и денежное возмещение убытков, а Клара и Мюрье получили по одному месяцу за лжесвидетельство. Что же до Фани, суд признал смягчающие вину обстоятельства и освободил ее от ответственности. Пока все выходили, Фани продолжала сидеть на своем месте. Кто-то подошел к ней и коснулся ее плеча. Это был Лесли Блеймер.

– Фани!.. – произнес он с укором. – В своем ли ты была уме?

– Вполне, Лесли.

– Зачем ты это сделала?

– Мне нравится монах.

– И ты пожертвовала своими друзьями!..

– Что из того?

Лесли с трудом подавил восхищение. В ней всегда было что-то великолепное и беззастенчивое, что-то чисто британское, и оценить это мог только британец. Они дружили с детства – это была одна из тех привязанностей, лишенных всякой сентиментальности, которые у англичан часто длятся всю жизнь.

– Ты невыносима!.. – сказал он, всем своим видом выражая возмущение, а в сущности целиком поддавшись ее очарованию. – Поднимайся! Хочешь, поужинаем вместе?

Когда они вышли, она увидела перед судом громадную толпу смуглолицых рабочих. Они запрудили почти всю площадь Пуэрта-дель-Соль. Взметнув кулаки, рабочие приветствовали Фани.

– Видишь? – произнесла Фани с торжеством.

И тут же почувствовала, как мало она заслуживает эти овации. Нищая, оборванная Испания!.. Чтобы приветствовать правду, эти бедняки прошли немало километров.

– Ну что ж, – сказал Лесли. – Улыбнись им!

И когда автомобиль тронулся, он стал махать шляпой. Но Фани не могла улыбнуться.

**III**

После процесса жизнь Фани несколько изменилась. Она переселилась в Мадрид и на Пасео-де-Реколетос сняла довольно уродливый серый дом, носивший претенциозное название Паласио де Ривас по имени своего благородного владельца или, точнее, его предков. Все члены американской колонии тотчас отвернулись от нее. Не менее враждебно повели себя ее соотечественники. Разумеется, Фани это ничуть не задело. Ей не хватало только Мюрье, язвительное остроумие которого и провансальскую пылкость не могла заменить флегматичная дружба Лесли.

Неожиданностью для нее было письмо от супериора иезуитов провинции Толедо, отца Сандовала, доставленное специальным курьером в рясе. Письмо начиналось обращением: «Благороднейшая и милостивейшая госпожа!» – далее выражалось восхищение достойным поведением Фани на суде и смиренная благодарность, в конце шли щедрые благословения. О монахе Эредиа в нем не было ни слова, как будто бы его личность потонула в вековой пыли ордена.

Несколько дней спустя Фани посетила Мюрье. Она увидела его в камере, за решеткой; он сидел на кровати, обложившись книгами. Некоторое время Мюрье притворялся, что поглощен чтением и не замечает ее. Затем как бы случайно поднял голову и кивнул ей с убийственным равнодушием.

– Жак!.. – дерзко сказала Фани, точно ничего не случилось.

Мюрье опять погрузился в чтение. Фани терпеливо сделала еще несколько попыток втянуть его в разговор. Так как чрезмерное равнодушие могло показать, как глубоко он задет, Мюрье наконец отложил книгу. Фани с удовольствием отметила про себя его старательное притворство.

– В чем дело? – спросил он по-французски с таким видом, как будто его тяготило ее присутствие.

– Я принесла тебе кое-что.

– Можешь оставить все при себе.

– Мне хотелось бы, чтобы ты на меня не сердился.

– Как ни странно, я на тебя ни капельки не сержусь.

– Тогда прости меня, пожалуйста!

– Отец Эредиа простит тебе все твои грехи.

Фани знала, что, раз Мюрье заговорил в таком духе, значит, он больше не злится. Чтобы вернуть его расположение, прядется прийти к нему еще. Не говоря ни слова, она, довольная, пошла прочь, но Мюрье вскочил и просунул руки сквозь решетку.

– А пирожные! – воскликнул он возмущенно. – Почему ты их не оставила?

Однажды чудесным кастильским утром Фани отправилась на своей машине в Толедо, старую столицу Испании. Весна благоухала, в голубом небе звенели жаворонки, солнце пригревало, но не давило зноем, как это бывает в летние месяцы, и на зеленых еще лугах паслись стада мериносов. Жизнерадостная природа, воздух, зелень несколько смягчали ту страсть, которая, в сущности, гнала Фани в Толедо. Она и теперь мечтала об отце Эредиа, но уже не с темным сладострастием, а с каким-то чистым, почти девичьим восторгом.

Зачем она едет в Толедо, она не знала. Она старалась быть осторожной и сдержанной, но сгорала от нетерпения. Чтобы не сделать какого-нибудь глупого, опрометчивого шага, который мог бы скомпрометировать монаха, она нуждалась в разведке. Но разведать что-либо было очень трудно, потому что Фани недостаточно хорошо владела языком, да и сама жизнь испанцев представляла собой бесконечно сложное переплетение иерархий и традиций, куда более запутанное, чем у англичан. Именно по этой причине Фани уже завязала дружбу с доном Алехандро и ждала, когда выпустят Мюрье. Она могла рассчитывать также еще на одного человека – шофера Робинзона. Последний происходил из семьи потомственных кучеров, издавна жившей в Бороу-Дейл, на родине Фани. Из поколения в поколение кучера Робинзоны возили сквайров Хорн, однако существовала опасность, что эта традиция будет нарушена, так как Фани явно пренебрегала прошлым, а Робинзон проникался все более отчетливыми симпатиями к социалистической партии. На последних выборах после тяжелой внутренней борьбы он даже не голосовал за кандидата консерваторов в своем округе.

Сопоставив сведения, добытые от дона Алехандро и Робинзона, Фани заключила, что она сможет докопаться до важных деталей, касающихся жизни отца Эредиа, если посетит резиденцию иезуитов в Толедо. Однако у нее еще не было никакого определенного плана действий. Она походила то на робкую институтку, то на хищное животное, которое с наслаждением предвкушает верную добычу. И все же по трезвом размышлении ей пришлось признать, что добыча далеко не такая уж верная, как она порой воображает. Простая беседа в любой резиденции отцов иезуитов, по словам дона Алехандро, связана с рядом формальностей. В католических орденах, особенно в фанатичной Испании, царствует железная дисциплина. Разумеется, Фани не была столь наивной, чтобы безусловно верить словам набожного дона Алехандро. Ей давно было известно, что во всех уголках мира есть развратные архиепископы, кюре с любовницами, монастыри, в которых происходят оргии, что эта неприступность, эта дисциплина, эта строгость монашеской жизни могут быть лицемерием, пусканием пыли в глаза. В конце концов, все зависит от человека. Фани смутно угадывала, что нравственность отца Эредиа безупречна. Это чувствовалось в его взгляде, в его лице, в строгости всего его аскетического облика. Фани могла предположить, следовательно, что всякое общение с ним будет затруднено и по крайней мере по отношению к себе он будет придерживаться строгих правил ордена; любой необдуманный ход с ее стороны, малейшее подозрение монаха, если оно появится прежде, чем она покорит его, прежде, чем она напоит его тело ядом своего сладострастия – а в том, что она сумеет это сделать, она была уверена, – могут погубить все.

Когда Фани увидела двойные зубчатые стены Толедо и машина проехала мост через Тахо, ее обожгла внезапная надежда встретить монаха… Может быть, отец Эредиа сейчас в Толедо! Может быть, Фани увидит его в резиденции иезуитов, заговорит с ним, положит начало своего рода интеллектуальной дружбе! Это законно, допустимо. Фани знала, что в истории Испании были такие дружбы, связанные с более нежными чувствами и неизбежными их последствиями, между дамами из высшего общества и знаменитыми иезуитами. Почему бы и ей не завязать с монахом подобную дружбу, интимная сторона которой – о наивность избалованной женщины! – останется в полной тайне.

Фани остановилась в отеле «Кастилия», а Робинзон отправился узнавать, где резиденция иезуитов. Она выпила кофе, потом вышла осмотреть город. Толедо показался ей старинной поэмой. И эта поэма, эти узкие улочки, эти маленькие площади, выложенные плитами и заросшие травой, эти каменные дворцы кардиналов, графов и маркизов с крестами на стенах, каждый из которых означал, что здесь или там погиб какой-нибудь идальго, сражаясь на шпагах, старинные лавчонки с кинжалами и браслетами, кюре, которые шагали по улицам, читая свои молитвенники, женщины, закутанные в черные вуали, которые шли на литургию или с литургии, собор, огромный, мрачный и величественный, гранитное спокойствие Алькасара, дом Греко, крепостные стены и старинное великолепие всего города – все это, да, все это говорило ей об Эредиа, об одном Эредиа!

Фани вернулась в отель. Выпила кофе, выкурила несколько сигарет. Она с нетерпением ждала наиболее удобного для посещения резиденции часа, так как боялась нарушить приятный сои или утренние молитвы супериора. Она тщательно позаботилась о том, чтобы туалет ее был достаточно строгим. Надела черный костюм с высоким воротником и спустила вуалетку на глаза, чтобы смягчить их зеленый блеск. Фани казалось, что она выглядит смиренной и серьезной, по – увы! – ей не хватало благовидного повода для визита. Опьянение древним городом и наивные надежды встретить Эредиа помешали ей сообразить, что отсутствие такого повода должно было навлечь на нее подозрения еще раньше, чем она заговорит о монахе. Под влиянием своего настроения она придумала ворох наивных причин, чтобы объяснить «случайное» посещение резиденции. Там в непринужденной беседе с супериором Фани надеялась выманить хоть какие-нибудь сведения об отце Эредиа.

Фани направилась к резиденции в самом оптимистическом расположении духа. По дороге она мысленно повторяла фразы в кудрявом испанском стиле, которые она собиралась прощебетать по-французски. Перед массивной дубовой дверью, окованной позеленевшей бронзой, которую ей показал Робинзон, она остановилась. Казалось, что дверь герметически закрыта. На маленькой медной табличке, прибитой под звонком, слишком маленькой для такого большого учреждения, Фани прочитала: «Residencia de los padres jesuitas».35 Фани потянула ручку звонка, и где-то в глубине резиденции отозвался далекий звон колокола. Через минуту окошечко в двери отворилось, и в его рамке показалась коротко остриженная голова. Лицо – вероятно, брата-привратника – было очень строгое, но не отмеченное особым интеллектом.

Позднее Фани узнала, что иезуиты, дабы вернее служить папе, который, опираясь на не совсем ясные полномочия, замещал на земле Христа, применили в своем ордене общественную систему, против которой они же больше всего поднимали крик: каждый по своим способностям и специальности получал в общежитии какую-нибудь работу. Существовал брат-портной, брат-сапожник, брат-бухгалтер, который вел двойные расчеты – одни для внешнего мира, из которых явствовало, что общежитие бедствует и погрязло в долгах, другие для генерала ордена, который должен был знать, какой суммы достигает чистый доход от подаяний верующих, чтобы перекачать его в кассы Ватикана. Затем шла более высокая иерархия отцов: отец-дантист, отец-химик, отец-гинеколог, который в родильных домах помогал новым христианам появляться на свет. Был даже отец-астроном, бесконтрольно собравший в Аргентине, опять-таки от верующих, громадные средства, чтобы построить алюминиевый стратостат и подняться на нем в стратосферу. Но обо всех этих достижениях организации иезуитов Фани тогда еще ничего не знала.

Брат-привратник вежливо поздоровался и, даже не спрашивая, кто ей нужен, сухо сообщил, что для приема посетителей отведено время от двенадцати до часу, после чего сразу захлопнул окошечко. Фани в растерянности пошла обратно. В конце улицы она машинально прочитала каменную надпись, вещавшую о некоем доне Рамиро Альваресе, убитом на дуэли в 1498 году доном Рикардо Балбуэна, а потом прошлась до овеянной грустью площади поэта Бекера.

Ровно в половине первого она вернулась в резиденцию. На сей раз брат-привратник коротко опросил ее: имя, откуда она прибыла, кого ей нужно, и наконец задал совсем уж полицейский вопрос – зачем ей нужен отец Сандовал. Фани заявила важно, что она хочет увидеться с отцом и поговорить с ним и что ее имя ему известно. Брат-привратник смерил ее взглядом с головы до пят, точно все, что он слышал, могло быть подвергнуто сомнению. Фани подумала, что он, вероятно, видит в ней Шарлотту Корде, потому что в его глазах она прочитала неприязнь и подозрение. Потом он захлопнул окошечко у нее перед носом и заставил ее ждать еще несколько минут, как кающегося Генриха IV перед папским замком в Каноссе. Дверь он открыл чуть приветливей и пригласил ее в приемную, обставленную по-спартански, куда вскоре вошла некая увядшая особа в рясе. Незнакомец был средних лет и представился как отец Оливарес.

Продолжительные молитвы и глубокое изучение схоластики иссушили его лицо. И только крошечная частица живого чудом сохранилась в грустной улыбке глаз. Фани сразу почувствовала, что этот человек не опасен. В его взгляде не было и следа магнетической силы отца Эредиа. Постоянные размышления о Платоне, казалось, совершенно оторвали его от времени и пространства. Перед ней стояло существо, чей дух парил как облако по вершинам догматики Фомы Аквинского, и только разжиревшее брюшко свидетельствовало о вине и обильной пище, которые он принимал всякий раз, спускаясь на землю.

Отец Оливарес смущенно осведомился у Фани о причине ее прихода, и, когда она объяснила, что ей хотелось бы быть представленной отцу Сандовалу, лицо монаха выразило озабоченность, как будто такая просьба могла быть выполнена только после долгих размышлений. Тогда Фани добавила, что отец Сандовал, вероятно, вспомнит ее имя в связи с показаниями отца Эредиа по делу Джека Уинки.

– О, неужели вы сеньора Хорн!.. – воскликнул иезуит, но его изумление тотчас растворилось в прежней отрешенности.

Однако он почтительно пригласил ее пройти с ним дальше, в другую приемную, более просторную, с толстыми коврами и роскошными старинными креслами, где Фани впервые в жизни увидела, как выглядел Игнатий Лойола четыреста лет тому назад. Там, помещенная в подобие алтаря, стояла раскрашенная деревянная статуя святого почти в естественную величину – одно из тех ужасных произведений испанской полихромии, от которых бросает в дрожь, ибо они создают полную иллюзию живого существа. Фани невольно ощутила, что перед ней призрак, который испепеляет ее своим взглядом и вот-вот шевельнется и двинется к ней, чтобы спросить, что ей здесь нужно.

– Это святой Игнатий Лойола, – объяснил отец Оливарес, – наш духовный отец. Эта статуя считается одним из самых удачных произведений испанской полихромии.

– Чудесно!.. – произнесла Фани растерянно.

И, разглядывая в ужасе статую святого, она вдруг увидела, пораженная, что в юношеской красоте Эредиа, в его глазах и губах есть что-то от демонического облика этой статуи. Фани опустилась в кресло, подавленная этим новым тревожным ощущением, а Оливарес пошел предупредить супериора. Он вернулся быстро и сказал, что отец скоро придет. Наступило молчание.

Фани стала наблюдать за Оливаресом. Тот в течение десяти секунд старался придумать тему для разговора, достаточно благочестивую для стен этого дома и в то же время занимательную, чтобы не утомить светскую даму. И так как для его отвлеченного ума эта земная задача была чересчур трудна, его блуждающий в эмпиреях взгляд стал особенно беспомощным. Фани немедленно этим воспользовалась.

– Вы, наверное, знаете лично отца Эредиа? – спросила она осторожно.

– Он был моим учеником по философии в Гранаде, – не без гордости заявил Оливарес.

– Но ведь он… мне кажется, врач!

– Каждый из нас, помимо специального образования, проходит курс теологии.

– Но это поразительно!.. Какая эрудиция!

– Мы только скромные слуги бога.

– А также и людей, – вставила Фани. – Я всюду слышу о социальной деятельности вашего ордена.

– Служение богу достигается через нашу деятельность среди людей и милосердие к ним.

– Это я видела и на примере отца Эредиа. Он живет здесь?

– Нет, сеньора!.. Сейчас он в Мадриде.

– Вероятно… лечит в кварталах бедняков?

– О да, и это тоже! Но сейчас он главным образом работает над новой вакциной против сыпного тифа. Эта болезнь – социальный бич в нашей стране. Кроме того, он преподает гимнастику и гигиену в Колехио-де-Аревалес.

– Колехио-де-Ареналес?…

– Это гимназия и политехническое училище, они содержатся на средства нашего ордена.

– Мне кажется, я видела этот колледж.

– Вполне возможно!.. На улице Альберто Агилера, между Сан-Бернардо и Аргулес.

– Ах да… припоминаю!

Только это Фани и было нужно! Она ощутила безумную радость, но в тот же миг онемела от испуга. Не предупредив о себе ни звуком, точно он прошел сквозь стены комнаты и слышал весь разговор, по ковру скользил новый призрак, ужаснее деревянного – тот хотя бы стоял неподвижно, – существо, точно восставшее из могилы, хилое, высохшее, с желтым, как пергамент, лицом, с фосфоресцирующими глазами. Костлявые руки сжимали роскошный переплет молитвенника. Призрак сделал легкий поклон и протянул безжизненную руку. Фани невольно вздрогнула, когда к ней прикоснулась. И услышала его голос:

– Отец Сандовал!..

– Наверное, я прервала ваши занятия, отец! – извинилась она почтительно.

– Мы уже прочитали свои молитвы. А прием посетителей входит в нашу обязанность служить людям. Мне очень приятно видеть вас, сеньора Хорн!.. – добавил он в то время, как его фосфоресцирующие глаза с холодной проницательностью изучали Фани. – Мы не забудем в наших молитвах, что вы поддержали на суде правду.

– Правду следует поддерживать во всех случаях, – сказала Фани все тем же смиренно-торжественным тоном. – Я совершала маленькую экскурсию, отец, и, проезжая через Толедо, вспомнила про ваше письмо… как видите, осмелилась вас посетить.

– Мы польщены высокой честью, какой вы удостоили нас, сеньора!

– Вы меня смущаете, отец! – сказала Фани, делая вид, будто не может справиться с волнением, и тут же, рассудив, что испанские комплименты не следует принимать слишком всерьез, решила прекратить этот обмен учтивостями. – Нынче утром я осматривала собор и почувствовала… не знаю, поймете ли вы меня… почувствовала потребность ближе познакомиться с католицизмом. Я и раньше уже испытывала такую потребность, поверьте!..

Желто-зеленые глаза отца Сандовала остались ледяными при этом страстном заверении, но он быстро моргнул несколько раз, и Фани показалось, будто он взволнован. «Задела его за живое», – подумала она довольно.

– С нашей святой католической церковью можно познакомиться, только вступив в ее лоно, – сказал отец Сандовал.

– Конечно, отец!.. Эта мысль мне не чужда! – заявила Фани с жаром.

– Это довольно сложный вопрос, сеньора. Человек меняет веру либо по необходимости, либо по убеждению.

– Мною движет только убеждение, – сказала Фани и невольно подумала о святой инквизиции.

– Да напутствует вас провидение, сеньора! Если вы ищете бога, вы обретете его только в нашей святой католической церкви… Но прежде всего вы должны иметь представление о ней.

– Как раз за этим я и пришла к вам, отец!

Отец Сандовал задумался. На одно мгновенье Фани показалось, что она овладела им полностью, сыграв на страсти иезуитов обращать в свою веру, разыскивать людей, склоняющихся к католичеству. На мгновенье она вообразила, что все идет чудесно, и представила себе фарс своего крещения в Мадриде или Севилье, репортеров, снимки, сенсационные сообщения в испанских газетах, всегда откликающихся на такого рода события.

– Я думаю об отце Эредиа… – внезапно сказал отец Сандовал. – Мне кажется, отец Эредиа, которого вы знаете, мог бы познакомить вас с догматами нашей святой церкви.

Волнение Фани стало неописуемым. Она торжествовала и поздравляла себя с удавшейся хитростью. Игра была выиграна. И в этот миг источающие фосфорный свет глаза отца Сандовала вонзились ей в лицо с ужасной, ледяной неподвижностью. Фани почувствовала, как ее охватывает прежний страх перед ним, страх перед существом, которое смотрит ей в душу, читает ее мысли. Ей почудилось, что ни один оттенок безумного волнения, испытанного ею, когда он назвал Эредиа, не ускользнул от его взгляда. Он забросил удочку, и она не задумываясь схватила приманку.

– Сейчас, однако, отец Эредиа занят, – продолжал Сандовал, кинув мрачный взгляд на несчастного Оливареса который стоял совсем убитый, кляня свой грешный язык. – Он работает над вакциной против сыпного тифа и не может быть вам полезен.

– Тогда, – сказала Фани героически, следуя британскому правилу отступать в полном порядке, – тогда не могли бы меня подготовить вы? Простите, отец, может быть, я слишком дерзка?

– В ваших словах нет дерзости, сеньора, – утешил ее Сандовал, – а лишь смиренное желание познать бога. Но, к сожалению, и я очень занят. На мне лежит управление орденом во всей Толедской провинции. Я посоветовал бы вам посещать проповеди в какой-нибудь приходской церкви, читать избранные книги, сосредоточиться в себе… И когда вы почувствуете истину Христа в своем сердце, вы могли бы опять прийти к нам.

– Поверьте, я так и сделаю.

Они еще поговорили о католицизме, о божественном духе и соборах. Отец Сандовал написал на листочке список книг, которые Фани должна была прочитать. Среди них на первом месте стояли «Подражания Христу» Кемписа и «Жизнь Лойолы» отца Риваденейры. Затем Сандовал проводил ее к выходу. Когда они прощались, Фани еще раз поймала его взгляд и опять вздрогнула от блеска этих ледяных фосфоресцирующих глаз, в которых горел мрачный фанатизм средневековья.

Он напутствовал ее словами:

– Да хранит господь вашу душу, сеньора!

Пока Робинзон вел машину в Мадрид, Фани старалась выработать новый план действий. И ничего не могла придумать. Тогда она опять начала мечтать об Эредиа, опять отдалась безудержной и сладкой фантазии, побуждаемая неотступной мыслью о нем. Она желала его страстно, с тем напряжением чувств, когда человек знает, что он мог бы взять любимое существо, как срывают не тронутый ничьей рукой спелый плод! Она испытывала такое чувство, будто на свете существует только отец Эредиа и что все ее действия имеют смысл лишь постольку, поскольку они связаны с ним, что она отдала бы все за ночь, за один час, за одну минуту… И в то же время она замечала, как прежнее капризное и животное влечение к нему незаметно переходит в чистейшую нежность, в чистейший восторг. Из сладострастного желания, с каким она начала преследовать Эредиа, рождалось постепенно более сложное, более опасное и чреватое новыми муками чувство… Она начинала его любить! Она уже его любила! Это была сама любовь, не платоническая, не возвышенная до самопожертвования, готовая отказаться от него, чтобы не замутить чистоты его жизни, а именно такая любовь, какая могла возникнуть у молодой женщины, пока наслаждения еще не умертвили ее чувства, пока ее свежесть не поблекла в суете банальных светских интрижек! Как странен был этот возврат чувств давно забытой юности! Теперь Фани понимала, что она желает одинаково и тело его и душу, что она готова мучиться и страдать за него, что она способна любить, как всякая другая женщина. Но почему ощущение этой любви было таким томительным, таким острым, таким насыщенным, помимо светлой радости, и дрожью пронизывающей скорби, как погребальный звон колоколов в Севилье по какому-нибудь тореро? Когда автомобиль въехал в Мадрид, пересек площадь Колумба и покатил по роскошной Кастеляна между двумя рядами маленьких дворцов с пальмами и олеандрами в садах, Фани с тревожным чувством, естественным для женщины, вдруг подумала, а нет ли у Эредиа любовницы? К виллам Эскуриала и Сьерра-де-Гвадаррамы мчались автомобили, в них сидели смуглые женщины, красивые, как экзотические цветы. Может быть, какая-нибудь из этих женщин, из этих испанок уже была его любовницей, и Фани пришла поздно, слишком поздно! Эта мысль внезапно расстроила ее. Она стала убеждать себя, что это невозможно, что ни одна из этих набожных красавиц, которые каждое утро отправляются в своих лимузинах на литургию, не осмелилась бы любить отца Эредиа, преследовать его, предстать ради него перед Сандовалом.

Приехав домой, Фани чуть успокоилась. Ванна, кофе и несколько сигарет дали ей возможность рассуждать хладнокровно, решить после конфуза у Сандовала, что ей надо делать и от чего воздержаться. К вечеру кто-то позвонил ей по телефону. Она с досадой взяла трубку.

– Где ты пропадаешь целый день? Что делаешь? – спрашивал Лесли.

– Я была в Толедо.

– Что ты там делала?

– Осматривала древности.

– Среди них по крайней мере попадались монахи?

– В изобилии, за исключением одного.

– Не отчаивайся!.. Ты его еще найдешь. Могу я чем-нибудь тебе помочь?

– Пока нет.

Фани положила трубку.

Она провела бессонную ночь, теплую, весеннюю испанскую ночь с черно-лиловым небом, бриллиантовыми звездами, которые мерцали, будто шепча что-то о насилии и революциях, о любви и смерти, о боге, о душе, о загробной жизни – обо всем, что всегда волновало эту страну… Фани думала об отце Эредиа, и ей казалось, что он рядом с ней, что его глаза и губы жгут ее тело.

На следующий день Фани не пошла в Колехио-де-Ареналес. Посещение резиденции научило ее осторожности. С удивительным терпением она собрала через Лесли и Робинзона мелкие, но очень важные сведения. Так, например, она узнала, что Эредиа преподает в колледже гимнастику и гигиену три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу, утром с десяти до двенадцати часов, а в остальное время работает в Институте экспериментальной медицины на улице Альфонса XII. Она узнала также, что директор колледжа отец Миранда – человек большой учености, владеющий двадцатью языками, включая древнееврейский и японский. Не менее полезным было и сведение о том, что отец Эредиа по-прежнему часто выезжает на муле в глухие горные селения, собирая особо вирулентные штаммы сыпного тифа. Но сильней всего ее взволновало то обстоятельство, что Институт экспериментальной медицины и Христово воинство собираются во время летних каникул на равных денежных началах открыть в самом очаге эпидемии, возле Пенья-Ронды, больницу с персоналом, состоящим из монахов, для изучения действия новой вакцины Эредиа.

Только узнав все это и хорошенько обдумав свои действия, Фани посетила колледж Ареналес. Само посещение колледжа было организовано так хорошо, что вряд ли возбудило бы подозрение даже у супериора Толедо. Оно совпало с церемонией вручения Британским культурным представительством в Мадриде множества книг в дар библиотеке колледжа, Фани присоединила к этому подарку полные собрания сочинений нескольких английских классиков и тем самым получила моральное право вместе с Лесли присутствовать на торжестве. Отец Миранда был восхищен тем, что англичане проявили интерес к занятиям в колледже и к достижениям педагогики иезуитов, а Лесли пришла в голову счастливая мысль пригласить преподавателей к себе домой на обед. Стоит ли добавлять, что Фани тоже должна была присутствовать на этом обеде и сидеть по правую руку отца Эредиа.

– Я хочу посоветовать тебе только одно… – сказал Лесли, когда все уже было готово и они собирались ехать в колледж.

– Что?

– Чтобы ты прекратила этот роман вовремя.

– Когда наступит самый восхитительный момент, да?

– Сразу же после него.

– Почему?

– Потому что в Испании никто еще не развлекался безнаказанно.

– Ты это знаешь на личном опыте?

– Отчасти да!.. Для Испании надо иметь крепкие нервы, как у археолога Мериме.

Когда они вошли в холл колледжа, их встретил хор учеников, которые с ужасным произношением пели английский гимн, повинуясь дирижерской палочке длинного сухого отца-иезуита с плешивой головой.

Директор, отец Миранда, ждал их у лестницы с группой преподавателей – остальные, по желанию деликатных англичан, не должны были прерывать своих занятий. Фани была поражена огромной разницей между Сандовалом и директором Колехио-де-Ареналес. У отца Миранды было полное розовое лицо и голубые глаза, улыбчивые и жизнерадостные. Он говорил по-английски плохо, как почти все испанцы, – впрочем, трудно было ожидать большего от человека, который владеет еще девятнадцатью языками. Он произнес приветственную речь, которая своим пафосом могла бы растрогать даже каменные ступени и именно поэтому не растрогала никого. Лесли ответил несколькими сухими британскими любезностями и еще раз пожал руки директору и преподавателям. То же самое сделала и Фани. Затем вся группа, хозяева и гости, отправились осматривать столовые, спальни и залы для игр, довольно темные и душные. Всякий раз, выходя из очередной комнаты, Лесли и Фани произносили: «Wonderful!»36 – в то время как отец Миранда неустанно повторял:

– Все скромно!.. Очень скромно, но гигиенично! Работаем, насколько позволяют наши средства.

Они прошли через капеллу колледжа, причем отец Миранда и преподаватели внезапно рухнули на колени перед раскрашенной статуей богородицы и с полминуты провели так в полном молчании. Пришла очередь классов. Отец-химик зажег перед гостями гремучую смесь водорода с кислородом к великому удовольствию учеников. Потом пошли классы с катушками Румкорфа, Гейслеровыми трубками, анатомическими моделями и рисунками, на которых, дабы подростки не развращались, были изображены бесполые существа. Все, что могло уместиться на столах в классах, было извлечено из кабинетов, чтобы показать наглядность обучения. Они прошли в аудитории политехнического училища, где отцы-специалисты преподавали студентам дифференциальное исчисление и теоретическую физику. Все это было страшно утомительно. Фани убедилась в том, что у Лесли завидное терпение и что он, видно, действительно ее очень любит.

– А спорт, отец? – спросила она невинно, украдкой взглянув на часы. – Не могли бы мы посмотреть, как представлен спорт в ваших школах?

Была как раз середина урока в классе Эредиа.

– Спорт тоже представлен у нас, – почему-то смутившись, объяснил отец, – но умеренней, чем в других школах. У нас в парке есть маленький стадион.

– И его можно осмотреть? Вы доставите нам это удовольствие, отец Миранда?

– Я тоже хотел попросить уважаемого отца об этом, – сказал Лесли.

– Это для нас большая честь!.. – обрадовался отец, но в то же время Фани заметила, что смущение в его голубых глазах возросло.

– Может быть, сейчас там никого нет? – спросила она с тревогой.

– О нет!.. Как раз сейчас мальчики тренируются к состязанию с Саламанкским колледжем.

– Чудесно!.. Мы их увидим, не правда ли?

Группа вернулась по длинным коридорам, снова прошла через капеллу, причем все отцы опять преклонили колени перед статуей богородицы, и очутилась на заднем дворе колледжа. Смущение отца Миранды все усиливалось. Он что-то сказал одному из своих коллег на языке, которого Фани не поняла. Уже после ей пришло в голову, что, должно быть, это была латынь – она знала от отца Алехандро, что иезуиты между собой говорят на латыни. Отец, к которому обратился Миранда, поспешил обогнать группу, точно получил приказ предотвратить какую-то неловкость.

Они дошли до кипарисовой аллеи, отделявшей маленький стадион от остального парка, когда Фани поняла, сама взволновавшись еще больше, чем отец Миранда, причину его смущения: на площадке, в трусах и белых спортивных тапочках, голые до пояса, стояли Эредиа и двадцать мальчиков. Площадка была расчерчена белыми параллельными линиями, между которыми находились разного рода препятствия. Шестеро юных спортсменов, построенные в ряд, замерли, стоя на одном колене и уперев руки в землю, и ждали знака учителя, чтобы сорваться с места. Фани не знала, могла ли она увидеть более неожиданное, более волнующее и более прекрасное зрелище – не спортивную площадку, конечно, а нагое тело Эредиа. Никто из спортсменов не заметил их приближения. Секунд десять они шли молча: отцы – в замешательстве, Фани – затаив дыхание, Лесли – иронически улыбаясь. Как раз в этот момент Эредиа свистнул и мальчики помчались вперед. За несколько секунд Фани успела разглядеть его тело. Оно было такое же нежно-смуглое, с оливковым оттенком, как и лицо. У него были широкие плечи, тонкая талия, закругленные и стройные бедра. Ото всей его фигуры веяло изяществом античной статуи.

– У тебя недурной вкус! – пробормотал Лесли.

– Молчи!.. – шепнула Фани и невольно замедлила шаг, чтобы подольше смотреть на это прекрасное тело.

Бегуны достигли конца площадки и понеслись назад между белыми параллельными линиями. Эредиа смотрел на них критически и ждал с хронометром в руке, чтобы засечь время победителя. Фани подумала, что, заметив их, монах будет неприятно поражен. И только теперь с халатом в руке откуда-то прибежал отец, посланный Мирандой.

– Отец Рикардо!.. – стыдливо произнес Миранда. – Наденьте халат!

Эредио обернулся. Первое, что выразило его лицо, было удивление, вслед за тем – сдержанный гнев. Он посмотрел на отца Миранду с упреком, точно хотел сказать: «Что это значит? Зачем вы привели этих людей, не предупредив меня?» Отец Миранда замигал виновато и беспомощно, полностью сознавая, на какой позор он выставил своего коллегу. Эредиа быстро надел халат и наглухо застегнул его до самой шеи.

– Добрый день, отец!.. – сказала Фани непринужденно, точно его нагота не произвела на нее никакого впечатления. И это было бы верно, не будь он так прекрасен.

– Добрый день, миссис Хорн! – ответил Эредиа без всякого смущения.

– Продолжайте, отец!.. – весело попросила его Фани. – Я очень люблю бег на двести метров. Есть хорошие результаты?

– Один из мальчиков почти достиг каталонского рекорда.

– Поразительно!.. Какие виды спорта вы практикуете?

– Теннис, плавание и легкую атлетику.

– У нас было совсем другое представление о ваших школах.

– Мы стараемся следовать принципам современного воспитания.

– Ваши ученики изучают схоластику?

– Изучают, миссис Хорн!

– Я думаю, что и о схоластике у нас совершенно ложное представление?

– Безусловно, ложное! Схоластика – философия христианства и основа нашего мировоззрения.

Он отвечал вежливо, улыбаясь, без всякой враждебности, но Фани казалось, что в его улыбке проскальзывает снисходительная ирония, точно он хотел сказать: «Зачем ты сюда пришла? Почему не едешь со своими друзьями жариться на солнце в Сан-Себастьяне? Что тебе в нашей схоластике?» Пока они вели этот разговор, Фани как завороженная рассматривала цветущую и мужественную красоту его лица, его открытый взгляд, сильную грудь, распиравшую халат. Ей казалось, что не может быть счастья полнее, чем наслаждение потонуть в объятиях этих сильных, нежно-смуглых рук. И вместе с тем аскетические складки в углах его губ внушали ей, что нет ничего более далекого и более недоступного, чем это тело, чем этот человек. Вежливо-ироническая улыбка по-прежнему держалась на его лице, и это приводило ее в отчаяние.

Во время их беседы отец Миранда завел с Лесли серьезный разговор о воспитании, а остальные отцы слушали их с почтительным вниманием. На несколько минут – а разве не ради этих минут она сюда пришла? – Фани и Эредиа оказались в стороне.

– Боюсь, что я вам надоедаю, – сказала она о горечью. – Вы можете подумать, что я расспрашиваю вас, как мои друзья в тот вечер на постоялом дворе.

– Я далек от такого предположения, – сказал Эредиа.

– И еще одно, отец!.. – промолвила Фани умоляюще, и волнение в ее голосе прогнало ироническую улыбку с лица монаха. – Скажите, вы были уверены, что на суде… я скажу правду?

– Вполне, миссис.

– Я могла и не сказать.

– Знаю. Но я был уверен, что вы скажете.

– Почему?

– Потому что вы не похожи на своих друзей.

– Эта уверенность не пропала у вас и сейчас?

– Разумеется, – сказал он.

И в этот миг Фани поняла, что к нему ведет только один путь – только правда, только полный отказ от всяких хитростей.

– Вы будете сегодня на обеде у мистера Блеймера? – быстро спросила Фани.

– Не могу, – ответил Эредиа. – После обеда я уезжаю по делам в Пенья-Ронду. Я как раз собирался извиниться перед мистером Блеймером.

– Мне очень жаль!.. – сказала Фани глухо.

Ей показалось, что отчаяние, прозвучавшее в ее голосе, не ускользнуло от монаха.

– И мне тоже! – сказал он. – Мы поговорили бы о схоластике. Отец Сандовал говорил мне, что вы начали задумываться о переходе в лоно католической церкви.

Взгляды их встретились, и Фани опять прочитала в его глазах добродушную и снисходительную иронию.

– Я не думаю, чтобы отец Сандовал был от этого в восторге, – твердо сказала Фани.

Ироническая улыбка в глазах монаха опять потухла. Фани почувствовала, что он оценил ее честное решение разговаривать напрямик.

– Вероятно, он увидел в вашем желании скорее эксцентрический жест, чем убежденность.

– Мое желание было просто поводом попасть в резиденцию.

Он замолчал, и взгляд его стал строгим.

– Вы искренний человек, миссис Хорн, – сказал он после паузы.

– Не со всеми.

– По крайней мере с теми, с кем нужно.

– Тогда, – проговорила она затаив дыхание, с волнением и надеждой, которые открыли ему все, – тогда вы позволите мне поработать летом в Пенья-Ронде больничной сестрой?

Брови отца Эредиа дрогнули. В лицо бросилась кровь. Но то было лишь мгновенное волнение, тотчас подавленное железной волей, жестоким аскетическим сжатием губ.

– Нет, миссис Хорн, – произнес он твердо.

– Почему?

– Потому что вы принадлежите миру, а я своему ордену.

Лесли выдержал обед терпеливо. Фани без Эредиа перенесла его как пытку. Вечером она попросила своего друга пойти с ней во «Флориду». Над открытым дансингом висело неизменное черно-лиловое мадридское небо. Звезды таинственно мерцали. От Сьерра-де-Гвадаррамы веял ветерок, чуть колыхая листья пальм. Джаз заунывно играл аргентинские танго. Фани упорно и мрачно опорожняла рюмки с виски. Лесли молча наблюдал за ней. Он никогда не видел ее в таком состоянии.

– Мой тебе совет немедленно бежать из Испании, – сказал он. – Почему бы тебе не поехать в Биарриц?

Но Фани думала о Пенья-Ронде.

**IV**

В следующие дни Фани отдалась мукам безнадежной любви. Она провела почти целую неделю в непрерывном пьянстве, выкурила много сигарет с опиумом, два раза накричала на Робинзона, извела Лесли и наконец отправилась путешествовать. Но это бесцельное путешествие по Испании, предпринятое ею, чтобы забыть Эредиа, еще сильней разожгло ее любовь. Что только не заставляло ее снова и снова думать о нем! На раскаленных улицах Кордовы и Гранады она встречала монахов с андалусскими лицами, похожими на его лицо. От Понтеведры до Валенсии, от Сан-Себастьяна до Кадиса она видела одни монастыри, соборы да раскрашенные статуи Христа, богородицы и бесчисленных святых – скорбных идолов с кровавыми ранами на теле, слезами из прозрачной смолы в глазах, в одеждах, убранных золотом, бриллиантами и рубинами. В течение веков поколения художников воплощали в архитектуре, живописи и скульптуре символы извращенного католицизмом христианства, которое должно было отвратить взгляд человека от зла, несправедливостей и насилия на земле. Но» в этих символах, в этой фанатической устремленности к неизвестному и к иллюзии сверхчувственного не сквозят ли энтузиазм и неувядаемая энергия народа, когда-то искавшего правду в боге и в бессмертии души, а теперь – в логике кровавых революций? Ослепленные единицы, что в толпе фарисеев все еще искренне поклоняются этим символам, и ниспровергатели, что хотят их истребить, – может быть, они, в сущности, одинаковы? Может быть, и те и другие равно движимы стремлением к правде, которое иностранцы либо принимают с насмешкой, либо» превращают в дешевую романтику, потому что не могут понять? Но Фани уже начинала смутно понимать это стремление. В Испании церковь еще продолжала пугать народ загробным отмщением бога и ходатайствовать перед всевышним о прощении людских грехов – разумеется, не безвозмездно. Здесь еще были тысячи лицемеров в рясе, которые давно продали Христа.

Но разве отец Эредиа такой? Разве Фани не угадывала в нем стремления к чистой, нравственной стороне христианства, рaзвe она не чувствовала истинную природу и пламенную красоту его испанской души? Что из того, что он, наверное, слепо верит в догматы религии, в бессмертие души, что, может, он, как иезуиты в Ареналесе, падает на колени перед каждой деревянной статуей богородицы?

Сама Фани никогда не могла поверить в существование бога, в некое неземное существо, стоящее за силами природы, за наслаждениями и жизненными благами. Она вообще никогда не ощущала потребности в подобной вере. По своей натуре, по воспитанию и житейскому опыту она была атеисткой, как ее прадеды, которые, завладевая миром, ничуть не стеснялись бога. Вера и монашество Эредиа казались ей такой нелепостью! Они были чистым безумием. Но сквозь это безумие не проглядывало ли нравственное совершенство его личности, превосходящей всех окружающих – Фани знала только свой, осужденный на гибель мир, – как Дон-Кихот в безумии своем превосходил нормальных людей, среди которых он жил? Мрачный и фанатичный огонь в его глазах, когда он отказался взять се в Пенья-Ронду, не был ли отблеском этого совершенства? О, конечно, ее грубая откровенность, ее нахальное преследование должны казаться ему невыносимыми! Конечно, он ни за что на свете не пожелает увидеться с ней еще раз. Вероятно, одна мысль о признании, которое она ему сделала, признании развратной светской женщины, привыкшей выбирать любовников как перчатки, наполняла его отвращением. Но чем больше убеждала она себя в том, что он думает именно так, тем сильней она его любила, тем упорней и мучительней становилось ее желание обладать им, желание, которое ослепляло ее и почти доводило до истерии.

В таком состоянии она скиталась из города в город, проезжала апельсиновые и оливковые рощи Андалусии, осматривала музеи, дворцы и соборы. Под тропическим блеском солнца конфликты между людьми выглядели еще непримиримее, богатство – еще безнравственнее, бедность – еще печальнее. В Малаге она видела, как несколько юношей-роялистов стреляли из элегантной машины и убили местного лидера коммунистической партии. Власти арестовали их, но на другой день толпа ворвалась в тюрьму и убила юношей дубинками. В Кадисе публика освистала молодого, неопытного тореро за то, что он вел себя слишком осторожно. «Подлец!.. Скотина!.. Трус!.. За что мы деньги платили?» – возмущенно орала толпа. Оскорбленный тореро бросился вперед, и бычьи рога вонзились ему в живот. Он сделал это за двести песет, которые ему обещал импресарио. Как можно рисковать жизнью за двести песет? Потрясенная Фани видела кровавые следы на песке. Но представление продолжалось. Вышел другой тореро, разодетый в золото и шелк, который убил быка с первого удара, и публика неистово завопила: «Ай да храбрец!.. Браво, мальчик!.. Браво, сын Севильи!..» Ибо счастливчик был родом из Севильи, а Севилья – колыбель тореадоров. Так Фани путешествовала по этой стране огненных страстей, яркого солнца и лазурного неба, стараясь еще полнее почувствовать сладостные и мучительные спазмы своей страсти, лучше понять суровую логику жизни, которой она еще не знала.

Однажды вечером в Альхесирасе у нее подскочила температура до сорока. Пришел врач – сухонький молодой человек с моноклем и в перчатках, пытавшийся объясняться по-французски, чем вконец измучил Фани.

– Москитная лихорадка, – сказал он, внимательно осмотрев ее глаза и не проявляя интереса к другим симптомам.

– Это опасно?

– Через три дня пройдет.

На четвертый день температура действительно упала, и Фани поправилась. Она предложила врачу положенный гонорар, но тот отказался его принять.

– Я дал обет богородице лечить в течение года бесплатно, – объяснил он просто.

В тот же день Фани отправилась на один из курортов в горах Сьерра-Невады.

Это местечко, носившее название Мантена, находилось в двадцати километрах от Гранады, но Фани не нашла в нем ничего привлекательного. Она решила доехать до отеля, расположенного еще выше в горах. По сведениям туристического бюро, в нем было сто номеров, полный комфорт, а также проводники и мулы, если сеньора пожелала бы подняться на Муласен или Пикачо-де-Велета – самые высокие вершины Пениберской цепи.

Автомобиль пополз по асфальтовому шоссе к отелю. Завороженная пейзажем, Фани велела Робинзону ехать медленнее. Окрестности становились все бесплодней, все пустынней и величественней. Под вечно синим небом, под ослепительным блеском солнца перед ее взором открывалась панорама, точно сохранившаяся с первых дней бытия. Как будто чья-то гигантская рука высекла яростными ударами эти мертвые долины с пересохшими реками и голые массивы, на которых не было никакой растительности, кроме редких серо-зеленых кактусов причудливой формы да маленьких островков жидкого кустарника и уже спаленной солнцем травы. Живые серовато-синие отблески играли на слюдяных сланцах, и они напоминали сверкающие бриллианты, рассыпанные среди других, зеленоватых или бурых камней. Ни пение птиц, ни свежая зелень или рокот ручья – ничто не оживляло эти огромные пустынные горы, это вечное молчание. Только приглушенный шум автомобилей, спускавшихся из отеля к Маитене и Гранаде, нарушал мертвую тишину. Сухой и раскаленный воздух дрожал от тяжелого зноя, от какой-то огненной и пронзительной муки, которая заставила Фани снова думать об Эредиа.

Почему он не позволил ей помогать ему в Пенья-Ронде? Неужели она настолько испорчена, недостойна? Разве у нее не хватило бы сил держать себя в руках, ничем – ни поступком, ни намеком на свои чувства – не оскорбляя его монашества? Наверное, он видел эти места, ведь его семья жила в Гранаде. Как он похож на этот пейзаж, такой суровый, такой ослепительно красивый и бесплодный! До чего странно это сходство между характером человека и природы в Испании! О, как все вокруг нее связывалось с его образом, который стоял перед ней днем и ночью, который притягивал ее как жестокий и сладкий магнит!..

Неожиданное зрелище оторвало Фани от ее мыслей. Автомобиль обогнал женщину, которая шла пешком, ведя на поводья осла, запряженного в маленькую тележку. Животное едва плелось и с трудом тащило свой груз вверх по крутому шоссе. Женщина шагала рядом с ослом, не меньше, чем он, утомленная адской жарой, и время от времени погоняла его, дергая поводья. Фани приняла бы ее за испанскую крестьянку, не будь ее лицо и одежда столь странными для этих мест. Незнакомка была поразительно худа и суха, с седой головой. Она была одета в светлую блузку и старомодную узкую и длинную юбку с нелепыми фестонами по швам. На босых ногах деревянные сандалии, закрепленные ремнями на щиколотках. Голову покрывала широкополая соломенная шляпа, вполне естественная для такого климата, не будь она реликвией давно прошедшей моды на шляпы с искусственными цветами. Под шляпой Фани увидела лицо – сморщенное, почти шоколадное от загара. Прозрачные голубые глаза оживляли это странное лицо.

Робинзон повернул голову к Фани и посмотрел на нее вопросительно, точно хотел сказать: «Видели?… Бьюсь об заклад, что она англичанка!..» Фани знаком велела ему остановиться. Тележка и ослик со своей хозяйкой поравнялись с автомобилем.

– Are you English?37 – спросила Фани.

– Yes!.. Yes!..38 – Незнакомка подложила два камня под колеса своей тележки и радостно приблизилась к Фани: – Я мисс Смитерс!..

– Очень приятно!.. – сказала Фани. – Вы живете в отеле?

– Зиму я провожу в Маитене, а летом живу в пещере.

Она показала рукой ближние скалы на склоне, по которому вилось шоссе.

– Это, должно быть, очень полезно для здоровья! – сказала Фани, сочувственно всматриваясь в голубые глаза мисс Смитерс. В прозрачности этих глаз сквозила смесь тихого безумия и добродушия.

– Поверьте, это прекрасно!

– И давно вы живете здесь?

– Очень давно. Летом я спускаюсь в Маитену только за провизией.

И она нежно потрепала ослика по холке.

– Восхитительно! – сказала Фани.

– Хотите, я угощу вас молоком? – радушно предложила мисс Смитерс – В пещере я держу козу.

– Спасибо!.. Я пила апельсиновый сок в Маитене. Пожалуйста, не беспокойтесь!

Но мисс Смитерс налила в глиняную миску молоко из жестяного бидона, который везла в тележке, и поднесла миску сначала Фани, а потом Робинзону. Молоко оказалось холодным и освежающим, потому что у бидона были двойные стенки. Фани выпила его с удовольствием. Безумная с нежностью вглядывалась в ее лицо.

– Хотите посмотреть мою пещеру? – вдруг спросила мисс Смитерс.

– Мне очень жаль, но я не располагаю временем.

– Тогда позвольте мне подарить вам Библию!.. О, не смейтесь!

– Нет, я не смеюсь.

– Мне кажется, все мои соотечественники склонны смеяться, видя меня. Но я нахожу, что Библия – самая совершенная книга. А за ней идут книги Унамуно.39 Вы читали Унамуно?

– Нет, – сказала Фани.

– Тогда прочитайте его эссе о монастыре Сигуэнца.

– Непременно, – пообещала Фани.

Мисс Смитерс достала из тележки книгу и вручила ее Фани.

– Вечером, когда все затихает, я пою псалмы… просто так… понимаете, как тот старый и неученый монах в Сигуэнце, который чувствовал бога одним сердцем, без вмешательства разума.

– Завидую вам!.. Спасибо за книгу!

– Я так счастлива, когда дарю кому-нибудь Библию. Разумеется, я не делаю такого подарка первому встречному.

– Я очень тронута!

Фани вытерла пот со лба. Когда автомобиль остановился, исчезла прохлада от движения воздуха. Мисс Смитерс заметила это.

– До свиданья, милая!.. Продолжайте свой путь. Вы не привыкли к здешнему климату.

И она протянула Фани руку.

Женщины расстались. Одна, молодая и цветущая, ехала в собственном автомобиле в роскошный отель, другая, старая и сморщенная, как обезьяна, возвращалась со своим осликом в первобытную пещеру. Одна сгорала в пароксизме неутоленных желаний, другая, угасшая, шла петь псалмы. Которая из них была разумней? Или они обе были одинаково невменяемы, одинаково оглуплены тем миром, к которому принадлежали? Но Фани не подумала об этом. Она опять засмотрелась на дикий, ослепительно яркий пейзаж, который поглощал ее целиком.

В отеле Фани приняла ванну и легла спать. Проснувшись, она вышла на террасу перекусить. Солнце клонилось к западу, и с гор потянуло легким живительным ветерком. На юге, докуда хватал глаз, простиралась плодородная равнина Андалусии – необъятный ковер желтеющих полей, испещренный темно-зелеными пятнами апельсиновых и оливковых рощ. На севере, в направлении Кастилии, вырисовывалась мрачная синева Сьерра-Морены и Эстремадурских гор.

К террасе в автомобилях и на мулах подъезжали туристы, возвращавшиеся с Пикачо-де-Велета и Муласена, по большей части англичане и немцы. Они несли альпенштоки и веревки для лазанья по скалам. Одни спускались к Маитене, другие спешили войти в отель и сбросить с ног тяжелые подкованные башмаки. Фани казалось, что они поднимают бессмысленный шум, который оскорбляет молчание гор. На нижней террасе какая-то немецкая труппа, которая разъезжала по свету, покрывая расходы сборами с любительских спектаклей, запела тирольские вальсы под аккомпанемент аккордеонов. Наконец артисты исчерпали свой репертуар и пошли собирать деньги, но их тотчас сменило севильское cante flamenco. Все это заставило Фани подумать, что мисс Смитерс не так уж безумна, как ей показалось.

Солнце опускалось, приближаясь к красноватой дымке, затянувшей горизонт, за которым скрывалась Португалия. Вечные снега Сьерра-Невады приобрели розовый оттенок, а из долины медленно поползли вверх лиловые тени. Стало холодно. Фани отправилась к себе в номер надеть шерстяной свитер. Когда она вернулась, терраса уже начала заполняться сытой и праздной толпой иностранцев, которые были равнодушны ко всему, что волновало мир, и не думали о том, кто с кем будет воевать и должна ли Испания быть республикой, монархией или корпоративным государством. Кельнер в огненно-красном смокинге поставил перед Фани сдобные булочки, молоко и кофе. Она поела, потом закурила сигарету и опять ушла в созерцание пейзажа. Солнце, окутанное красным туманом, коснулось горизонта. Сьерра-Морена помрачнела и потемнела. Андалусская равнина медленно натягивала на себя вуаль вечерних теней, становясь похожей на море бледно-лиловых испарений, сквозь которые все еще виднелось дно с темно-зелеными пятнами апельсиновых рощ. Скоро солнце скрылось за горизонтом, и только зубцы Сьерра-Невады, покрытые вечным снегом, продолжали светиться как маяки в вечерних сумерках.

Фани невольно представила себе необъятную тишину, которая в этот момент, наверное, царит вокруг пещеры мисс Смитерс. Представила себе и саму мисс Смитерс с ее козой, глиняной миской молока и Библией, представила себе спокойствие ее духа, отрешенного от всяческих страстей, и псалмы, которые она, вероятно, уже пела. Да, этот образ жизни, бесспорно, ненормальный, но все же более разумный, чем жизнь множества одуревших от богатства старух, которые в пять часов собираются за чайным столом сплетничать, играют в рулетку или с идиотским видом танцуют в дансингах с платными молодыми партнерами. Да, наверное, есть целительная сила, какое-то странное счастье в этом безумии! Когда Фани состарится, она приедет в Сьерра-Неваду, сюда, в эти места, в эту самую пещеру, чтобы слиться с природой, чтобы изведать счастье покоя, которое сквозит в прозрачности безумных голубых глаз мисс Смитерс.

Внезапно Фани содрогнулась. Боже, неужели она завидует мисс Смитерс!.. Может быть, эта женщина, так же как и Фани, когда-то разъезжала по свету, растрачивала свои чувства, флиртуя на модных курортах, притупляла свою нравственную волю в пустых прихотях п жалких удовольствиях, чтобы, наконец, устав от всего, дойти до пещеры, до глиняной миски с козьим молоком и пения псалмов. Может быть, и Фани уже испытывает такую же усталость? Может быть, ей хочется в этот момент разделить покой ее безумия, жить в пещере, петь псалмы?

Ах, разве она устала? Но от чего? Может быть, оттого, что ничего не делала, что никому ничего не дала? У нее не было в жизни никакой возвышенной цели, ей были чужды страдания или подвиг, которые к этой цели ведут. Ведь она каждой своей клеткой, каждым помышлением стремилась к Эредиа, и ее чувство к нему можно было назвать возвышенным, но что она сделала для того, чтобы завоевать его сердце? Ничего, решительно ничего!.. Она хотела схватить это сердце, как бесцеремонные руки лакомки срывают с дерева спелый плод. Она хотела проглотить его, насытиться им, не думая ни о чем, кроме собственного удовольствия. Преследуя Эредиа, она ни разу не задалась мыслью, какой отклик найдет ее любовь в его сердце, потому что привыкла думать только о себе. Она воображала, что достаточно поехать в Пенья-Ронду и протянуть руку, чтобы завладеть им, и предварительно с циничной откровенностью призналась ему в своей любви, словно затем, чтобы не ездить туда зря. Вероятно, он расценил ее признание именно так, и, в сущности, так все и произошло, хотя в тот момент Фани была не в состоянии ни понять, ни предотвратить это. Ах, вот почему монах преисполнился отвращения к ней, вот почему он отказался пустить ее в Пенья-Ронду! Но если Фани…

Новая идея ослепительно блеснула в ее сознании. Сначала она была неясной, расплывчатой, приглушенной радостным возбуждением, потом мысль заработала и обрисовала все подробности, потом она претворилась в твердое решение. Когда Фани наконец спохватилась, что ей пора идти к себе в номер, кельнер в огненно-красном смокинге собирал со столов последние бокалы. Отель спал. Над Сьерра-Невадой стояла полная луна, заливая таинственным светом огромные безводные долины и гигантские скалы, а вечные снега Муласена и Пикачо-де-Велета струили зеленоватое фосфоресцирующее сияние.

На следующее утро Фани поехала в Мадрид.

Она приехала поездом уже под вечер, разбитая физически, но бодрая духом, с ясной головой, успокоенная своим твердым решением. В первый раз за столько недель она хорошо спала. Наутро она отправилась к Лесли, но тот уехал в Аранхуэс. Фани оставила ему записку с просьбой сразу по приезде позвонить ей по телефону. Потом она накупила во французской книжной лавке медицинских журналов и книг. Когда она возвращалась на такси в Паласио-де-Ривас, на улице Алькада произошло убийство. Какой-то тучный офицер в очках схватился за живот и рухнул на тротуар. Изо рта у него потекла кровь.

Лесли вернулся из Аранхуэса после обеда и тотчас явился к Фани в прекрасном настроении, гордый собой и вместе с тем встревоженный. Его последний доклад шефу о деятельности монархистов и фаланги полностью подтверждался развитием событий. Это было приятно. Тревогу же вызывало то обстоятельство, что за приготовлениями фаланги и за убийствами офицеров – эти убийства были самым верным предвестием переворотов в Испании – все четче проступали свастика и ликторские топорики.40

Фани налила ему виски. Ее зеленые кошачьи глаза ласково светились. Лесли почувствовал, что сейчас она заставит его делать новые глупости, но, черт побери, эта женщина неотразима!.. Любит ли он ее? Он задал себе этот вопрос неожиданно, но тут же ответил себе убежденным «нет». Твердые и независимые женщины его раздражали. Их интеллект всегда устремлялся к чему-нибудь абсурдному. Он восхищался Фани только потому, что в ней горели британская одержимость, авантюризм и пламенная смелость леди Стенхоуп. Выслушав ее впечатления от Андалусии и Сьерра-Невады, Лесли понял, что теперь только дьявол может вырвать ее из Испании. Она говорила быстро, отрывисто. Образы, созданные ее фантазией, возникали бурно, сливаясь с твердой как алмаз красотой ее лица в рамке пепельно-белокурых волос. Но Лесли хранил свое обычное спокойствие флегматика. Замечание Фани о сходстве между человеком и природой в Испании не тронуло его ничуть. Напротив, он заявил холодно:

– Советую тебе больше не разъезжать по Испании.

– Почему? – спросила она разочарованно. Его неспособность испытывать какое-либо волнение раздражала ее всегда. Таким она знала его и в детстве.

– Потому что каждый день может вспыхнуть гражданская война. Сегодня утром убили Эсихо.

– Кто такой Эсихо?

– Республиканский генерал.

– Какое мне дело до Эсихо! – выкрикнула она страстно. – Я еду в Пенья-Ронду.

– Насколько я знаю, тебе дали от ворот поворот.

– Да, но я открою свою больницу!.. Кто может мне это запретить?

Лесли посмотрел на нее все так же бесстрастно, но теперь он уже с трудом сохранял спокойствие. Нет, это просто безумие!.. Но вместе с тем никогда до сих пор Фани не казалась ему такой восхитительной. Ее лицо пылало решимостью.

– Я умываю руки, – заявил он.

– Сначала ты поможешь мне получить разрешение правительства.

– Ни в коем случае.

– Значит, мне придется искать другие пути.

– Делай как знаешь.

– Я обращусь к дону Алехандро.

– Полиция давно его арестовала.

– Тогда я пойду к коммунистам.

– Они не расположены к светским дамам.

Фани сердито опорожнила свою рюмку и закурила сигарету.

– Что выйдет изо всего этого? – спросил Лесли. – Испанская новелла о любви и смерти?

– Не знаю… Может быть!.. – промолвила она устало.

– Запоздалая романтика!

– Называй как хочешь.

Она выпустила дым, презрительно скривив губы, потом мрачно посмотрела на него в упор.

– Знаю, я тебе надоела… Больше я не буду тебя беспокоить.

– Это ультиматум?

– Да, Лесли!

– Чего именно ты хочешь?

– Прежде всего я поговорю с Мюрье.

– Зачем тебе Мюрье?

– Я думаю поручить ему устройство больницы.

Бесцветное лицо Лесли тронула довольная улыбка.

– Мюрье!.. Тебе трудно будет его найти. Мюрье и Клара закатились в Португалию.

Фани вздрогнула – это была неприятная неожиданность. Она вспомнила, что их флирт начался у нее на глазах. Клара, эта гусыня, отняла у нее Мюрье как раз тогда, когда он ей так нужен!

– Ты знаешь их адрес? – спросила она быстро.

– Откуда я могу его знать!

Фани сосредоточенно посмотрела прямо перед собой. Ее тонкие губы чуть заметно зашевелились, концы бровей нервно приподнялись. И наконец она улыбнулась, хоть это и была улыбка не совсем уверенного торжества.

– Хочешь, пойдем куда-нибудь? – спросил Лесли.

– Нет, – сказала она.

Лесли выпил еще виски и поднялся. Он решил, что убеждать ее в чем-либо не имеет никакого смысла.

Сразу после его ухода Фани послала Робинзона узнать названия лучших отелей в Эсториле, Порто и Лиссабоне.

Робинзон смертельно устал после длинного переезда на машине от Гранады до Мадрида, но поручение выполнил добросовестно. Когда около одиннадцати часов он возвращался в Паласио-де-Ривас, в нем впервые в жизни шевельнулось недовольство службой у миссис Фани. Эта служба начинала его тяготить. Правда, она была связана с длинными промежутками сытого безделья, что давало ему возможность изучать проблемы социализма, но зато, когда госпожа запрягала его в работу, ее своеволие не имело пределов. По зрелом размышлении, однако, Робинзон заключил, что ему трудно отказаться от этой службы и от высокого жалованья. Так он столкнулся с той мудрой истиной, что, если английский социалист хочет сохранить свой высокий жизненный уровень, он должен служить консерваторам. Впрочем, это была крайняя точка, до которой он дошел в своем анализе, и он не усмотрел в ней никакого нравственного трагизма. Тот неукротимый пыл, с каким испанские рабочие поднимали революцию, умирали на баррикадах или упрямо голодали во время стачек, вместо того чтобы столковаться со своими господами, казался ему верхом глупости.

Подавая своей госпоже листок с названиями отелей, Робинзон ощутил воздействие еще одной силы, которая тоже мешала ему оставить службу. Миссис Фани всегда вселяла в него неопределенное чувство страха, почтения и восхищения, и, подчиняясь ей, он испытывал какое-то особое удовольствие, что было далеким отзвуком страха, почтения и восхищения, а также удовольствия, с какими десятки Робинзонов прошлых поколений подчинялись десяткам Хорнов. Но социалистическая неприязнь Робинзона к господам пробудилась в нем снова, когда через полчаса, как раз в тот момент, когда он блаженно засыпал, испанская служанка Фани опять подняла его с постели и передала приказание немедленно отнести на почту десять телеграмм. Он выполнил и это приказание с горьким внутренним протестом. Телеграммы, как правило, предвещали новые скитания, новые переезды по четыреста километров в день. Со злости он их прочитал, хотя до сих пор никогда не позволял себе подобной дерзости. Их содержание – одно и то же, изложенное на французском языке, – глубоко его возмутило. Все они были адресованы мистеру Мюрье в португальские отели, названия которых он узнал в этот вечер. В телеграммах Фани сообщала своему другу, что тяжело больна. Gravement malade!41 Да, gravement malade, когда, в сущности, она брызжет здоровьем и сегодня ужинала в «Рице»… На такое безобразие способны только высшие классы! Впрочем, и Робинзон однажды солгал, что его тетка тяжело больна, чтобы получить отпуск.

Он успокоился снова, когда вернулся домой и госпожа оставила ему сдачу с банкнота, выданного на телеграммы.

Из залпа телеграмм, посланного Фани в Португалию, три попали в цель. Одна застала Мюрье в «Grande Hotel de Porta» в Порто, а другие ему переслали из Лиссабона и Эсторила, где он провел по нескольку дней с Кларой.

– Ты поедешь? – спросила американка, покраснев от злости.

– Разумеется, – ответил Мюрье.

И роман их кончился.

Когда на другой день Мюрье явился в Паласио-де-Ривас и застал Фани сидящей как ни в чем не бывало за завтраком, он вдруг постиг все бессердечие, на какое способны британцы. Но он не вспылил. Имело ли смысл изобличить ее и тотчас уйти? Это было бы все равно что оскорбить самого себя, выругать свою собственную глупость. И потому он ничего не сказал, а только велел служанке приготовить омлет и ему.

После завтрака Фани долго говорила. Она объяснила ему все. Она просила понять ее. Что понять? Что она вправе третировать своих друзей, как прислугу? Мюрье задал этот вопрос суровым тоном и, увидев, как глаза ее сузились и холодно сверкнули, понял, что задавать его не следовало.

– Тогда мне от тебя ничего не надо, – сказала она спокойно.

Под пепельно-русыми ресницами горело изумрудное пламя ее глаз, пламя, которое опаляло Мюрье.

– Ты знаешь, что такое Пенья-Ронда? – спросил он мрачно.

– Очаг сыпного тифа.

– А ты имеешь представление о сыпном тифе?

– Высокая температура, красные пятна на животе!.. Переносится клопами.

– Да! Высокая температура у тебя сейчас!

Мюрье с отчаянием посмотрел на медицинские книги, наваленные на старинном бюро, потом пристально вгляделся в нее. Такой она была всегда! Взбалмошная и легкомысленная, способная рисковать даже жизнью, если это необходимо для ее удовольствий. Зеленые глаза, пепельно-белокурые волосы, улыбка на лице, принявшем медно-красный оттенок под солнцем Сьерра-Невады, снова оживили в нем угрюмое пламя его любви. Разве он не последовал бы за ней даже в ад? Но вопреки этому он заговорил опять:

– Ты совсем одурела!.. Я видел эту болезнь в Сицилии. Да знаешь ли ты, что такое эпидемия сыпного тифа среди голодного и потонувшего в невежестве населения? груды трупов, груды грязных гниющих тел в палатках! Каждый день смерть, и только смерть, которая тянет к тебе руки! Можешь ли ты вынести все это?… Даже я не могу!

– Тогда рекомендуй мне, пожалуйста, какого-нибудь испанского врача, – сказала она сухо.

– Что? Испанского врача? – вскипел он. – Ты найдешь их тысячи, потому что они голодают, потому что у них нет работы. Но никто из них тебя не поймет. Они бросят тебя подыхать там в разгар эпидемии!

– Ну и что из того? – спросила она.

– Ничего, разумеется, – ответил Мюрье, беззвучно смеясь.

Она подсела к нему. Ее рука стала медленно гладить его волосы.

– Ты поедешь со мной? – спросила она после паузы.

– Как?… – очнулся он. – Разумеется!.. Я собирался искать службу в колониях. У меня в кармане всего сто песет.

– Только из-за этого?

– Конечно.

– Я не подозревала, что ты настолько обнищал.

– Французы легко нищают.

Фани горько задумалась. Она давно заметила, как его внешность стала терять свою скромную, но эффектную парижскую элегантность. В этом галстуке, в этом потрепанном костюме она видела его столько раз! Но тут же она осознала, что под этой причиной скрывается другая, более глубокая и более трагическая. Она вызвала Мюрье, чтобы оскорбить его своей любовью к Эредиа. Но не она ли отняла у него и возможность обеспечить свое будущее? Только теперь ей пришло в голову, что, скитаясь с ней, Мюрье нигде не работал и что сбережения французского врача нельзя мерить той же меркой, что и английское состояние.

– Что стало с Кларой? – спросила она внезапно.

– Мы расстались с ней прежде, чем я получил твою телеграмму.

Он солгал. И Фани почувствовала боль оттого, что он солгал. Он отказался от долларов ради Фани? Чтобы Узнать, что она решила преследовать Эредиа?

– Жак!.. – прошептала она глухо.

Она подвинулась к нему еще ближе и обвила руками его шею. Мюрье позволил себя поцеловать, а потом осторожно отстранился с беззвучным смехом. И Фани показалось, что она не слышала ничего горше этого смеха.

Они провели целый день, склонившись над каталогами медицинского оборудования, лекарств, палаток и больничных коек. Мюрье был ошеломлен суммой, в которую все это должно было обойтись. Но Фанни улыбалась беспечно. Вечером она послала в Лондон телеграмму с требованием денежного перевода.

Весь июнь Фани провела в лихорадочных приготовлениях. Пока Лесли хлопотал о разрешении, причем так, чтобы о том не проведали отцы Сандовал и Эредиа, Мюрье был занят устройством больницы, а Фани усердно штудировала руководства для больничных сестер. Она продала свою дорогую машину и на вырученные деньги купила четыре грузовика, которые должны были везти в Пенья-Ронду оборудование, и специальную санитарную машину для перевозки больных. Фани хотела, чтобы больница была снабжена всем необходимым и, если понадобится, могла бы перемещаться вместе с больницей иезуитов. Робинзон после тяжелой внутренней борьбы в надежде, что безумие его госпожи скоро пройдет, согласился на невеселую должность шофера санитарной машины. Впрочем, благодаря своим колебаниям он получил увеличение жалованья. Четверо безработных шоферов тотчас согласились водить грузовики и выполнять любую другую работу – какую прикажут. Две испанские девушки из Чамбери, которых Мюрье подобрал в санитарки, попросили такое ничтожное вознаграждение, что Фани тотчас его удвоила. Были наняты также повар, мальчик-судомойка и прачка. Только сейчас, среди этих хлопот Фани воочию увидела страшную нищету Испании. У бюро по найму шоферов и квалифицированных рабочих ждали мужчины в потрепанной одежде, с мрачным взглядом. Мадридские девушки с прекрасными матовыми лицами и печальными глазами толпились в коридорах агентств по найму прислуги. Фани со стыдом увидела, что эти люди, которым республика, несмотря на все усилия, не могла дать работы, потому что Испанию в течение веков разоряли безумные короли, за весь день съедали только ломоть хлеба да горсть вареных бобов, которые им выдавали профессиональные союзы. У них не было даже нескольких жалких сантимов на дешевые бананы. И все это происходило под лазурным небом в городе с асфальтированными улицами, с изящными дворцами родовитых семей, с садами в мавританском стиле и дансингами среди цветов и пальм, листья которых слегка трепетали под вечерним ветерком со Сьерра-Гвадаррамы. К страсти Фани или к ее безрассудному увлечению Эредиа прибавились новые впечатления и новые волнения, до сих пор ей незнакомые, рожденные видом нищеты и хронического голода, немых страданий бедности.

Все было организовано так, чтобы Фани как благотворительница по возможности оставалась в тени. Ее имя скромно стояло между именами двух других сестер – Кармен и Долорес. Первая была молчаливой и набожной, вторая казалась немного строптивой, но обе производили впечатление честных и работящих. На все, что им говорила Фани, они, сосредоточенно приподымая брови, отвечали «si, sefiora» или «no, sefiora». Мюрье превратился в полновластного заведующего больницей. Хотя Фани ничего не понимала в его работе, ей было ясно, что у него превосходные для этого данные. Под его наблюдением машины нагружались палатками, походными койками, аппаратурой и медикаментами. Он заранее предвидел мельчайшие нужды и ни одного сантима не тратил зря. Чтобы закалить нервы Фани, он несколько раз водил ее в хирургическое отделение больницы «Священное сердце Иисуса». Там она присутствовала при операциях и видела, как зашивали тело ребенка, раздавленного поездом метро. Однажды утром они всей больницей выехали в поле и провели генеральную репетицию – развернули и поставили палатки. Все прошло удачно.

И наконец наступил час, когда они должны были двинуться в Пенья-Ронду, час, который навсегда остался в памяти Фани связанным со жгучим волнением, со смутным предчувствием ужаса. Они выехали из Мадрида на рассвете, никого не предупредив, чтобы избежать официальных проводов и торжественных речей. Было свежо, в садах Ретиро пели соловьи, поднявшиеся спозаранку служки отпирали двери церквей, мальчишки расклеивали на киосках и деревянных заборах афиши, возвещавшие о бое быков, о митингах или о новой оперетте. Внезапно Фани ощутила тоску по беззаботной, приятной жизни, которую она покидала, по эту тоску сразу вытеснило радостное предчувствие встречи с Эредиа.

Через час они уже ехали по песчаной Месете42 среди кактусов, черных скал и голых холмов, одиноко торчавших на спаленной солнцем равнине. Невозможно было представить себе ничего печальнее, однообразнее и пронзительнее этого пустынного пейзажа под таким синим небом и ярким солнцем. Время от времени автомобильная колонна проезжала мимо кирпичных поселков такого же бурого цвета, как и вся окрестность. Полуголые ребятишки ватагами бежали за грузовиками, что-то крича и махая руками. Когда они где-нибудь останавливались, эти ребятишки окружали Фани и Мюрье – они просили милостыню во имя всех святых. К обеду жара стала невыносимой. Раскаленный воздух дрожал, а контраст между бурыми песками и синим небом был таким ослепительным, что вызывал резь в глазах.

Одна уединенная постройка привлекла их внимание. Они остановили колонну. Мюрье вышел из санитарной машины, привлеченный прибитым на двери пожелтевшим листом бумаги со знаком красного креста. Фани пошла за ним. На бумаге крупными зловещими буквами было написано:

**TIFO EXANTEMATICО43**

Мюрье нажал на ручку. Дверь отворилась. Полутемный вход в виде туннеля вел во внутренний двор, выложенный каменными плитами. Фани и Мюрье сделали несколько шагов, но вдруг остановились. Навстречу им, вероятно привлеченная шумом грузовиков и стуком двери, шла женщина, закутанная в шаль. Она шла медленно, как привидение, и на ее высохшем, сморщенном, землистом лице горели блуждающие лихорадочные глаза.

Фани в ужасе попятилась, а Мюрье улыбнулся.

**V**

Подъезжая к Пенья-Ронде, они издалека заметили больницу отца Эредиа, находившуюся в нескольких километрах от городка. Больница была гораздо больше вновь прибывшей, но ее палатки, ветхие и изодранные, производили жалкое впечатление. Фани и Мюрье приглядели маленькую полянку в двухстах метрах от лагеря иезуитов и решили расположиться там сами, без всяких предварительных объяснений. Красный крест на машинах немедленно привлек любопытство двух субъектов в рясах. Один из них был высокий, голубоглазый, с рыжеватой шевелюрой, а другой – желтый, хилый, темнолицый, похожий на мышь. Монахи не замедлили осведомиться у пришельцев, кто они такие и откуда едут. Мюрье сухо объяснил, что они приехали с разрешения Мадрида. Монахи ретировались, но высокий тотчас вскочил на велосипед и поехал в городок. Через полчаса прибыл на мотоцикле сержант гражданской гвардии и, сердито хмурясь, проверил у всех документы. Очевидно, он был недоволен тем, что пришлось трястись по жаре, и, закончив проверку, бросил враждебный взгляд на лагерь иезуитов.

– Вас вызвали монахи? – спросила Фани, предложив ему рюмку анисовой водки.

– Да, сеньора!.. Они интересовались, имеете ли вы право оставаться здесь, и чуть ли не обвинили вас в том, что вы приехали сюда заниматься шпионажем. Но документы у вас в полном порядке.

– Как видно, наш приезд пришелся им не по вкусу.

– Да, как видно!.. – Презрительная усмешка сержанта выдала его ненависть к иезуитам. – Они с давних пор решили, что только они имеют право радеть о ближнем.

Он выпил еще рюмку анисовой, поблагодарил и оседлал свой мотоцикл. Когда он отъехал, оба монаха опять подобрались к Фани и Мюрье – очевидно, им было поручено произвести разведку, потому что они взялись считать койки и палатки и расспрашивать о том о сем испанцев. Монахи были совсем молодые, из самых низов ордена, что не мешало им вести себя достаточно нахально. Мюрье уже собрался было их выгнать, но Фани, напротив, решила воспользоваться их присутствием, чтобы связаться с Эредиа.

– Брат, – обратилась она к тому, что был повыше, – вы из больницы отца Эредиа, не так ли?

– Да, сеньора, – ответил монах.

– Вероятно, вы изучаете медицину?

– Да, сеньора, в Гранаде.

– И ваш коллега тоже?

– Нет. Он фармацевт.

– Видимо, мы будем работать вместе или по крайней мере будем соседями. Как вас зовут?.

– Брат Доминго.

– А вашего коллегу?

– Брат Гонсало.

– А вас как зовут, сеньора? – спросил вкрадчивым тонким голоском брат Гонсало.

– Я – миссис Хорн. Вы не могли бы предупредить отца Эредиа, что мы хотим ему представиться?

– В данный момент отца Эредиа здесь нет. Он вернется к вечеру, – ответил брат Доминго.

– Его кто-нибудь замещает?

– Да, отец Оливарес.

– Тогда передайте ему. Он меня знает. Скажите, что я хочу его видеть.

Монахи удалились с глубокими почтительными поклонами. Через десять минут они вернулись и сообщили Фани, что отец Оливарес не может ее принять, так как занят молитвами.

Фани сердито распорядилась быстрей разбивать палатки. Как она и ожидала, Эредиа пришел к вечеру, на заходе солнца. Он явился один, без всякого предупреждения, и прямо прошел в палатку, где Фани и Мюрье готовились ужинать. На нем была та же старая ряса и грубые ботинки, в которых она его видела в первый раз на постоялом дворе между Деспеньяторосом и Авилой. Этого момента она ждала днем и ночью! Все волнения, все жгучие надежды и робкое ожидание, пережитые ею до сих пор, внезапно разрешились в полной слабости, в полной неспособности произнести хоть слово. Последний луч солнца падал через вход в палатку на голову Эредиа и придавал его гладким, зачесанным назад волосам иссиня-черный металлический блеск. Он улыбался презрительно. И Фани опять ощутила в этом лице что-то нереальное и призрачно-красивое, что делало монаха похожим на ангела и на демона, что отрицало всякую радость в жизни – и в его собственной, и в жизни других людей. Его пронзительные, черные как уголь глаза оглядывали Фани с насмешкой и, казалось ей, говорили: «Ведь я предупредил тебя, чтобы ты сюда не ездила. Что тебе здесь надо? Что может быть между нами? Почему ты не развлекаешься со своими приятелями на пляжах, в казино, в дансингах?» И опять в ушах Фани безнадежно отдались слова, сказанные им в колледже Ареналес: «Вы принадлежите миру, а я своему ордену».

Пока Фани собиралась с силами, чтобы заговорить, Мюрье начал холодно докладывать:

– Мы прибыли сюда с разрешения правительства. Мы избрали Пенья-Ронду потому, что это место отвечает нашей подготовке и возможностям. Нормальное функционирование больницы полностью обеспечено.

Эредиа выслушал все, молча кивая головой. Потом предложил Фани и Мюрье переехать в Пенья-Браву. Там давно нуждаются в больнице. Но Мюрье отказался надменно и категорически. Монах опять кивнул. Потом, не возразив ни слова, медленно пошел к выходу из палатки. Прежде чем выйти, он повернулся к Фани и вдруг произнес бесстрастным голосом:

– Миссис Хорн!.. Может быть, смерть и страдания, которые вы здесь увидите, научат вас думать больше о других, чем о себе. А это спасет вашу душу. Простите меня за грубость. До свиданья.

– Чурается тебя, как дьявола! – сказал Мюрье, когда монах вышел. – Но это хороший признак!

– Почему? – грустно спросила Фани.

– Потому что ты поймешь, что нам надо удирать отсюда, и как можно скорей!

В следующие дни Фани осознала, насколько наивно было ее решение приехать сюда. Отец Эредиа не только не обращал на нее внимания, но даже ее попытки связаться с кем-нибудь из его персонала терпели неудачу. Оливарес, Доминго и Гонсало старательно избегали ее, точно она была нечистой силой, грозившей погубить их души. Фани не сомневалась, что они делали это по приказу Эредиа и что в глубине души, может быть, и в самом деле ее побаивались.

Так как все больные поступали в палатки иезуитов, Фани и Мюрье все еще сидели без работы и целые дни проводили в томительном бездействии. Мюрье повадился ходить в городок, где завязал дружбу с аристократами. Каждый день он узнавал что-нибудь новое об Эредиа.

– Не воображай, что в лагере иезуитов так уж скучно, – заметил он как-то.

– Почему, Жак?

– Потому что там есть монахини-кармелитки.

– Вот развлечение и для тебя.

– Да, но Эредиа не склонен делиться.

– Не оскорбляй праведника. Они молоды?

– Не слишком. Самой младшей шестьдесят.

– Довольно!

– Я узнал еще одну подробность. Эредиа родня графам Пухол.

– О!.. Это интересно!

– Да!.. Чем родовитей испанец, тем безнадежней его безумие. Я думаю, тебе полезно это знать. И еще одна новость…

– Какая?

– В самом скором времени ожидают революцию.

Фани равнодушно покачала головой. Это ее не интересовало и не волновало. Она откупорила бутылку виски и поставила на стол стакан. В углу палатки, служившей им столовой, скопилась устрашающая груда пустых бутылок.

– Ты думаешь, это может так продолжаться? – спросил Мюрье перед тем, как им разойтись.

– Не знаю, – отозвалась Фани устало.

В этот вечер она легла с отупевшей от алкоголя головой и уснула тяжелым сном. Просыпалась несколько раз от кошмаров. Ей снился то Сандовал, фосфоресцирующие глаза которого пронизывали окружавший ее мрак, то больные с землистыми лицами и блуждающими глазами. По одежде у них ползали громадные вши. Фани громко вскрикивала и, проснувшись, не могла понять, где находится.

– Кармен! – кричала она девушке, которая спала с ней в палатке. – Запри дверь!

– Здесь нет двери, сеньора! – испуганно отвечала испанка. – Мы спим в палатке.

Несколько раз за эту ночь Фани убеждала себя на другой же день уехать в Мадрид, по стоило ей решиться, как перед пей вставал образ Эредиа, и тогда она сознавала, что не может без него жить. Проснулась она поздно, с тяжелой головой. Заглянула к Мюрье, но француз опять ушел в город. Она подумала, что дольше бездействовать невозможно. Вдруг ее осенила дерзкая мысль пойти к Эредиа, сделать последнюю, отчаянную попытку слить больницы и работать вместе. Только это могло вырвать ее из того состояния, в котором она находилась. Она отправилась в лагерь иезуитов, с трудом преодолевая короткое расстояние по него. Несмотря на ранний час, жара была невыносимой. Юбка ее цеплялась за кактусы и сожженную солнцем траву. Под ногами перебегали ящерицы. Пустынная степь тонула в сонной тоскливой тишине. Колокол в деревне звонил по покойнику. И надо всем безнадежно висело синее испанское небо.

Подойдя к лагерю, Фани увидела старую монахиню и спросила у нее, где палатка Эредиа. Монахиня смерила ее подозрительным взглядом, а потом молча повела к самой ветхой палатке. Фани показалось, что в голове у старицы пронеслась вереница дурных мыслей, которые, впрочем (Фани злобно сознавала это), были не лишены оснований. Монахиня шмыгнула в палатку. Немного погодя она вышла и знаком показала Фани, что отец находится там. Фани, затаив дыхание, откинула дерюгу, закрывавшую вход. Эредиа что-то писал за столом, заваленным бумагами.

– О!.. Миссис Хорн!.. – приветствовал он ее равнодушно, поднимаясь из-за стола. – Вы еще здесь?

– А вы ожидали, что я уберусь отсюда? – спросила она тихо.

– Я ожидал, что вы уедете в Пенья-Браву.

– Вы знаете, что если я приехала сюда, то только для того, чтобы работать в Пенья-Ронде.

– Знаю, – сказал он враждебно. – Может быть, вы рассчитываете на какую-то перемену в наших отношениях?

– Я ни на что не рассчитываю.

– Тогда зачем вы все еще здесь?

– Неужели вы не знаете?

Фани медленно подняла голову. Его фанатичные глаза горели мрачно. Лицо залилось густым, ярким румянцем.

– Все это для вас слишком просто, – промолвил он упавшим и неожиданно тихим голосом, – а я должен думать по-другому… Вы никогда не смогли бы этого понять. Вы только станете упрекать меня и страдать… что мне не безразлично. Я говорю как христианин. Есть и другие обстоятельства, которые тоже мешают мне принять ваше сотрудничество…

– Другие? Какие же?

Он поколебался.

– Назовем их личными… Мне очень жаль, если то, что вы услышите, вас огорчит. Я не мог не известить о вашем приезде моего супериора, отца Сандовала, Итак… в день вашего приезда я ему написал. Ответ я получил сегодня. – Оп нахмурился и показал на одну из бумаг на столе. – Отец Сандовал не возбраняет нам работать совместно… Видимо, он не помнит вашего имени и не подозревает, какие мотивы заставили вас приехать сюда… Я хочу сказать, отец Сандовал разрешает нам работать совместно в том случае, если вы согласитесь объединить обе больницы в одну, которая будет функционировать от имени ордена. Кроме того, он хочет, чтобы вы взяли на себя и соответствующую часть расходов по содержанию персонала и больных Фани слушала, пораженная.

– Где же ваши личные соображения? – спросила она резко.

– О!.. Где!.. – Отец Эредиа нахмурился еще сильней, но голос его был по-прежнему холоден и сух. – Вы будете рисковать жизнью, понесете расходы и ничего не получите взамен! Ничего!.. – повторил он с сочувственной иронией.

У Фани горько скривился рот.

– Тогда почему вы настаиваете на моем отъезде? – проговорила она быстро. – Почему действуете против интересов ордена?

– Я вам сказал, что отец Сандовал не знает, зачем вы здесь, а я знаю… Я думал о вашем самолюбии.

Действительно ли он щадил ее самолюбие, действительно ли он настолько ее уважал!.. Но тогда почему он поспешил написать Сандовалу? Неужели тот настолько поглупел, что не вспомнил, кто такая Фани, и не догадался, зачем она приехала в Пенья-Ронду? Что-то глубоко кольнуло ее гордость. В первый раз она ясно поняла, что святое Христово воинство, Сандовал, Эредиа способны лицемерить и обманывать. Но если Эредиа обманывает, он делает это ради ордена. Орден, орден превыше всего!..

– Я принимаю ваши условия, – сказала Фани.

– Мир вашей душе, миссис Хорн, – изрек иезуит.

Мир!.. Могла ли пребывать в мире больная, обреченная душа? Эта кроха, эта жалкая милость, которую Фани купила у ордена ценой такого унижения, с еще большей силой привязала ее к Эредиа! Теперь она имела возможность видеть его каждый день. Теперь она ходила за ним по пятам, следила за его движениями, впивала каждое его слово, каждый взгляд, каждый жест… Утром первая ее мысль была о нем, вечером она засыпала, перебирая в памяти все мелкие происшествия дня, которые могли укрепить его доверие к ней, а может, и вызвать восхищение ею. Вряд ли Фани когда-нибудь предполагала, что она может быть такой молчаливой, такой сдержанной, такой скромной и работящей в то время, как в душе ее кипит страсть, поднимаясь все выше, как поднимается вода, чтобы внезапно прорвать плотину.

Отношения между Эредиа и Мюрье быстро наладились, хотя Мюрье не мог до конца освободиться от недоброю чувства к монаху. В новые палатки поступило о десяток больных, и Мюрье согласился лечить их по методу Эредиа. Кроме того, после долгих просьб Фани Мюрье, хотя и о большой неохотой, стал помогать иезуиту в его массовых экспериментах с новой вакциной.

– Эксперименты с этой вакциной – настоящее преступление, – ругался он. – Прививки вызывают у больных высокую температуру и сердечную слабость… Мы просто-напросто превращаем больных в носителей вируса!

– Рано предсказывать, – говорила Фани философски. – Надо подождать проверки по законам вариационной статистики.

– Чепуха!.. После этой проверки Эредиа следовало бы предать публичной казни.

– Но меня восхищает его вера в успех!

– В том-то и беда, что он опирается только на свою веру! Смешно смотреть, с каким усердием он сначала лечит больных, а потом их же отпевает. Впрочем, для него душа бессмертна!

– А может, это на самом деле так?

– Не знаю!.. Спроси Оливареса!

Действительно, отец Оливарес усердно занялся духовным перевоспитанием Фани. Почти каждую неделю он дарил ей по книге и развивал перед ней свои блестящие мысли о догматике святого Фомы Аквинского. К несчастью, Фани была основательно испорчена материалистическими идеями, отрицающими бессмертие души. Самое большее, что она была склонна допускать, – существование божественного начала в природе. Мюрье же не хотел слышать даже о нем. Все споры происходили после ужина, при лунном свете, когда Фани приказывала Робинзону поставить походные стульчики перед ее палаткой и приглашала отцов на рюмку ликера. Эти споры бывали занятными, потому что Мюрье венчал их парадоксальными выводами, а отцу Оливаресу не всегда удавалось дать им свое толкование.

– Продолжим, отец!.. – обратился Мюрье однажды к профессору схоластики. – Имеются ли на самом деле теологические доказательства существования бога?

– Разумеется, сеньор!.. Вы знаете биологию лучше меня. Гармония в природе – самое убедительное доказательство существования бога. Разве вы не замечаете в каждом цветке, в каждом насекомом, в каждой живой твари стремления к цели, к всеобщей гармонии, которая есть не что иное, как необъятная мысль бога, сотворившего мир?

– Так. А в сыпном тифе что вы видите?

Оливарес улыбнулся. Когда естественники начинают возражать, они всегда избирают этот путь. Такое возражение нельзя назвать абсурдным, но оно из тех, которые нетрудно опровергнуть. А опровергнуть его было как долгом, так и развлечением для Оливареса. Но вряд ли кто-нибудь подозревал, что за этим долгом и за этим развлечением кроется его собственное неверие в существование бога.

– Я вижу страдание, сеньор, – сказал иезуит.

– Значит, у страдания есть цель?

– Безусловно.

– Что это за цель?

– Искупление!.. Каждая перенесенная вами боль приближает вас к нравственному совершенству.

– Тогда зачем бог, вместо того чтобы создать людей хорошими, сделал их дурными и исправляет их наказанием?

О, и на это схоластика могла дать ответ!.. Отец Оливарес готов был повести своих слушателей по лабиринту христианской метафизики, но тут же спохватился, что это их утомит.

– А вы как думаете, миссис Хорн? – внезапно спросил Эредиа.

– Я думаю, что это так и есть, – сказала Фани тихо. – Я думаю, что идея искупления – достаточное оправдание христианства.

Она не была уверена в том, что говорила, но соглашаться с Эредиа, выполнять с абсурдной точностью любую работу, какую он ей поручал, заслужить его молчаливый и благодарный взгляд было для нее наивысшей радостью. Мысль, что он видит и знает, зачем она это делает, ее опьяняла. Она испытывала какое-то болезненное наслаждение, подвергая свою жизнь опасности у него на глазах. Она приходила работать в самую опасную палатку, где две старые монахини-кармелитки переодевали больных. Эредиа несколько раз запрещал ей работать там.

– Разве я не говорил вам, чтобы вы сюда не заходили? – вскипел он однажды.

– Не все ли равно, кто здесь работает?

– Не все равно! – крикнул он, и глаза его метнули искры.

– Это называется монашеская кротость! – сказала она весело.

– Это мой приказ! – крикнул он еще яростней.

Властный и грубый, он проводил ее взглядом до выхода из палатки.

На следующий день было воскресенье. Эредиа распределял часы дежурства так, чтобы светский персонал больницы был свободен в часы литургии. Фани привыкла ходить в деревенскую церковь на эти воскресные литургии, которые иногда отправлял сам Эредиа. Она пошла туда и в это утро, потому что с вечера узнала от Доминго, что будет служить монах. Серые гранитные стоны, полумрак, скорбные звуки органа, монотонное бормотание на латинском языке, из которой она могла разобрать только «Pater Noster» и «Dominus»,44настроили ее на мистический лад. Но потом, когда монах повернулся к богомольцам, размахивая кадилом, и она увидела его, прекрасного и недоступного, в ней опять вспыхнуло пламя любви, неукротимая и сладостная жажда обладать им. Она воспользовалась паузой в службе и пробралась в ряд коленопреклоненных женщин, закутанных в черные вуали. Они следили за движениями иезуита с таким же вожделением, может быть, бессознательно желали его плотски так же, как и Фани, но их грешный порыв растворялся в религиозном экстазе. Когда литургия кончилась, все стали подходить целовать ему руку. Фани никогда не делала этого, но сейчас ей вдруг захотелось коснуться губами его руки. Она была последней. Быстро наклонилась, целомудренно, как любая из них, по в последний момент его рука вдруг окаменела и легонько оттолкнула ее. Фани подняла голову и посмотрела на него с укором. Она увидела только черные глаза, которые мрачно ее пронизывали.

Случаи в палатке, где принимали вшивых больных, и в церкви скоро забылись. Отец Эредиа и Фани вернулись к обычной форме ежедневного общения – коротким деловым разговорам. Во время этих разговоров были мгновенья, которых Фани ждала страстно, и это были те мгновенья, когда взгляды их встречались. Какая странная смесь удивления и бездушной холодности появлялась в его глазах, когда он видел, что все его распоряжения Фани выполняет с точностью автомата, что она с полной самоотрешенностью проводит бессонные ночные часы в лаборатории и в палатках больных! Но сознавал ли он тогда, что это усердие Фани и самоотверженность, с которой она постоянно подвергалась опасности заразиться, вызваны не христианским смирением и не любовью к ближнему? Осуждал ли он ее или оправдывал? И с какой радостью, опьянявшей сильнее всех наслаждений, испытанных ею до сих пор, Фани замечала, как разгорается в его душе внутренняя борьба!.. Но признаки этой борьбы и колебаний были у него, увы, так редки! Они тотчас подавлялись железной волей этого человека, безумием его фанатизма, который овладевал им с еще большей силой.

Однажды в воскресенье – в тот день был какой-то католический праздник и по распоряжению Эредиа монахи ушли в городок, чтобы принять участие в религиозной процессии, – Фани уселась с книгой за своей палаткой. Солнце клонилось к западу. Верещали кузнечики, в деревне колокол опять звонил по покойнику, а над унылой бурой степью, то глинистой, то песчаной, усеянной колючками и кактусами, висело неизменное бездонно-синее небо. Она читала «Подражания Христу» – испанское издание, подарок Оливареса – и размышляла грустно и благожелательно о величавой простоте этой книги. Забывшись над книгой, она вдруг заметила Эредиа. Он шел к ее палатке, медленно, погруженный в раздумье. Против своего обыкновения, на этот раз он шел один. Фани быстро вскочила и нырнула в палатку, чтобы сбросить пеньюар и надеть дурацкое черное платье, в котором она всегда появлялась перед ним. Когда она вышла, монах был уже в лагере и разговаривал с Робинзоном. Завидев ее, он вежливо поздоровался, сняв свою черную войлочную шляпу с широкими полями, в то время как другая его рука сжимала неизменный молитвенник. Фани пригласила его в палатку. Она подумала, что монах откажется войти без Оливареса и Мюрье, но, к ее удивлению, он принял приглашение. Ей показалось, что он осунулся и чем-то озабочен.

– Могу я попросить у вас сигарету? – спросил он непринужденно, положив молитвенник и устало вытирая пот со лба громадным грубым платком, который он достал из кармана рясы.

Фани знала, что он не курит, а, подобно многим другим монахам, употребляет нюхательный табак. Но сейчас, вероятно, он не мог позволить своему аскетическому телу даже эту единственную роскошь, потому что не позаботился сделать достаточный запас табака в Мадриде.

Фани предложила ему свои сигареты.

– Я пришел попросить об одной услуге, – сказал он и, сделав смешную гримасу, закашлялся от крепкого вирджинского табака. – Врач из Пенья-Бравы сообщил мне по телефону, что у них девять новых заболеваний. Наша санитарная машина ушла утром в Досфуэнтес и еще не вернулась.

– Я пошлю кого-нибудь из моих людей, – быстро сказала Фани. – Впрочем, вы можете располагать ими полностью в любое время. Посылайте их куда хотите, не спрашивая меня.

Иезуит улыбнулся горько.

– Ваши люди мне не подчиняются, – сказал он.

– Как так? – нервно спросила Фани.

– Волна анархии заливает всю страну, – продолжал он мрачно. – Вчера вечером в Эскуриале убили трех августинцев и еще двух в Авиле. Убит наш супериор в Гранаде.

Фани посмотрела на него растерянно.

– Почему все это происходит?

– Потому что мы всегда искупаем грехи правящих классов. Это судьба, против которой мы не ропщем.

«А разве вы сами не правящий класс?» – невольно подумала Фани, но в тот же миг сердце ее заныло от беспокойства за Эредиа.

– Похоже, что будет революция, – сказала она.

– Да, будет, – подтвердил он.

– Какая? Правая?

Эредиа не ответил. В глубине его взгляда Фани прочла оскорбительное недоверие. И эта его замкнутость, это недоверие отозвались в ней болью.

– Я велю моим людям подчиняться вам, – сказала она сухо.

– Вам не следует раздражать их сейчас.

– Почему?

– Потому что это опасно. Я пришел попросить у вас только Робинзона. Если мы поедем на санитарной машине, к вечеру мы будем обратно.

– Робинзон мне не нужен. Поезжайте с ним.

– Благодарю вас, – сказал иезуит с признательностью, которая показалась ей чем-то противной. – Я должен во что бы то ни стало попасть в Пенья-Браву. Эпидемия разрастается, а моя вакцина, как видно, не дает хороших результатов. Сколь тщетны наши человеческие усилия!.. – добавил он со скорбной улыбкой.

– Я надеюсь, что вторая модификация даст лучшие результаты.

– Вряд ли!.. Я возлагал самые большие надежды на вирус, обработанный сульфамидами. У вас нет запасных коек? – спросил он как бы рассеянно и между прочим.

– Есть, двадцать. Мы можем немедля удвоить это количество.

– О нет!.. Нет!.. – энергично воспротивился он. – Вы ни в коем случае не должны тратиться на новые койки, входить в новые расходы… Вы разоритесь, миссис Хорн!

– Я не разорюсь, – сказала она презрительно.

– Que Dios se lo pague!..45– произнес он.

Это была традиционная фраза, которой с незапамятных времен пользовались испанские монахи, собирая милостыню для бедных. Фани показалось, что сейчас она прозвучала фальшиво и угодливо. И она сказала:

– Я ничего не жду от бога.

Глаза Эредиа сверкнули мрачно. Слова Фани были слишком колючими, чтобы не задеть его. Что-то встало менаду ними – то была твердость, с какой Фани отметала любую двусмысленность, и, может быть, она и заставила Эредиа вдруг заговорить откровенно.

– Миссис Хоры! – произнес он, и шелковый голос, суливший ей воздаяние бога, стал суровым. – Мы с вами привыкли уважать друг друга. Вы хотите, чтобы так продолжалось до конца? – Он дождался, пока она молча кивнула головой, и опять заговорил, еще резче, с металлическими нотками в голосе: – Моя душа в руках бога. Я посвятил ее ему. Понимайте это как хотите. Я смотрю на мир иначе, у меня другая цель и другие радости в жизни… Может быть, фанатизм – эта испанская болезнь, которая убивает и мучит, но я вас предупреждаю, таким я буду всегда, пока вы здесь…

– Знаю, – сказала Фани.

– Нет!.. Вы знаете не все! – продолжал он. – Наша совместная работа диктуется интересами ордена. Все, что я допускаю, – он подчеркнул слово «допускаю», – между нами, определяется интересами ордена. Вы отдаете себе в этом отчет? – В его голосе послышалась ирония. – Я мог бы действовать с помощью казуистики, формалистических приемов, reservatio mentalis46 – всеми теми методами, которые вам знакомы по черной легенде о нашем ордене и которые для нас – обычное средство для достижения той цели, к которой мы стремимся. Мы не выбираем средств, потому что цель дает нам достаточно нравственных сил. Но с вами я не поступаю так или по крайней мере решил впредь не поступать так… Вы понимаете меня?

– Да, – сказала Фани.

– Откуда вы знаете, что я делаю это опять-таки не в интересах ордена? – спросил он с неожиданной жестокой и циничной улыбкой.

– Хоть этого вы бы не говорили!

– Я должен был сказать вам и это. Нам необходимо было объясниться, дойти до последней возможной черты.

– Мы уже дошли до нее.

– Да, так удобнее.

– И как ловко вы это проделали!

Из груди его вырвался резкий смех.

– Теперь я могу вам сказать, что, пока вы здесь, я буду все время использовать вас и выжимать из вас все, что только можно, в целях ордена. Сегодня вечером в Пенья-Браве собрание монархистов, на котором я выступаю. Вот почему я попросил санитарную машину.

– Значит, больница – это ширма? Она нужна, чтобы прикрывать вашу агитацию в пользу дона Луиса де Ковадонги?

– Да, и для этого, – сухо сказал иезуит.

– Монархия? Уж не это ли цель ордена?

– И монархия только средство.

– На пути к чему?

– К мировой католической империи, к Христу, к богу!.. – произнес он, и в первый раз Фани уловила в его голосе волнение.

А в глазах у него загорелся лихорадочный огонь, как в глазах человека, который увидел далекий, но жгучий и заманчивый мираж. Несколько минут он глядел так в пространство, потом вытащил громадный грубый платок, какие носят бедняки, и вытер лоб, вспотевший в душной палатке. И Фани заметила, что рукав его рясы обтрепан, – рукав этой ужасной, толстой и грубой рясы, в которой он мучался в самую адскую жару, ибо строгие правила ордена запрещали ее снимать точно для того, чтоб совсем уж наверняка умертвить его плоть. И еще ей пришло в голову, что он происходит из рода графов Пухол, что у его родителей, конечно, были имения и ренты, что он еще молод и, если бы захотел, мог бы вести блестящую жизнь патриция, играть в поло, носить шелковые рубашки, иметь любовниц, но вместо этого он стал монахом Христова воинства, носит черную, грубую рясу, саднящую кожу, и приехал в Пенья-Ронду лечить больных сыпным тифом и агитировать за дона Луиса, гнаться за далеким, безумным миражем мировой католической империи Христа и бога, миражем, который воспламенял его сердце, который был неудавшимся опытом прошлого и неосуществимой фикцией настоящего. Но он был заворожен этим видением и стремился к нему всеми силами… Не был ли он безумцем, безнадежным безумцем? Дон-Кихотом в рясе, черным, пламенным, фанатичным?…

Немного погодя Эредиа вышел из палатки и направился к своей больнице. Он шел слегка сутулясь, сложив на груди руки, по-прежнему сжимавшие молитвенник. Его высокая фигура в рясе и широкополой шляпе фантастическим силуэтом вырисовывалась на кроваво-красном закатном небе, а колокол все звонил по покойнику.

Фани простила ему все и в это мгновение поняла, что любит его еще сильнее.

Она продолжала работать в больнице Христова воинства с удвоенным усердием. Больные прибывали непрерывным потоком, их было гораздо больше, чем тех, что поправились или умерли. Палатки переполнились. Фани оборудовала еще сорок коек, причем сумма на ее счете в Банке иностранного кредита значительно уменьшилась. Скоро и эти деньги иссякли. Адвокат, который вел денежные дела праздношатающихся членов семьи Хорн, перевел в Испанию новые суммы. Одновременно брат-бухгалтер, который заведовал финансами иезуитов в провинции Толедо, тайно сократил на три четверти расходы ордена на содержание больницы в Пенья-Ронде. В конце концов больница иезуитов и больница Фани вместе с персоналом полностью слились. Уже больше не мог возникнуть вопрос, работает ли Фани с Мюрье или с Эредиа. Она была нужна везде. Старый очаг эпидемии и смерти быстро разгорался в этой самой дикой, самой бесплодной и самой фанатичной части Кастилии, в то время как реакционный переворот приближался и агитаторы роялистов неустанно сновали повсюду, распространяя призывы к свержению республики, восстановлению императорской Испании и поддержке дона Луиса де Ковадонги. То, что Испания могла снова стать империей, было сомнительно, но неужто господь не поможет хотя бы избавиться от коммунистов? Беспорядки, инспирируемые храбрыми идальго, поклявшимися умереть за бога и короля, все учащались. Однажды после полудня местная фаланга попыталась устроить демонстрацию, но была рассеяна вооруженными коммунистами. Взвод гражданской гвардии, посланный водворить порядок, внезапно взбунтовался против своего командира, так что понадобилось вмешательство воинских частей.

Во время этих волнений отец Эредиа в течение трех дней где-то пропадал. Когда он вернулся, одна его рука была забинтована, а лицо разукрашено синяками и ссадинами. Эредиа коротко объяснил, что упал с мула, пробираясь по крутым горным тропам. О цели своего путешествия он не сказал ничего. Впрочем, это было совершенно излишним.

После короткого отдыха он снова исчез еще на два дня. Опять вернулся вместе со своим мулом, на этот раз целый и невредимый. Вечером Фани попросила Мюрье пойти с ней к нему в палатку. Ей хотелось порадовать монаха первыми, еще не вполне проверенными, но благоприятными статистическими данными о его усовершенствованной вакцине, полученными в Пенья-Браве.

Перед палаткой Эредиа они увидели брата Гонсало, фармацевта. Этот монах обладал всеми качествами, которые требуются от примерного иезуита: для своих духовных опусов он всегда выбирал тему Страшного суда и был скрытен до непроницаемости. Он вечно сжимал в руках молитвенник, постоянно говорил о величии бога и своем ничтожестве и здоровался, отвешивая глубокий поклон, полуопустив веки, как того требовали правила ордена, составленные самим Лойолой. Причиной всего этого была отчасти его порочная натура, отчасти же особый вид умственного расстройства, полученного им во время усиленных духовных упражнений при вступлении в орден.

Завидев Фани и Мюрье, брат Гонсало принял свой обычный кроткий, униженный вид.

– Отец Эредиа здоров? – спросила Фани с беспокойством.

– Да, сеньора. Он в часовне, читает молитвы.

– Давно?

– Около двух часов.

– Скоро он кончит?

– Не знаю, сеньора… Утром больные из Досфуэнтеса помешали ему молиться, и теперь он должен дочитать все молитвы, назначенные на сегодня.

– Я вижу, вы порядком загружены молитвами! – сказал Мюрье.

– Да, сеньор!.. В молитвеннике на летние месяцы, предписанном нашим отцом Лойолой, шестьсот семьдесят две страницы.

Фани как-то листала молитвенник Оливареса и сейчас представила себе эти страницы, густо унизанные красными и черными буковками латыни на отличной рисовой бумаге.

– Сколько раз в день вы молитесь? – спросил Мюрье.

– По два часа на рассвете, и еще полчаса в обед, и полчаса вечером. Но супериор разрешил нам молиться только утром и вечером, потому что днем у нас много работы с больными. – И брат Гонсало добавил смиренно: – Молитвы имеют для нас большое значение.

– Бесспорно, братец!.. – согласился Мюрье. – А брат Доминго читает их регулярно?

Всему лагерю было известно, что брат Доминго, который изучает медицину, явно пренебрегает правилами ордена. Он злоупотреблял табаком, не отказывался, когда фани предлагала ему виски, и даже заигрывал с Долорес.

– Не знаю, сеньор!.. – сухо ответил брат Гонсало. – Каждый отвечает перед богом только за самого себя.

– Передайте отцу, чтобы он зашел к нам утром, – сказал Мюрье. – Мы хотим сообщить ему кое-что о вакцине.

Фани и Мюрье повернули обратно к своим палаткам. Солнце заходило, и бесплодная степь, залитая красным светом заката, пылала огромным пожаром. Они шли медленно. Лагерь затих, и только время от времени за полотнищами палаток раздавались глухие стоны, безнадежно замиравшие.

– Madrecita! – проплакал детский голосок. – Madrecita!

– Estoy aqui, hijo!.. Estoy aquí!47 – ответил немощный голос больной матери, а потом все потонуло в безбрежной мучительной тишине.

– До каких пор ты будешь покупать новые койки? – внезапно спросил Мюрье.

– До тех пор, пока это будет нужно.

– А ты знаешь, что в банке у тебя больше нет денег?

– Знаю. Я запрошу новый перевод от Брентона и Моррея.

– Не забывай, что у тебя в запасе нет миллионов. Ты не Клара Саутдаун!

За ужином он ничего не ел и изучал Фани с молчаливым сочувствием, как изучал бы безнадежно больного пациента, с которым не знает, как поступить.

– Почему ты не ешь? – спросила Фани удивленно.

– Я ужинаю у маркиза Досфуэнтеса.

– О, значит, ты опять выходишь в свет!

– А что мне делать? Глотать снотворное? – спросил он.

– Там есть молодые дамы?

– Разумеется!.. Но есть и симпатичные господа.

– Роялисты, наверное!.. Забавно!

– Эредиа тоже роялист, – насмешливо сказал Мюрье.

– Откуда ты знаешь?

– От маркиза Досфуэнтеса, который приходится ему кузеном. Эредиа ездит в горы, чтобы агитировать за дона Луиса де Ковадонгу. Эредиа и Ковадонга – друзья детства. Если претендент займет престол, Эредиа поднимет крестовый поход против коммунистов… Испания всегда была мечом христианства.

Фани поднялась. С Мюрье просто невозможно разговаривать серьезно.

– Хочешь пойти со мной? – спросил он.

– Нет! – отрезала она.

– Что ты будешь делать здесь?

– Лягу и буду спать.

Мюрье, не дожидаясь приглашения, пошел за ней в ее палатку. Он закурил и стал перебирать книги, сложенные на тумбочке возле кровати, громко и важно читая их названия. Почти все они были подарены Фани Оливаресом. «Святая инквизиция», «Жизнь доблестного дворянина, благородного Лойолы», «Миссии иезуитов в Западной Индии и на Тихом океане» и много других, все в том же роде. В них были исполненные пафоса страницы, оправдывавшие инквизицию и воспевавшие возрожденный Лойолой католицизм, были и ужасные страницы, повествовавшие о тех монахах, что умирали в мучениях, распевая псалмы, что погибали от чумы и малярии, врачуя больных, что падали с крестом в руке, пронзенные копьями дикарей. Но в этих книгах забыли упомянуть о том, сколько живых людей сожгла святая инквизиция в Европе и сколько дикарей было перерезано набожными католиками в Южной Америке.

– Ты в самом деле будешь спать? – спросил Мюрье с ноткой сомнения в голосе. Потом взял с тумбочки пузырек с таблетками люминала, посмотрел на этикетку и сунул его в карман. – Не завидую этому сну. До какой дозы ты дошла?

– Я вообще его не принимаю, – солгала Фани.

В чемодане у нее был другой пузырек, добытый у брата Гонсало.

– Спокойной ночи!.. – сказал Мюрье.

Он поцеловал ей руку, и этот жест заставил ее вспомнить без сожаления прошлую, уже забытую жизнь.

Мюрье пошел побриться и надеть смокинг, чтобы отправиться на ужин к роялистам. Фани погасила лампу. Кармен давно уже спала, потому что утром она рано вставала.

Фани решила не принимать в этот вечер люминал и терпеливо дожидаться прихода нормального сна.

**VI**

Но сон не шел, и Фани бодрствовала.

В палатке было слышно только равномерное дыхание Кармен и далекий вой шакалов. Красноватый диск луны показался в просвете между полотнищами палатки. Со Сьерра-Дивисории потянуло ветерком, и листья ближней маслины зашелестели. Несколько выстрелов и далекий отчаянный вопль – вопль гибнущего существа – смутили молчание испанской ночи. И опять все затихло, опять погрузилось в тишину, нарушаемую лишь слабыми порывами ветра и шелестом маслины, которая будто рассказывала о вечном страдании этой бесплодной кастильской земли и о грядущих эпидемиях, голоде и революции. И тогда в полумраке, в этой тишине, под этот печальный шелест перед Фани встал кошмарный призрак монаха, его красивое неземной красотой лицо святого и языческого бога, и она опять посреди этой глухой ночи испытала безумное желание увидеть его аскетические губы, сведенные судорогой сладострастия.

Она услышала, как Робинзон вошел в палатку Мюрье – принес отутюженный смокинг. Потом, приглушенно шумя и чуть поскрипывая, подъехала легковая машина и остановилась метрах в десяти от их палаток, находившихся на краю лагеря. Фани с удивлением услышала незнакомый женский голос. Любопытство заставило ее встать и выглянуть из-за полотнища. За рулем спортивной машины сидела очень красивая, но не первой молодости женщина с профилем Тициановой мадонны. Волосы ее покрывала черная вуаль.

– Ах… Донья Инес!.. – растерянно сказал Мюрье.

– Я приехала за вами прямо сюда, чтобы вырвать вас у этой ужасной миссис Хорн, доктор!.. – быстро проговорила женщина по-французски.

– Тише!.. – сказал Мюрье, показав пальцем на палатку Фани.

– Она спит здесь? – спросила донья Инес шепотом. И добавила: – Откуда такое ужасное зловоние?

– От палаток больных, мадам.

– Фи-и! – протянула аристократка с отвращением. – И миссис Хорн терпит все это ради моего безумного кузена-иезуита? Что она за человек, эта женщина?

– Она? Влюбленная Клеопатра, – рассеянно пояснил Мюрье.

Он сел рядом с испанкой, и машина унесла их в городок. Фани снова легла, тихо смеясь про себя. Донья Инес привезла Мюрье в лагерь на своей машине далеко за полночь. Теперь разговор между ними шел по-испански и был очень интимным. Фани не захотела вставать, чтобы посмотреть на них, но слышала их поцелуи. Она слышала, как Мюрье вернулся к себе в палатку, а потом, полупьяный, пресыщенный всем на свете, запел какой-то глупый французский куплет. Его желчный голос повторил куплет несколько раз, точно он надеялся в его глупости найти облегчение. Потом Мюрье умолк и заснул.

А Фани все бодрствовала и слушала, как воют шакалы в степи да под жалобными порывами ветра со Сьерра-Дивисории шелестят листья маслины. Когда призрак Эредиа, сладкий и мучительный, вымотал ей нервы до такой степени, что она, обессилев, уже почти засыпала, со стороны городка опять послышался шум автомобиля. Ей показалось, что машина остановилась близко, только с другой стороны лагеря, где были палатки иезуитов. Фани не придала этому никакого значения. Машины доставляли больных и ночью. Однако вдруг послышался топот ног и возбужденные голоса. Разнесся женский вопль. Ей почудилось, что это голос Долорес. Немного погодя она услышала приближающиеся шаги бегущего человека. Шаги замерли перед палаткой Мюрье.

– Сеньор!.. – позвал человек тревожно. – Сеньор!..

Фани узнала голос брата Гонсало.

Мюрье не просыпался.

– Сеньор!.. – в третий раз крикнул брат Гонсало, и в его голосе Фани уловила ужас.

– Кто там?… Что случилось? – сонно спросил Мюрье.

– Сеньор!.. Анархисты уводят отца Эредиа!

Фани вскочила как ужаленная. Надела пеньюар, а на него накинула плащ. Сунула ноги в ночные туфли и опрометью бросилась к палатке Мюрье. Луна все еще светила. Фани увидела брата Гонсало, дрожащего от ужаса. Мюрье поспешно натягивал одежду поверх пижамы.

– Скорей, Жак!.. Скорей! – крикнула Фани как безумная.

Сама не вполне сознавая, что делает, она кинулась обратно в свою палатку, достала из чемодана маленький браунинг и сунула его в карман плаща. Когда она вышла, Мюрье был уже одет. Они втроем пустились бежать на другой конец лагеря, где горели фары автомобиля.

– Робинзон!.. – звала Фани на бегу. – Робинзон!..

– Иду, миссис! – откликнулся шофер.

Из палаток выглядывали землистые лица с запавшими глазами. При лунном свете больные были похожи на мертвецов, поднявшихся из могил.

– Все по своим койкам! – сонно и сердито кричал Мюрье. – Все в палатки!

К ним присоединились Робинзон и два испанских шофера. Брат Гонсало, стуча зубами, рассказывал всем по очереди, что отца Эредиа уводят, и тем усиливал панику. Они бежали на свет автомобильных фар, в котором мелькали фигуры людей, вооруженных карабинами. Когда они, запыхавшись, достигли машины, Фани увидела классическую сцену любой испанской революции: несколько разъяренных оборванцев волокли иезуита. Они тащили его за руки к машине, а еще двое безжалостно били его прикладами по спине. Тут же метался отец Оливарес и, повисая у них на руках, пытался защитить Эредиа от ударов.

– Muchachos!.. – твердил профессор схоластики умоляюще. – Muchachos…

Позади шли Долорес и две престарелые кармелитки. Они отчаянно вопили и призывали на помощь богородицу. Хотя Фани была в таком же ужасе, как и они, ей показалось, что все происходящее в какой-то мере естественно, что, в сущности, это должно было случиться, как уже случалось не раз в истории Испании. В этой стране иезуиты, по традиции, тоже пользовались властью, они тоже владели неисчислимыми богатствами и распоряжались многими душами, тоже готовили низвержение республики и то гневными заклинаниями, то медовыми речами увещевали народ снова пролить свою кровь и вернуть на престол бесценного претендента бесценной бурбонской династии дона Луиса Де Ковадонгу. И, наверпое, поэтому оборванцы, защищавшие республику, были так озлоблены.

– Оливарес! – крикнул Мюрье по-английски. – Свяжитесь по телефону с полковником Хилом… Просите помощи из казарм!

– Я говорил с Хилом, – отозвался иезуит. – Он уже послал кавалеристов.

– Тогда спокойствие, мы отобьемся!

Фани с ужасом заметила, что лицо Эредиа окровавлено, и эта кровь, и все остальное напомнили ей две апокалипсические картины Гойи в Прадо. Монах под градом ударов упирался и отталкивал парней, державших его за руки. Он едва успел надеть рясу. На его голой груди болталось простое железное распятие. Фани не заметила на его лице и тени страха, а только упорство и гнев.

– Перестань, брат!.. – обратился он к тому из двух, кто наносил особенно сильные удары. А потом к остальным: – Muchachos!.. Я вам не подчинюсь. Только законная власть может меня арестовать.

– Мы и есть законная власть! – сказал иронически тот парень, который подгонял его ударами в спину.

– Что вы хотите от него? – крикнул Мюрье, бросаясь на рьяного республиканца и отталкивая его в сторону.

– Назад, иностранец!.. Не вмешивайся в наши дела!

– Испанцы! – с чувством воскликнул Мюрье. – Зачем вы мучаете беззащитного монаха?

– Мы его не мучаем, сеньор! Мы просто хотим его арестовать.

– Зачем он вам?

– Чтобы предать его народному суду. Он в заговоре против республики.

– Это неправда, ребята! Он только лечит больных!

Вся эта сцена – и действия и слова – развернулась перед глазами Фани в течение нескольких секунд. Она все еще стояла в остолбенении. Пока она старалась придумать что-нибудь разумное, откуда-то налетел брат Доминго, и положение сразу осложнилось. С решимостью, похожей на решимость Джека Уинки, но куда более благородной, потому что за спиной у монаха не стояло никакое посольство, он бросился вперед и несколькими ловкими ударами повалил двух нападавших.

– Стреляйте!.. – крикнул кто-то из анархистов. – Стреляйте!

Поднялась суматоха. Брат Доминго, не очень-то по-христиански орудуя кулаками, опрокинул наземь еще одного защитника республики, но сам в свою очередь свалился от удара прикладом в голову. Женщины душераздирающе вопили. Подчиняясь вековому монашескому обычаю, кармелитки повалились на колени и опять стали призывать богородицу. Они не успели надеть чепцы, и подстриженные седые космы их зловеще развевались в темноте. Храбрая и молчаливая Кармен – только она и Фани не вопили – отвесила звонкую пощечину одному из нападавших.

– Девушка!.. – восхищенно воскликнул тот. – Ты рождена для баррикад! – А потом дал своим товарищам разумный совет: – Будьте осторожны, camaradas,48 чтобы не пострадали невинные!

– Оттащите чернорясника в сторону! – крикнул другой.

Двое анархистов – а всего их было семеро – отделились от группы и стали щелкать затворами карабинов. Один из тех, кого оглушил Доминго, внезапно вскочил на ноги и толкнул Эредиа к анархистам, которые щелкали затворами. Но и монах был не менее проворен. Ловким и быстрым движением, говорившим о его поразительном самообладании, он кинулся на них, чтобы отвести дула карабинов. В течение десяти секунд он удерживал их, сам не нанося ударов – вероятно, это было запрещено ему правилами ордена, с которыми брат Доминго, как видно, всегда был не в ладах, – пока наконец анархистам не удалось оторвать его от себя и изготовиться стрелять, не опасаясь попасть в других. Смертоносные дула смотрели на монаха. Еще секунда, две – и Эредиа был бы мертв. Фани показалось, что в этот напряженный момент он понял всю бесполезность своей пассивной защиты и, прекратив всякое сопротивление, встал гордо и неподвижно. По лицу его разлилось выражение отрешенного спокойствия. Никогда Фани не видела более мужественного и прекрасного лица, более бесстрашной и в то же время театральной встречи со смертью, которая была для монаха переходом в другую жизнь. Рука его инстинктивно схватилась за железное распятие, висевшее у него на груди.

И тогда – до этого момента она наблюдала схватку с молчаливым ужасом, не зная, что предпринять, – тогда она с криком бросилась вперед. Она выронила револьвер, но успела вцепиться в плечи монаха и прикрыть его своим телом.

– Опустите винтовки, товарищи!.. – крикнул один из анархистов. – Не стреляйте в женщин!.. Вы испанка, сеньора?… – обратился он к Фани.

Он был одет в рваную блузу и штаны, запачканные машинным маслом. У него было тонкое и болезненное лицо интеллигента, которого гноили в тюрьмах, а в черных как угли глазах горел мрачный пламень революции.

– Я англичанка!.. – выкрикнула Фани дико. – Стреляйте, но завтра вас вздернут!..

– Мы не боимся виселиц, сеньора! – насмешливо заметил анархист. – Оттащите попа, ребята!

Фани еще сильнее впилась в Эредиа. Кармен прикрыла его с другой стороны, а престарелые монахини, глядя на них, осмелели и вцепились костлявыми руками в полы его рясы. Чтобы отнять его у женщин, нападавшие должны были бить и пинать их, а они – испанские анархисты – не хотели бить и пинать женщин. На миг наступило молчание. Возня прекратилась. Нападавшие не знали, что предпринять. И тогда в тишине все услышали цокот конских копыт. Солдаты полковника Хила скакали к лагерю.

– Уходите, ребята, – предупредил Оливарес. – Это солдаты. Не проливайте кровь.

Но никто его не слушал.

– Приготовиться к бою! – скомандовал черноглазый анархист.

Его товарищи тотчас рассыпались в круг и залегли. Фани заметила, что карабины у них автоматические. Эредиа и все, кто хотел его спасти, остались в середине этого круга. Один из анархистов достал из машины гранаты, роздал их товарищам и залег, направив свой карабин на окруженных. Он приказал им не двигаться с места. Фани поняла, что его угроза относится главным образом к Оливаресу и брату Доминго, который уже пришел в себя. Все застыли на своих местах и не шевелились. Фани не отпускала Эредиа, конвульсивно сжимая его плечи, а старые кармелитки и Кармен вцепились в его рясу. Монах старался высвободиться, точно эта защита женщин его унижала. Но Фани не обращала на это внимание, потому что хотела своим телом прикрыть его от пуль, если бы человек с карабином, лежавший позади них, стал стрелять, и потому что в ее самопожертвовании под дулами, среди опасностей этой зловещей испанской ночи было что-то причинявшее ей сладостную боль.

Кавалеристы полковника Хила, подскакав к группе, спешились и цепью пошли на нее. Перед цепью с саблей наголо и пистолетом в руке шагал высокий офицер.

– Кто вы? – тихо спросил вожак анархистов.

– Поручик Росабланка, – ответил офицер, – двоюродный брат маркиза.

Фани подумала, что, если бы такая драма в подобной обстановке развертывалась в другой стране, все было бы кончено сразу, с молниеносной и немой жестокостью. Анархисты могли несколькими меткими залпами покончить с солдатами полковника Хила, но они этого не сделали. Они не хотели стрелять, потому что знали, что солдаты ответят им, и тогда пули могут поразить женщин.

– Осторожно, сеньор! – крикнул вожак анархистов офицеру. – Здесь женщины!

– Тогда отведите женщин в сторону! – спокойно ответил офицер, точно речь шла об условиях обычной дуэли.

– Всем отойти! – обратился анархист к окруженным. – За исключением отца Эредиа.

Фани видела, как проявили себя сильные и слабые натуры: Оливарес, Мюрье, Робинзон, Кармен и она сама не тронулись с места. Брат Доминго и кармелитки тоже не шелохнулись. Малодушный брат Гонсало сделал было несколько шагов, чтобы спасти свое тело, погубив душу, но тут же вернулся и покаянно перекрестился. Долорес и испанские шоферы один за другим отделились от группы.

– Отойдите прочь! – еще раз приказал анархист. Наступило затишье. Анархисты терпеливо ждали, хотя это ожидание было отнюдь не в их пользу, потому что солдаты Росабланки, не теряя времени, окружили группу и занимали удобные позиции. И еще раз Фани увидела, как в этих оборванных рабочих из Бильбао, горевших местью к королевской и императорской Испании, проявилось рыцарство презираемого аристократами голого и бедного испанского народа.

Внезапно Фани услышала голос Эредиа:

– Оливарес!.. Уведи монахинь и останься с ними!

– Я не могу тебя бросить, отец! – тихо сказал Оливарес.

– Я тебе приказываю! – громко повторил иезуит. -

Именем ордена!

И тогда Фани поняла, что Эредиа, хотя он и очень молод, стоит на более высокой ступени в иерархии ордена, так что профессор схоластики должен ему подчиняться, а увидела, как эта иерархия, вековая и неумолимая дисциплина ордена, победила дружбу и готовность к самопожертвованию. Оливарес подхватил монахинь и, не обращая внимания на их вопли, повел их в сторону. И не вернулся, потому что так приказал его начальник и потому что, наверное, он был необходим Христову воинству для других целей.

– Доминго и Гонсало!.. – гремел голос Эредиа. – Миссис Хорн!

Братья выполнили приказ.

– Мюрье, Кармен, Робинзон! – крикнула Фани. – Отойдите!

– И ты начала командовать? – спросил Мюрье со смехом, а Фани показалось страшным, что он может смеяться в такой момент.

– Робинзон, Кармен! – повторила она резко.

После недолгих колебаний Робинзон отошел. Девушка из Чамбери не тронулась с места.

– Отойдите и вы, сеньора! – сказал поручик Росабланка.

– Не отойду! – заявила Фани смело. – Я – англичанка, а этот господин – француз. Никто не имеет права нас тронуть.

Опять наступило неопределенное молчание, и в эти минуты Фани осознала, что значит быть британской подданной. Ее слова, видимо, произвели глубокое впечатление как на анархистов, так и на офицера. Попробуй оттащи силой – а иначе как ее оттащишь – иностранную подданную, и уж совсем невозможно оставлять ее под пулями, хотя бы и предназначенными для другого.

– Говорите, никто? – насмешливо спросил вожак анархистов. – Сеньора, мне кажется, вы злоупотребляете испанским терпением.

Он был совершенно прав. Фани опять подумала, что эти переговоры, несмотря на уважение противников к ее британскому подданству, могли тянуться так только в Испании. Вместе с тем она ясно видела, что анархисты, как и Росабланка, не очень-то склонны считаться с британским авторитетом. Казалось, всеми ими овладела какая-то мрачная решимость, и только рыцарство по отношению к женщинам еще удерживало их от действий.

Что-то необычайное происходило этой ночью, что-то драматическое и жестокое, но торжественное, и это сказывалось равно в словах анархиста, иезуита и поручика Росабланки. Даже внешний вид офицера – Фани только сейчас заметила это – был необычайным и торжественным для такого позднего часа и для такой обстановки. Он был в небесно-голубом мундире, высоком парадном гусарском шлеме, на котором развевалась грива. Через плечо у него был перевязан шелковый шарф, свисавший до колен, желтого цвета – одного из цветов испанской империи, которая владела Южной Америкой, Кубой и Филиппинами, – а на груди сверкал усыпанный бриллиантами орден Изабеллы. Он выглядел как человек, который возвращается с бала или со званого ужина, может быть с того самого, с которого вернулись страстная донья Инес и Мюрье. Но неужели он еще не успел переодеться? А может быть, он явился с бриджа или покера, затянувшегося до рассвета? Но тут ей пришло в голову, что аристократы одевались так с незапамятных времен, уходя на войну или на дуэль, что, может быть, эта традиция все еще держится в полку, где служит Росабланка, и что сейчас шелковый шарф и орден Изабеллы означает торжественное – в Испании все мрачно и торжественно – провозглашение войны, революции или бог его знает чего еще. Оказавшись между двумя враждебными лагерями, Фани воочию наблюдала вечную драму этой страны. С одной стороны были голодные рабочие с фабрик Бильбао, вооруженные современными автоматами, с другой – наваррский взвод заклятых роялистов, ведомых аристократом Росабланкой и вооруженных старинным оружием времен кубинской войны. И Фани стояла между этими людьми, которые только и ждали, когда она отойдет, чтобы броситься друг на друга. Да, она действительно злоупотребляла терпением испанцев. И это терпение иссякло сначала у аристократа Роса-бланки.

– Ребята!.. – гаркнул он торжественно и властно, взмахнув обнаженной саблей. – Именем нового правительства я вас арестую!

И тогда Фани поняла, что этой ночью в Пенья-Ронде вспыхнул роялистский бунт, но это ее ничуть не взволновало, потому что сейчас она думала только о том, как спасти Эредиа. Может быть, Росабланка рассчитывал на численное превосходство своего взвода наваррцев, или на то, что анархисты, зажатые тем временем в кольцо, сдадутся, иди, наконец, он был до такой степени упоен миражем реставрации монархии, что забыл всякую осторожность и не сознавал, что делает. Реакция анархистов последовала мгновенно. Автоматы зловеще затрещали, а потом два раза прогремели старые винтовки наваррцев. Росабланка выронил саблю, голова его, увенчанная гусарским шлемом, упала на грудь, а потом весь он стал медленно клониться и, как подрубленный тополь, рухнул на землю. Фани увидела, как шарф императорской Испании скользнул в пыль, а бриллианты на ордене Изабеллы холодно и жестоко блеснули в лунном свете. На голубом мундире во многих местах проступили темные кровяные пятна.

Вожак анархистов тоже был сражен. Пока он лежал на животе, прижимая к себе автомат, его чахоточную грудь сдавило, и он непрестанно кашлял и харкал; поэтому, чтобы вести переговоры, он приподнялся на локтях и оказался удобной мишенью для солдат. Две меткие пули, выпущенные искусными наваррскими стрелками, ударили без промаха. Было убито и несколько наваррских гусар, чьи деды и прадеды в прошлом веке так же славно умирали за дона Карлоса и дона Альфонса, неуемных претендентов на испанский престол.

– Сержант Ибаньес!.. – громко крикнул монах. – Не стреляйте больше!

Снова наступило молчание, напряженней и страшней прежнего, потому что теперь кругом валялись трупы. Из слов монаха всем стало ясно, что он участвует в заговоре роялистов. Он даже знал по именам сержантов мятежного наваррского полка.

– Эй, сержант, и ты с кровопийцами? – спросил один из анархистов.

– Я за бога и за Испанию, – ответил сержант Ибаньес, и гортанная речь выдала в нем арагонца.

Самого сержанта не было видно – он залег где-то среди своих солдат, но слова его означали, что он не роялист, а только ревностный католик – ведь ответил-то он: «за бога и за Испанию», а не за бога, короля и Испанию.

– Братья! – снова прозвучал сильный голос иезуита. Теперь монах обращался к анархистам. – Отведите меня куда вам угодно, но пощадите жизнь этих иностранцев. – А потом к Ибаньесу: – Сержант, возвращайтесь в казармы и ждите там распоряжений полковника Хила!

Фани и Кармен еще крепче впились в плечи монаха. Никакая земная сила не оторвала бы их от него, а тем более этого не могли сделать солдаты или анархисты, потому что все они лежали, прижавшись к земле, и ни один из них не смел двинуться с места. Иезуит делал отчаянные усилия высвободиться из рук женщин и не подвергать больше опасности их жизнь. Но у Кармен были мускулы пантеры, да и Фани ей не уступала. И все его усилия пропадали впустую. Мюрье попытался было ему помочь, но Фани оттолкнула его и крикнула:

– Убирайся, Жак!

Но Мюрье не отошел и не оставил ее, а лишь засмеялся горько, и Фани опять показалось странным, что он может смеяться в такую минуту. И ей пришло в голову, что таков его характер, что он не страдает, не радуется, не испытывает страха, не в состоянии волноваться из-за чего бы то ни было, что ему просто все до смерти надоело – и любовь доньи Инес, и вакцина Эредиа, и схоластика Оливареса, и ужины у роялистов, и анархисты, и Росабланка, и всеобщее безумие этой ночи. Потому он так и смеялся, что все казались ему безумцами, и он не сознавал, что здесь, в лагере, его поразило самое страшное безумие в мире – равнодушие ко всему и в то же время желание глумиться надо всем. Но может быть, именно поэтому теперь его мозг работал трезво и он увидел возможность спасти Эредиа, не замеченную другими.

– Испанцы! – крикнул он сердито, точно ругал непослушных детей. – Вы в лагере для больных сыпным тифом. Здесь больше двухсот больных. Отец Эредиа и я – единственные врачи, а женщины, которых вы видите, – единственные сестры… Чего вы хотите? Чтобы все больные разбежались? Чтобы некому было их собрать? Чтобы во всей округе вспыхнул сыпной тиф? Вы этого хотите?… Где ваш разум, испанцы?… Разрешите монаху и нам уйти, а потом деритесь друг с другом, сколько вам угодно!..

– Ладно, иностранец, – ответил один из анархистов, тот, что взял на себя роль вожака. – Забирай попа и женщин. А мы будем драться, потому что нам так нравится.

Понял?

Все, за исключением Мюрье, почувствовали пронизывающую иронию этих слов.

– Вынесите раненых! – приказал монах. А потом обратился к сержанту. – Ибаньес, вернитесь в казарму!

– Не могу, отец, – ответил сержант. – Я получил приказ от дона Бартоломео арестовать этих ребят.

– Скорей, монах, скорей! – нетерпеливо сказал анархист. – Удирай с иностранцами и займись больными.

Монахи и шоферы стали переносить раненых в одну из палаток на противоположном конце лагеря. В палатке Мюрье занялся умирающим анархистом, а Эредиа склонился над поручиком Росабланкой. И анархист и офицер еще показывали признаки жизни, но агония уже началась, руки их холодели. Живот и грудь Росабланки были продырявлены, как решето. На миг под действием уколов он пришел в сознание. Отец Оливарес поднес ему распятие, и офицер поцеловал его. А потом, думая, наверно, что он окружен своими солдатами, выговорил хрипло:

– Солдаты!.. За бога, за короля и Испанию!

Пальцы его скрючились, лицо застыло.

А в это время Фани видела, как умирал анархист. Он был ранен в легкие и живот и съежился, как лопнувший мех. Изо рта у него текла кровь, на желтом туберкулезном лице выступил холодный пот. Он тоже пришел в сознание от уколов, но отказался поцеловать распятие Оливареса. Вдруг веки его приподнялись, на лице появилась улыбка. Его товарищи на другом конце лагеря запели. Это была протяжная и печальная русская песня, в ней говорилось о Волге, о свободе и о смерти, они пели ее по-испански, и, наверное, то была их боевая песня, потому она и вызвала улыбку на лице умирающего.

– Viva!.. Viva la libertad!..49– прошептал он.

Когда он умер, на лице его застыло такое выражение, точно он знал, зачем жил и умер, хотя то, ради чего он жил и умер, могло быть реальностью, но могло быть и миражем.

Умерли и двое наваррцев, но они были не в силах ни поцеловать распятие, ни повторить слова своего начальника – смерть их задушила сразу. А третий, тяжело раненный, спросил Эредиа:

– Отец, с кем гражданская гвардия?

– Не знаю, брат, сдается мне, что она будет против нас.

Профессор схоластики стал закрывать глаза убитым и складывать им руки на груди, чтобы придать им обычную позу мертвецов, но он не успел закрыть глаза всем, потому что на другом конце лагеря затрещали выстрелы, послышались разрывы гранат. Все повалились на землю, чтобы спастись от шальных пуль, засвистевших вокруг палатки. Фани была рядом с Мюрье, и, так как ее била дрожь – чувство страха проснулось в ней лишь тогда, когда они очутились в безопасности, – она инстинктивно ухватилась за его руку. В сплошном треске ружейной стрельбы и разрывов гранат громыхнули два сильных взрыва, я тотчас желто-красный свет залил лагерь, словно зарево пожара.

– Что это? – спросила она и задрожала сильней.

– Огнемет, – ответил Мюрье. – Солдаты притащили с собой огнемет… Боюсь, как бы они не подожгли палатку с медикаментами.

Зарево погасло, но последовали новые глухие взрывы и новые вспышки. Вскоре живые отсветы пламени слились в равномерное трепещущее сияние, запахло гарью, а выстрелы стали реже, пока наконец не прекратились совсем. Бой продолжался всего несколько минут. Эредиа и Мюрье поднялись первыми и, схватив медицинские сумки, бросились к месту боя. Остальные последовали за ними с носилками. Весь лагерь был окутан густыми облаками черного дыма, сквозь которые просвечивал медно-красный диск луны. И тогда все увидели, что в самом лагере произошло нечто еще более страшное и непредвиденное. Больные повыскакивали из своих палаток и в панике бегали по лагерю, а многие уже, вероятно, разбежались по окрестностям, разнося эпидемию. Те, у кого была высокая температура и нервное расстройство, метались, падали, бредили и с искаженными от ужаса лицами дико вопили или хохотали. По приказу Эредиа Оливарес, Гонсало и Доминго с монахинями кинулись ловить и загонять в палатки больных, а Фани и шоферы с носилками отправились дальше. Но загнать больных, особенно тех, кто бредил и ничего не понимал, было нелегко. Даже те, кто не потерял рассудка, настолько обезумели от дыма, выстрелов и вспышек, что ничто не могло привести их в чувство. Началась погоня, бессмысленная беготня между палатками, причем преследуемые и преследователи то и дело натыкались на носилки и мешали Эредиа и его спутникам продвигаться вперед. Энергичный и смекалистый брат Доминго бил обезумевших кулаками, валил на землю, а потом тащил по двое и забрасывал в палатки. Разумеется, при этом больные, страдавшие сердечной слабостью, могли умереть, и все-таки было лучше, чтоб они умерли, чем чтобы сбежали и разносили эпидемию за пределами лагеря. Брат Гонсало и здесь показал убожество духа: вой больных приводил его в ужас, все происходящее напоминало ему картину второго пришествия, и, не в силах совладать со своими нервами, он бегал, стуча зубами, в большем страхе, чем те, кого он ловил.

Отец Эредиа, Мюрье, Фани и шоферы добрались наконец до места боя и увидели трупы и много раненых, которые валялись в лужах крови и стонали. Под лунным светом кровь казалась черной, а широко раскрытые глаза убитых таинственно светились. Палатка с медикаментами горела, но без пламени, из нее выползали только густые клубы дыма. Они споткнулись о трупы солдат, разорванных гранатами, а дальше, где лежали анархисты, увидели человеческие тела, которые были облиты горючей смесью из огнемета – единственного современного оружия поручика Росабланки – и горели. Горело человечье мясо и человечья одежда. А самым ужасным, самым неописуемым было то, что одно из этих подожженных тел металось и корчилось. Эредиа и Мюрье тотчас сорвали полотнище со входа в соседнюю палатку, закатали в него тело несчастного и так погасили жестокий огонь. Когда они развернули страдальца, его руки и ноги были похожи на обгорелые головни, а голова представляла собой ужасный раздутый шар, в котором не было ничего человеческого. Но этот шар, – увидела Фани с ужасом, – этот шар все еще оставался головой живого человека, в которой не совсем угасло сознание, ибо она продолжала стонать…

От внезапной слабости у Фани подкосились ноги. Все вокруг завертелось. Она почувствовала, что теряет сознание и падает. Сотрясение от удара о землю на миг привело ее в себя, и тут она почувствовала, что попала рукой во что-то студенистое и липкое – в кровь убитого солдата.

Когда она пришла в чувство, возле нее был Мюрье.

– Ну?… – прошептал он. – Теперь ты сыта Испанией?

Фани осталась лежать в палатке в полном изнеможении после пережитого ужаса, а Эредиа и Мюрье ушли оперировать и перевязывать раненых. Все анархисты были убиты (обгоревший умер на рассвете), но и взвод наваррцев понес потери, которые не оправдывали его подвиг.

Она начала рассуждать. В глазах ее все еще стояла ужасная гекатомба, свидетелем которой она только что была. Она старалась открыть какой-то смысл в происшедшем, что-нибудь способное хотя бы после революции принести лучшие дни этой несчастной и вечно бунтующей стране. Все выводы, к которым она приходила, были абсурдными. Роялисты и фалангисты хотят свергнуть республику. Зачем?… Кто может избавить Испанию от несчастий? Король, аристократы, фалангисты, иезуиты? Но они, в сущности, хотят вернуть мракобесие и фанатизм и потому вызовут новую, еще более страшную революцию!.. Как запутанно, как ужасно непонятно все это! Она продолжала размышлять, упрямо допытываться, потому что все пережитое ею в эту ночь было неописуемо и страшно, потому что только дикари и животные принимают ужас и страдания, не задумываясь, не спрашивая, откуда они идут. И когда восток уже алел, когда вставала заря кровавого дня и со стороны Пенья-Ронды долетели отзвуки выстрелов начавшейся гражданской войны – вероятно, там сражались, – Фани наконец поняла причину всего этого, дошла до истины, простой истины, которую ни ученый-археолог Мериме, ни Дюма, ни Готье, ни Моклер, ни все дипломаты и праздные зеваки, ни пошлые певцы-романтики и тонкие стилисты, объезжавшие Испанию, как ярмарку, не видели или видели, но сознательно скрывали. А истина заключалась в том, что в основе всех кровавых испанских революций лежал конфликт самой жизни, безумие, с каким эгоизм и человеческая жадность разделяли людей на сытых и голодных, на меньшинство, которое имело в изобилии все, и на большинство, которое не имело ничего; что в Испании сытые более сыты, а голодные более голодны, чем где бы то ни было, и что, наконец, во время революций голодные атакуют тем яростнее, чем они голоднее, а сытые подавляют их тем беспощаднее, чем яснее видят, что под натиском их голода они могут потерять свои богатства. Да, вот в чем истина!.. А все остальное, что Фани видела в эту ночь, над чем ломали голову романтики, зеваки и писатели и что называли загадкой испанского характера, – то, как погибали анархисты, наваррцы и поручик Росабланка, – проистекало из отчаянной решимости обеих сторон, горячей крови и солнца, но не было первопричиной всех исступлений. Первопричина их – голод, потому что сытые не желают поступаться своим спокойствием и идут на это, лишь когда им угрожают или когда они хотят вернуть себе свои привилегии.

Но где место Эредиа в этой начавшейся резне? Не ставит ли его на сторону сытых его безумная мечта о католической империи, его фанатизм и подрывные действия его ордена? Сознает ли он, что заблуждается? Или он лицемер? Фани почувствовала, что в любом случае что-то надломилось в ее любви, что-то исчезло из загадочного образа Эредиа, что-то бросило тень на его личность. Может быть, он – мрачный призрак прошлого, который сгорит в пламени гражданской войны? И она почувствовала внезапно, что во всем том, что произошло этой ночью, есть какой-то смысл, что жизнь развивается по непреложным законам, что из разрушения и смерти старого, из боли и страданий рождается новый мир…

На другой день Фани проснулась поздно, потому что на рассвете приняла снотворное брата Гонсало. Голова была тяжелой, веки набрякли. Кармен принесла завтрак. Фани выпила кофе, не притронувшись к сухарям, потом велела девушке откинуть полотнище у входа в палатку. Перед ее глазами блеснуло неизменное синее испанское небо с огненным солнцем, которое немилосердно палило.

– Ужасная была ночь, сеньора… – промолвила Кармен.

– Да, ужасная, – подтвердила Фани машинально. Она еще не пришла в себя после люминала. – Ты не боишься оставаться здесь?

– Нет, не боюсь, сеньора! – ответила девушка.

В голосе ее прозвучало что-то от ночных голосов – особая, мрачная решимость, которая с этих пор будет слышаться Фани во всех испанских голосах.

– Кармен! – сказала Фани немного погодя. – Это тебе!

Она подала ей несколько крупных банкнотов – сумму, достаточную для того, чтобы простая девушка и рабочий парень могли создать семейный очаг где-нибудь в предместьях Бильбао. Девушка взглянула на нее смущенно.

– Возьми!.. Эти деньги пригодятся тебе, когда ты выйдешь замуж.

– Я не выйду замуж, сеньора!

– Как так?

– Сейчас девушке очень трудно решиться на это.

– Почему?

– Потому что настали плохие времена.

– Не хватает денег?

– Нет. Когда есть работа, мужчины зарабатывают достаточно.

– Что же тогда?… К тебе никто не сватался?

Кармен улыбнулась горько.

– Был один парень в Чамартине, который сватался ко мне. Он работал на ткацкой фабрике. Все думали, что мы поженимся. И я его любила, но отказала…

– Почему?

– Потому что он анархист.

– Ну и что из того?

– О, сеньора… я не могла решиться. Однажды он мне сказал…

Кармен умолкла, точно то, что она хотела сообщить, вдруг всколыхнуло в ней тоску, стыд и негодование.

– Он мне часто рассказывал про свои идеи… очень чудные… а то и страшные… Однажды он мне сказал, – продолжала она приглушенным, негодующим голосом, – что если мы поженимся и я заведу другого… и даже если у меня будут дети от этого другого, он меня не убьет… потому что… такие уж новые идеи.

– О, это он перехватил, – сочувственно отозвалась Фани. – Очевидно, он пошутил!.. А что было потом?

– С тех пор мы не виделись, сеньора.

– А ты знаешь, где он теперь?

– Думаю, где-нибудь на ткацкой фабрике, в Бехаре… или Бильбао. Не знаю.

– Как его зовут?

– Хиасинто.

– Хорошо. Возьми эти деньги. Они тебе пригодятся, когда ты выйдешь замуж за Хиасинто.

Но вместо радости это имя вызвало у девушки слезы.

– Сеньора… Может быть, и его убили прошлой ночью, как собаку… и перед смертью он не захотел поцеловать распятие.

«О!.. – подумала Фани. – Ты жалеешь его потому, что он не поцеловал распятия?» И она чуть не рассмеялась, но вдруг вспомнила, как погибали анархисты в эту страшную ночь и как они пели о свободе, прежде чем сгореть заживо. А может быть, и Хиасинто сейчас лежит мертвый на мостовой где-нибудь в Бильбао или его труп бросили в яму.

Фани насильно сунула деньги в руку девушке. Кармен не умела выражать свои чувства в словах, рассыпаться в благодарностях. Она была молчалива и сдержанна. В знак признательности она только опустила глаза и положила деньги за пазуху в полотняный мешочек, который висел на бечевке и куда она каждый месяц складывала свое жалованье, полученное за честный муравьиный труд.

Фани вышла из палатки и отправилась разыскивать Мюрье. Проходя через лагерь, она заметила, что некоторые палатки, накануне вечером полные больных, теперь пустовали. Только агонизирующие да те, кого брат Доминго поймал и бросил в палатки, лежали на своих койках.

Она нашла Мюрье у Оливареса и Эредиа. Они втроем обсуждали, каким образом вернуть сбежавших больных. Глаза монахов лихорадочно горели в предчувствии новых событий, а Мюрье показался ей хмурым и сварливым. Фани подошла к ним. Эредиа пожал ей руку.

– Спасибо, миссис Хорн!.. Вы спасли мне жизнь. Вы храбрая женщина.

Он сказал только это. Разве мог он сейчас почувствовать или сказать что-то еще?… Он был опьянен успехом заговора, победой роялистов. Он думал о доне Луисе де Ковадонге, о восстановлении монархии, о могуществе своего ордена и католической империи, о боге… Да, бог, бог превыше всего!.. Но Фани уже знала, что во славу этого ненасытного и жестокого католического бога в это утро по всей Испании валялись тысячи трупов и безводная земля жадно впивала потоки горячей человеческой крови.

**VII**

Драма в Пенья-Ронде завершилась массовыми расстрелами республиканцев – преимущественно анархистов и коммунистов, которые и под дулами винтовок отказывались признать новую власть и называли дона Бартоломео Хила сукиным сыном и кровопийцей. Но погибло также и много аристократов – кто в сражениях, а кто в собственном поместье от руки неимущих крестьян, которые, несмотря на щедрость дона Луиса де Ковадонги, оставались ярыми республиканцами, потому что новая власть начала раздавать им землю. Иные аристократы сами лишили себя жизни в своих поместьях либо из малодушия, либо из гордости – чтобы их не коснулись грязные руки простолюдинов. Фани пришло в голову, что, наверное, пострадала и страстная донья Инес с профилем Тициановой мадонны или что, может быть, события очень жестоко наказали ее, вынудив подчиняться плебеям. Погибло также и много бедных сельских священников – грозный гнев голодных бушевал стихийно и слепо, – священников, которые служили литургию на латыни, едва понимая ее или вовсе не понимая, подобно своей пастве, которая слушала их литургию, тоже ничего не понимая. Эти священники – Фани видела их, когда они приходили в больницу из далеких горных селений, – крестились при упоминании имени короля; они были истощены, одеты в грязные, засаленные рясы и ели только два раза в день черствый хлеб с вонючей козьей брынзой, так как получали мизерное жалованье, а церковные доходы с незапамятных времен текли в бездонные кассы архиепископов и кардиналов. Погибали и монахи из древних орденов искупления, целью которых было умерщвлять свою плоть трудом, бедностью и лишениями и таким образом возвышать свой дух. Монахи, которые были истинными слугами Христа, которые поддерживали свои силы только хлебом, вареными бобами и водой, которые ходили с непокрытой головой и босиком, в рясах из козьей шерсти, язвивших тело, монахи, которые спали в своих монастырях на голых гранитных плитах, молились с полуночи до восхода солпца, а потом вскидывали на плечо лопату и шли работать на ниве какого-нибудь бедняка или ухаживать за больными в душных сельских хижинах, куда никогда не заходил врач. Это были беззащитные глубоко верующие души, они встречали пули народного гнева с удивлением и кротостью. Погибали и монахи-августинцы, которые не приносили никакой пользы, а только вред, возбуждая зависть и озлобляя народ своей вольготной жизнью. Эти монахи жили преимущественно в благословенной богом Андалусии, в мраморных монастырях, среди пальм, апельсиновых деревьев и олеандров, носили широкие белые рясы, которые ласкали тело, и деревянные сандалии, которые в жару приятно холодили ноги. Это были истые аристократы мысли и спокойствия, они располагали громадными библиотеками, говорили друг с другом по-латыни, читали и писали философские сочинения тоже на латыни, наслаждались бытием, мыслью паря на вершинах схоластики, ублажали чрево обильной пищей и созерцали бога среди комфорта и тишины, так же, как американские туристы рассматривали соборы в Толедо после роскошного обеда в первоклассном ресторане. Погибали и иезуиты из Христова воинства, ордена не столь древнего, как другие католические ордены, потому что его история насчитывала всего пять веков, в течение которых он прославился своей энергией, упорством, кострами для язычников и еретиков, святой инквизицией, а больше всего тем, что вмешивался во все земные дела, связанные со свержением и возведением на престол королей. И наконец, погиб епископ Пенья-Ронды, который немного поспешил отслужить молебен за монархию, – прежде, чем наваррцы дона Бартоломео расправились со всеми сомнительными элементами. Какая-то молодая испанка выстрелила в епископа из револьвера, так что пуля угодила в его широкую и жирную спину, покрытую бархатом и кружевами. После этого дон Бартоломео снова принялся убивать. Аристократ дон Бартоломео Хил де Сарате истреблял плебеев так усердно и так методически, во имя господа бога и короля, что даже фалангисты – новейший образец испанских националистов – испугались и попросили человека, руководившего мятежом против республики, его сместить. Но этот человек не внял их просьбе, потому что дон Бартоломео, фанатичный головорез, пострашнее самого Писарро, был незаменим.

Между тем с гор Леона и Наварры стали стекаться добровольцы с иконами, крестами и кусочками святых мощей, бродяги и бездельники, исступленно верующие голодранцы – и кюре всех кропили святой водой. Среди них были престарелые ветераны карлистской войны, приверженцы дона Карлоса или дона Альфонса из прошлого века, старцы, которые с трудом передвигали ноги, но надели патронташи, вооружились старинными пистолетами и пришли просто так, ради славы, ради того, чтобы пережить еще раз пылкие чувства своей молодости, чтобы вдохновить своих сыновей на битву за короля. А толпа восторженно приветствовала их, носила на руках и дико ревела: «Да здравствует дон Луис де Ковадонга, да здравствует король!» Фалангисты же посмеивались издевательски, потому что они твердо решили не допускать подобной напасти на испанский престол. С гор спускались и буйные арагонцы, одетые в шаровары, расшитые безрукавки и белые шерстяные плащи. И они были обвешаны патронташами, кинжалами, старыми ружьями и пистолетами времен кубинской войны. Многие несли с собой мехи и фляги с искрящимся белым вином, несли и гитары, так что на ходу составлялись целые оркестры и под их музыку Красивые девушки танцевали хоту, болеро и фанданго. Это были богатые арагонские скотоводы, владельцы бесчисленных отар, бродивших в горах, люди независимые и своенравные, ни аристократы, пи плебеи, беспокойный элемент и вечная забота центральной власти еще со времен Фердинанда и Изабеллы. По старому арагонскому обычаю, они вели с собой своих батраков, пастухов и слуг, тоже вооруженных до зубов. Эти буйные, заносчивые люди спускались с гор, сами не зная зачем, просто так, потому что кровь у них кипела, а аристократы с равнины умели этим пользоваться, потому что предчувствовали драку, в которой без них не обойдутся. Все эти нестройные толпы проходили по шоссе мимо лагеря, держа путь к Пенья-Ронде, где кюре обращались к ним с огненными речами, а офицеры распределяли их по полкам и батальонам и снабжали более современным оружием. Иногда Фани видела явные признаки надвигающихся событий. Все чаще от этих ликующих толп отделялись люди, сломленные болезнью: у них внезапно начинался жар, они бредили или теряли сознание от сердечной слабости, а на животе высыпали красные пятна – то был сыпной тиф испанской гражданской войны, который скоро должен был разрастись, как средневековая чума. А пока все это происходило, правительственное радио повторяло, что попытка мятежников взять власть в Мадриде, Толедо и Барселоне потерпела крах, что все заговорщики перебиты, что в Бильбао и Барселоне формируются рабочие полки и что не весь флот и не вся армия на стороне человека, который руководит мятежом и наступает с марокканцами в Андалусии.

Однако каждый день приносил новые вести, и становилось все яснее, что мятежу сопутствует удача. Аристократы, церковники, крупные и мелкие собственники и все набожные бедняки сияли от счастья. Маркиз Досфуэнтес давал в своем имении парадные ужины и даже устроил пиршество для народа, на котором крестьяне, по старинному обычаю, зажарили вола и вдосталь пили вино из господских бочек. Отец Оливарес доказывал Фани и Мюрье с неопровержимой логикой, что теперь коммунистическая опасность во всем мире будет ликвидирована навсегда. Брат Гонсало ночи напролет проводил в часовне и в своих горячих молитвах просил бога помочь мятежникам.

Только отец Эредиа оставался молчаливым и серьезным, словно в этих событиях было что-то развивавшееся не так, как он предполагал. Может быть, подобно многим другим, он воображал, что все свершится молниеносно, как пронунциаменто в какой-нибудь южноамериканской республике, где дело ограничивается бегством президента и арестом нескольких генералов. Может быть, он думал, что армия и флот, действуя под командой аристократов и захватив власть, тотчас посадят на престол графа Ковадонгу. Но Фани знала, что монах не настолько глуп и не настолько неосведомлен, чтобы думать так. Может быть, он видел, что борьба будет упорной, жестокой и продолжительной, что она унесет множество жертв, но вряд ли он предполагал, что эта борьба и эти жертвы обозначатся сразу же в таких чудовищных размерах. Всякий раз как Мюрье уходил в Пенья-Ронду, в имение маркиза Досфуэнтеса или к донье Инес, он возвращался с новостями, говорившими о серьезности положения. Русские, французские, итальянские и немецкие суда бросали якоря у пристаней Испании и разгружали тысячи тонн сокрушительного современного оружия. Если совесть мира хотела спасти республику, то мракобесие жаждало ее сокрушить. Фашистские государства посылали под видом добровольцев своих офицеров и солдат, чтобы испробовать на испанском пушечном мясе новое оружие. То, что готовилось, не было карлистской войной, когда несколько банкиров, романтичных бездельников и папа хотели спихнуть с престола дона Альфонса, чтобы посадить туда вместо него дона Карлоса; то была грозная прелюдия урагана убийств, который скоро должен был обрушиться на всю Европу, на весь мир.

Однажды воскресным утром Фани размышляла обо всем этом после литургии, которую отец Эредиа отслужил в церкви Пенья-Ронды. Она вернулась из городка раньше него и теперь отдыхала, сидя на стуле за своей палаткой и глядя на бесплодную степь. Вскоре явился и монах. Он слез с простой деревенской телеги и медленно пошел по степи. Он совершал эту одинокую прогулку всякий раз после литургии, точно здесь, среди раскаленных песков и пожелтевших колючек, заканчивал свою беседу с богом. Возвращаясь обратно, он заметил Фани и подошел к ней. В его высокой фигуре, медленном шаге, в заложенных за спину руках, сжимавших молитвенник, ей почудилась еще большая замкнутость, озабоченность и скорбь, чем в прежние дни. Он молча кивнул ей и сел на стул, который Фани вынесла ему из палатки. Его породистое, гладко выбритое лицо казалось усталым, изможденным. Фани сразу поняла, что монах расстроен новостями, которые узнал в городе, и теперь бессознательно ищет повод отвлечься от своих мыслей. Может, это были те редкие в его аскетической жизни минуты, когда присутствие Фани, светской женщины, было ему приятно, минуты, когда он смутно ощущал потребность в том, что так фанатично и так жестоко от себя оттолкнул. Теперь он казался слабым и уязвимым. После того как они обменялись несколькими незначительными фразами, Фани спросила его, не хочет ли он виски.

– Нет, – сказал он. – Я не люблю виски.

Он сказал «не люблю виски», и это означало, что он согласился бы выпить что-нибудь другое. Фани велела Робинзону принести коньяк. Эредиа выпил четыре рюмки подряд – невоздержанность, которую Фани заметила у него впервые. Потом он закурил сигарету, и его черные глаза мрачно устремились на нее. Она была в тонком белом халате с короткими рукавами. Несколько минут он курил, вперив взгляд в ее обнаженные руки, в упругие и зыбкие округлости ее груди, приподнимавшей халат. Потом вдруг отвел от нее глаза и засмотрелся на степь. Между бровей у него обозначилась складка горького раздумья. Не сознавал ли он, насколько непозволителен для него этот плотский соблазн, насколько глубока пропасть, отделявшая его от бренного мира, от наслаждений, от Фани? Дозволено ли вообще правилами ордена сидеть со светской женщиной за бутылкой коньяка? Но под влиянием физического и нравственного напряжения последних дней он поддался этой слабости, этому мгновенному влечению его девственной плоти к женщине, которая его любила. Но какой горечью, наверное, было приправлено даже это невинное удовольствие – смотреть на нее, зная, что он преступает правила ордена, что никогда не будет ею обладать, что другому дано наслаждение смотреть на нее так каждый день! И может быть, пока он об этом думал, сердце его, по законам любого сердца, сжималось от ревности. Да, в эту минуту – Фани была уверена – он желал ее и ревновал, это была мгновенная, чисто физическая любовь и чисто физическая ревность – порыв плоти, который он допустил вопреки своему обету, вопреки своей воле и разуму. Фани почувствовала глубокую, мстительную радость.

– Где Мюрье? – спросил он.

– Пошел в город… или к маркизу. Не знаю точно.

– Почему вы не ходите вместе с ним?

– Мюрье становится скучен в обществе. Я предпочитаю разговаривать с ним здесь, за рюмкой.

Эредиа улыбнулся снисходительно, точно хотел сказать: «Я знаю, что ваши палатки рядом и что когда-то вы были любовниками; может быть, в часы скуки вы и теперь занимаетесь этим. Но забавляйтесь как вам угодно, это ваше дело». – «А тебя это не интересует?» – злобно спросил ее взгляд. (Лет, ничуть», – ответил он тоже взглядом.

Выражение его лица опять стало спокойным и насмешливым, как в колледже Ареналес, как в день ее приезда сюда, когда он молча, одним взглядом проникал во все ее хитрости. Опять он спрятался в неуязвимую броню презрения к плоти и ко всем земным радостям.

– Мюрье – симпатичный человек, – сказал он равнодушно, как будто только для того, чтобы поддержать разговор. – Это бы заставили его приехать сюда?

– Да, я.

– Он поступил глупо.

– Так же, как и я?

– Еще неразумней. Вы по крайней мере женщина, а он – мужчина.

– Не все так бессердечны, как вы.

– Это, я полагаю, один из многочисленных эпитетов, относящихся ко мне?

– Есть и другие, о которых я предпочитаю умолчать.

– Они мне знакомы по черной легенде, – сказал он весело. – Иногда я готов признать их справедливость. Но я не настолько бессердечен, как вам кажется.

– Знаю… Время от времени вы позволяете себе такое беспутство, как беседу со мной.

– Именно!.. Вы были бы удивлены, если бы узнали, что по правилам ордена это и в самом деле беспутство.

– Тогда зачем вы это делаете?

– Может быть, ради ордена.

– Однако вы откровенничаете очень искусно!

– На то я и иезуит… – рассмеялся он добродушно, а потом вдруг заговорил серьезно, назидательным тоном: – Когда вы разговариваете со мной, не забывайте, что я – духовное лицо. Чувства, которые заставили вас приехать сюда – вас и доктора Мюрье, – не христианские, поэтому вы так рассуждаете. Мне не знакомы эти чувства. Я не имею о них никакого представления… Но, как духовное лицо, я должен их осудить, если вижу, что они ведут кого-то к гибели. Завтра лагерь превратится в ад. Завтра вши расползутся повсюду, и зараза может не пощадить никого. Я приму эту участь как христианин, но вы… вы и Мюрье?

– Разве только христиане могут встретить смерть спокойно? – спросила Фани.

– Да, только христиане, – фанатично подтвердил он. – А истинные христиане – те, кто жертвует собой, чтобы спасти других… я говорю других, но не одного! Вот сердцевина, нерушимая и вечная сущность христианства. Мы здесь, чтобы претворить ее в жизнь. А вы?… Что вас привело – любовь? Но любить только одного человека и забывать ради него других – для нас это эгоизм! Любовь – вы знаете, о каком чувстве я говорю, – это что-то сугубо личное, сугубо противоречащее монашеской этике, недопустимое для нас. Она – наслаждение, увлечение земной жизнью, страсть… и в этом смысле эгоизм!.. В тот вечер вы закрыли меня своим телом от пуль анархистов, но разве вы не хотели спасти меня только для самой себя? Разве вы сделали бы то же самое для кого-нибудь другого? Вот потому для меня такая любовь – эгоизм. Это, разумеется, наш, монашеский взгляд, он не должен вас смущать, он не касается ваших отношений с другими людьми. Мы придерживаемся его, чтобы лучше служить богу.

Он замолчал. Взгляды их опять встретились. Фани улыбнулась печально, беззлобно. Она поняла одно: между ними по-прежнему зияет пропасть и ничто не может ее заполнить. Но она поняла также, что и его тайно терзает сбивчивая логика его мысли, жестокое противоречие между аскетизмом и мгновенным чувством, которое овладело им незадолго до того. Ей пришло в голову, что, прежде чем достичь теперешнего положения в иерархии ордена, он прошел через все фазы иезуитского образования, которое развивает гибкость ума до предела. Он изучал философию, теологию и медицину, искусно владел приемами диспута, занимался в семинарах, но сейчас – расстроенный и угнетенный – вдруг завяз в туманных силлогизмах, в банальных объяснениях, которые могли вызвать у Фани только снисходительную жалость. Он был в смятении и, казалось, улавливал в самой действительности что-то такое, чего не мог постичь до конца ни разумом, ни чувством. И в наступившем молчании он, может быть, все еще думал о той ночи, когда она закрывала его своим телом от дул автоматов. Можно ли было назвать это эгоизмом… с любой точки зрения?

Он нервно тряхнул головой, точно хотел сбросить невидимый железный обруч, который ее сжимал. Фани подумала, что теперь он возьмет себя в руки и продолжит проповедь. Но Эредиа молчал. Лицо его осталось бледным и застывшим. Он по-прежнему сознавал бесплодность логики, с помощью которой хотел убедить ее в том, во что сам не верил до конца и выше чего не мог подняться. Казалось бы, та сила или та вековая иллюзия, что питала его фанатизм, что заставила его отказаться от света и наслаждений жизни, что стояла выше его разума и логики, могла бы мгновенно подавить его сомнения и вернуть ему прежнее спокойствие духа. Но напряжение последних дней с их кровавыми событиями и присутствие Фани начали разрушать эту иллюзию, которой он обычно подчинялся. Он чувствовал себя беспомощным и страдал… Да, страдал, может быть, не столько от пламени только что пережитого им чувства, от противоречий и сомнений, сколько от этого разрушения иллюзии, дававшей его жизни смысл. Он хотел скрыть это, но не сумел. В продолжение нескольких секунд, опьянивших Фани, глаза его говорили: «То, что ты думаешь и чувствуешь, верно, верно… но имеет значение только для нас двоих. Ты никогда не стала бы жертвовать своей жизнью для другого, и именно это говорит о силе твоей любви, а меня терзает и мучает… Может быть, и я люблю тебя так, может быть, и я предпочел бы пожертвовать своей жизнью за тебя, а не за другого, хоть и обманывая себя, будто я делаю это из христианских побуждений. Но это значило бы отступить от смысла и цели моей жизни. Это эгоизм… эгоизм с точки зрения моей логики, моих взглядов и моего чувства бога, которое ты не способна постичь».

И возможно, не будь он монахом, не запрещай ему религия признаваться в своих страстях, немыслимых, недопустимых у монаха, он нарушил бы молчание и сказал бы ей все это словами. Но Фани, читая в его глазах, ясно видела, как аскетическое безумие овладевает им снова. Еще раз он сурово отрекался от любви и от самого себя, чтобы еще полнее отдать свою жизнь ордену, католической церкви, тому жестокому богу, в которого он верил. В его самоотречении было какое-то закосневшее нравственное величие, Фани чувствовала его, но не могла принять, ибо оно отталкивало ее, ибо в ном было что-то жестокое и мрачное, что лишало его всякой ценности, глушило жизнь и убивало в ней всякую радость. Но каким бы ни было это безумие, оно поддерживало Эредиа. Кризис, пережитый им, пока он беседовал с Фани, удвоил его силы. Лицо его стало спокойным и ясным. Глаза опять смотрели фанатически, готовые испепелить любого, дерзнувшего встать на его пути к богу.

– Какому богу вы служите? – вдруг вспылила Фани, оскорбленная ненавистью в его взгляде. – Где этот бог? В траве, в насекомых, в сыпном тифе или в церкви Пенья-Ронды? Или, может быть, в вашем сердце и разуме?… Да разве у вас есть сердце? Нет… Вашего бога не существует!.. Ваш бог – холодная, бесчувственная, пагубная фикция разума, которая владеет вами потому, что у вас нет сердца, потому что она убила в вас все человеческое…

И, дав волю истерике, она осыпала его упреками, хулила бога, церковь, религию… Он пытался ее успокоить, но она яростно обрывала его и опять кричала, опять оскорбляла его. А когда он наконец не выдержал и ушел, она сразу успокоилась. Потом посмотрела ему вслед, в сожженную степь, в знойное синее небо и ощутила пустоту и отчаяние.

Республиканские и мятежные генералы перегруппировывали свои войска, вырабатывали свою стратегию.

По шоссе на Медина-дель-Кампо тянулись длинные колонны моторизованной артиллерии. Прибывали танковые батальоны, солдаты которых носили испанскую форму, но говорили по-итальянски или по-немецки. В синем небе проносились быстрые, как стрелы, истребители, плавно летели бомбардировщики. Республиканцы начинали ощущать нехватку современного оружия, и все же красные рабочие полки дрались упорно и постепенно брали в клещи мятежную область под командованием дона Бартоломео. Многие аристократы записались в армию, другие бежали за границу. Донья Инес тоже пыталась пробраться за границу, однако испугалась красных партизанских отрядов, действовавших в Пиренеях, и решила остаться в своем имении под охраной роты наваррских стрелков. Мюрье скоро насытился ее зрелыми прелестями и стал флиртовать с двумя благородными сеньоритами, которые из набожного усердия пытались работать в лагере для тифозных. Они даже решили постричься в монахини, потому что их женихи пали за бога и короля. Но зловоние в палатках и землисто-синие трупы привели их в ужас в первый же день. Их заменили девушки из народа, с большей твердостью смотревшие на смерть и на страдания.

А эпидемия разрасталась, охватывая все новые и новые деревни, становясь все более смертоносной и жестокой. Деревенские кюре убеждали прихожан, что господь бог наслал бич на красных, но простому народу было непонятно, почему тогда от тифа умирают и сами кюре. По подсчетам брата Доминго (он ходил по селам, не боясь коммунистов), в окрестностях Пенья-Ронды было не меньше полутора тысяч больных, которые лежали без ухода в темных хижинах на грязном вшивом тряпье. А в лагере было всего двести коек. Больных привозили в телегах, навьючивали на лошадей, их несли на руках родные или они приходили с помощью брата Доминго и валились на землю от слабости, как только достигали лагеря. Коек не хватало, и отец Эредиа велел размещать этих бедняг в палатках на соломе. Когда палатки были заполнены до отказа, иезуиты огородили часть поляны досками и, пока не были построены навесы, укладывали вновь прибывших прямо туда, под палящие лучи солнца. Среди больных были дети, беременные женщины, старики и молодые парни, которых сыпняк свалил по дороге в казарму. Одни бредили и кричали о какой-то непонятной правде, другие призывали Христа, богородицу и святых, третьи переносили мучения молча и умирали, стиснув зубы. В черных глазах людей светилось немое страдание, какое-то ужасное, трогательное примирение со смертью, точно все происходившее было неизбежным и естественным, какими с незапамятных времен были для этой страны войны, засуха и голод. А над лагерем, над этой кошарой, битком набитой больным человеческим стадом, пылало тропическое солнце, висело кошмарное свинцово-синее знойное марево и зловоние грязных тел, пота, лохмотьев, нищеты… Положение осложнилось, когда дон Бартоломео в припадке предусмотрительности реквизировал для своих войск все три машины, в которых вываривали одежду. Отцу Эредиа стоило большого труда уговорить его вернуть хотя бы одну машину.

А больные прибывали, и положение в лагере все ухудшалось. Многие продукты и самые необходимые медикаменты вздорожали или совсем исчезли с рынка – их припрятали набожные приверженцы дона Луиса де Ковадонги, которые и в роялистском упоении сохраняли холодный торгашеский рассудок. Запасы пищи и мыла в больнице быстро таяли. Уже не было никаких надежд на получение регулярной государственной субсидии от Института экспериментальной медицины и на материальную поддержку ордена. Хаос стал всеобщим. Добиться перевода денег было невозможно. Чтобы больные не голодали, Фани начала давать свои наличные деньги. Хуже всего было то, что продукты постепенно подходили к концу во всей округе. Дон Бартоломео, которого интересовали только военные проблемы, реквизировал все для своей армии, а бессовестные торговцы продавали муку и оливковое масло по баснословным ценам. Для служащих и бедноты начались черные месяцы голода. Среди больничного персонала обнаружились первые признаки деморализации. Двое шоферов заявили, что уходят сражаться за бога и короля, и под этим благочестивым предлогом покинули лагерь, хотя сами бежали к красным в Бильбао. Чтобы подтянуть дисциплину, отец Эредиа собрал персонал и призвал на изменников божий гнев и вечные муки ада. Смертность среди больных повысилась до такой степени, что могильщики не успевали зарывать мертвецов, и трупный смрад отравлял воздух.

О душах умерших иезуиты заботились так же усердно, как об их телах при жизни. Гонсало было поручено отпевать мертвецов только в будничные дни и вести самые точные списки с указанием, кто когда умер и когда надо отслужить по нему панихиду. Эти ежедневные отпевания и панихиды отнимали у Гонсало очень много ценного времени, которое он мог бы с большей пользой посвятить живым. Он необычайно гордился тем, что именно на него возложили эту ответственную функцию быть посредником между жизнью и вечностью. Отправляясь на отпевание, он, как ни старался, не мог удержать на своем лице выражения кротости и уничижения. Он проходил через лагерь в отрешенном молчании, медленной торжественной поступью кардинала, побрякивая кадилом так же самодовольно, как побрякивал саблей, отправляясь на бой быков, какой-нибудь сержант гражданской гвардии в Севилье. Эти погребальные церемонии совершались в степном овражке недалеко от лагеря, к концу дня, когда солнце заходило. Обычно мертвецов укладывали в длинный ряд, над которым вились густые рои золотисто-синих и зеленых мух, а после отпевания бросали без гробов в общую яму. Пока солнце погружалось в красный туман и степь заливало кровавым светом, брат Гонсало пел латинские молитвы и размахивал кадилом, устрашающе поглядывая на живых. Это были единственные часы, когда он, пребывая в экстазе, не боялся вшей и заразы.

Все попытки ограничить район эпидемии с помощью врачей, находящихся на государственной службе, и административных властей ни к чему не вели. В Пенья-Ронде был общинный врач. Его звали дон Эладио Родригес. Это был маленький костлявый человечек с козьей бородкой и многочисленными домочадцами, который постоянно ломал себе голову над тем, как бы их всех прокормить. Он часто приходил в лагерь – не столько затем, чтобы осведомиться о развитии эпидемии, сколько затем, чтобы лишний раз убедить отца Эредиа в том, что он никогда не был республиканцем, как, вероятно, утверждают его враги. В сущности, у него не было никаких врагов. Он просто был несчастным бедняком, как большинство людей с высшим образованием в Испании. Его единственная и кошмарная забота состояла в том, чтобы новый общинный совет его не уволил, так как дома его ждали двенадцать голодных ртов. Что до самой эпидемии, она его ничуть не волновала, он считал ее почти что сезонным явлением, вроде летнего поноса у грудных детей. Он глубокомысленно заявил Фани и Мюрье – как будто это было его открытием, – что всякая эпидемия доходит постепенно до своей кульминационной точки, после чего начинает сама по себе спадать. Поэтому, по мнению дона Эладио, надо уповать на этот закон и ждать спада. И в самом деле, неразбериха в административных органах вынуждала всех мириться с этой печальной необходимостью.

Но эпидемия все еще не достигла этой самой кульминационной точки и продолжала усиливаться. Тому способствовали все новые наборы в армию, передвижения войск, бедность, голод, невежество и полная невозможность принять санитарные меры. С огромным трудом старым кармелиткам удавалось очистить от вшей хотя бы выздоровевших, которые покидали лагерь. Из-за непрерывной работы дезинфекционная машина испортилась. Это было настоящей катастрофой. Машина так и осталась неисправной: городские слесари и механики были мобилизованы или бежали в Бильбао. Тогда Эредиа приказал вываривать одежду в котлах для приготовления пищи. Но этого было недостаточно даже для одежды персонала. Фани и Мюрье все чаще снимали вшей со своих халатов. Долорес, одна из кармелиток и двое оставшихся испанских шоферов заболели тифом. Так как их некому было замещать, на здоровых легла двойная нагрузка. Долорес выздоровела, но кармелитка, своей безоглядной самоотверженностью приносившая больнице большую пользу, и два испанских шофера умерли. Результаты лечения вакциной, после проверки их по законам вариационной статистики, оказались абсолютно отрицательными. Мюрье злобно усмехался и говорил отцу Оливаресу, что отныне, чтобы спастись от заражения сыпным тифом, он будет уповать исключительно на божью помощь.

В эти кошмарные дни, полные смертельной опасности, Фани продолжала усердно работать в палатках, испытывая злорадство и мрачное опьянение от своих душевных страданий. Каждый день наносил все новые, более сильные и жестокие удары по предприятию отца Эредиа. Больница, назначением которой было разнести славу ордена иезуитов и воинов Христа, незаметно превращалась в скопище грязной соломы, вшивых лохмотьев и посиневших трупов.

Случалось, Фани видела монаха, когда он выходил из продуктового склада, который посещал, чтобы проверить последние запасы сухарей, оливкового масла и брынзы. От денно-нощного напряжения и терзавших его забот лицо Эредиа совсем осунулось. Он шел слегка горбясь, медленной, подчеркнуто спокойной походкой, сжимая в руках свой вечный молитвенник. Фигура его выражала крайнюю усталость и отчаяние. Но, вглядываясь в его глаза, Фани видела в них тот же огонь, ту же решимость и неуязвимую волю, которая была ей уже знакома и которая, как она полагала, заставит его остаться в лагере до конца, пока он сам или последний больной не умрут от сыпного тифа. Он отвечал на ее взгляд спокойно, невозмутимо, точно все происходившее вокруг было в порядке вещей и ничуть его не тревожило. А может быть, он действительно так все и воспринимал, может быть, препятствия только удесятеряли его силы… Опять он оказался сильнее ее, опять он отошел от нее на неизмеримое расстояние, скрылся в недоступную гранитную крепость своего фанатизма, своего ордена и своего жестокого католического бога. И еще раз она поняла, что нет ничего недостижимее Эредиа. Но чем глубже она убеждалась в этом, тем сильнее ее охватывала дикая, слепая ярость. Как она хотела увидеть этого сильного человека униженным, эту стальную волю сломленной, этого адского бога, который давал ему силу, поверженным!.. Как она жаждала заставить эти твердые монашеские губы задрожать в приступе страсти, столкнуть сильное молодое тело в бездну смертного греха! Но это были только мстительные и сладостные желания ее одиноких ночей, делавшие бессонницу еще более мучительной. На другой день, когда она входила в палатку с больными и встречалась с ним взглядом, она опять сознавала свое бессилие, свое ничтожество перед ним.

Но в те краткие мгновения, когда они оставались наедине, он уже не убеждал ее покинуть лагерь, потому что ее отъезд был бы равносилен катастрофе. Теперь она была необходима больнице. Теперь она могла работать почти так же, как Гонсало и Доминго, – приготовлять лекарства, делать уколы, анализировать мочу и кровь, заполнять истории болезни и даже вести бухгалтерскую книгу, причем дефицит она покрывала из собственных средств – помимо тех сумм, которые вносила на содержание больницы. Теперь она была необходима больнице своими деньгами, своим опытом, своим самоотречением. И потому теперь Эредиа был так кроток… Да, эта мысль, рожденная ее ожесточившимся воображением, была близка к истине. Она видела перед собой иезуита, ужасного, фанатичного, беззастенчивого и жестокого. Она понимала его характер и его действия. Теперь ее не должны были трогать это испитое лицо святого, эти магнетические глаза, весь облик этого инквизитора двадцатого века. Теперь она могла без всякого угрызения совести войти посреди ночи в его палатку, броситься ему на шею и достичь той цели, ради которой она сюда приехала, – это ничуть бы его не оскорбило и не возмутило, лишь бы она продолжала усердно работать в больнице и покрывать дефицит из собственных средств…

**Часть третья**

**Фани против Лойолы**

**I**

Да, эта упрямая и жестокая мысль незаметно прокралась в сознание Фани, когда она в одну из душных кастильских ночей, страдая от одиночества и неврастении, лежала в своей палатке с открытыми глазами, несмотря на большую дозу снотворного. Эта мысль подхлестнула ее и заставила вскочить с постели. Кармен спала глубоким сном. Равномерное дыхание девушки сливалось с шелестом маслины, а шакалы, как всегда по ночам, пронзительно и тоскливо выли в степи. Она закурила. Сделала глубокую затяжку и закашлялась от дыма. Пока она старалась подавить кашель (ей не хотелось будить Кармен), ее обожгло ощущение близости той цели, к которой она постепенно подвигалась. Это ощущение было таким острым и реальным, что она испытала почти физическое возбуждение. Она еще не составила никакого плана действий, а мысль ее уже текла среди пленительных образов такого близкого теперь, такого доступного счастья, что надо лишь протянуть руку, чтобы его поймать. И она даже бессознательно сделала это движение рукой, потому что в этот миг перед ней возник монах, каким она видела его на уроке гимнастики в колледже Ареналес. Все, что она испытывала до сих пор к Эредиа – эта сложная смесь противоречивых чувств гнева и восхищения, мистического страха и обожания, готовности пожертвовать за него своей жизнью и разодрать ему лицо ногтями, – все казалось ей теперь самообманом, который она наконец-то разгадала и который сводился к жажде его тела. Больше ей ничего не было нужно. Уже долгие годы больше ей ничего не было нужно. Ее связи почти со всеми мужчинами, которых, как ей казалось, она любила, сводились именно к этому. Духовный элемент у этих мужчин был только формой, которая вносила необходимое разнообразие в неизменную тему наслаждения. Когда-то ее привлекал Мюрье – своим цинизмом, своим остроумием, своим искусством обольщать женщин. Теперь ее привлекал Эредиа абсурдной верой в своего бога, фанатическим целомудрием, а может быть, и тем, что он испанский монах, что образ его расцвечен страстными красками экзотики. От Эредиа она хотела взять только то, что уже взяла от Мюрье, – всего несколько недель, несколько дней или даже часов самого исступленного опьянения духа, самых острых спазм плоти, а потом она бы уехала, послав ему на прощанье усталую и грустную улыбку, какую туристы посылают Красным башням Альгамбры, покидая Гранаду. Как она обманывала себя до сих пор! Как она воображала, что любит его, что не может без него жить! Она рассмеялась про себя, вспомнив, что временами думала о нем как о полубоге, о сверхъестественном существе, когда, в сущности, он всего лишь безумец, просто безумец!.. Наконец-то она увидела Эредиа в ясном свете своего разума. Это иезуит, мрачный, сумасшедший иезуит! Ради своего Христа, ради миража католической империи, ради ордена он продаст свой народ, свою мать, самого себя!.. Да, даже самого себя! Ну что ж, хорошо! Именно его Фани и хочет купить.

Но какой дорогой ценой, с какими муками, подвергаясь какому риску, какой смертельной опасности, она его купит!.. Нет, надо быть идиоткой, чтобы решиться это сделать. Внезапно Фани почувствовала себя еще более униженной и жалкой, чем раньше, и затосковала о своей прежней жизни, о постели, в которую можно лечь, не опасаясь, что туда заползут зараженные вши, о мужчине, с которым можно пойти в дансинг, пошутить и беззаботно потанцевать, не разговаривая о боге, о ближнем, о смерти, о сыпном тифе!.. Пора покончить с этой авантюрой, убраться отсюда как можно скорей! Но мысль о том, чтобы навсегда расстаться с Эредиа, чтобы отступить, как последняя трусиха, униженная, испугавшаяся тифа, расстроила ее снова. Значит, она капитулирует!.. Значит, она оказалась непоследовательной и трусливой именно сейчас, когда надо действовать смело. Значит, она отказывается от добычи в самый последний момент, когда осталось только протянуть руку и схватить ее. Зачем же она потратила столько денег, положила столько усилий, подвергалась такому риску? Нет!.. Надо быть настоящей англичанкой, идти до конца, до конца!.. И мысль о том, что она пойдет до конца, снова привела ее в возбуждение. Но теперь она представляла себе свою цель иначе, не расцвеченной экзотикой, магнетизмом и мрачным сладострастием этой страны. В ее сознании возникла только гротескная сцена обольщения, нет, покупки некоего монаха. Ведь так отдался бы любой продажный тип! Нет, опять не то! До чего она смешна, жалка и беспомощна! Она не может принять никакого решения, не может ничего сделать… Голова у нее кружилась, кровь шумела в ушах, нервная испарина покрывала тело. И тогда она почувствовала, что зашла в тупик. Ей захотелось исчезнуть из жизни, забыть все, что происходит и с ней и вокруг нее, пить, пить до бесчувствия…

Она зажгла электрический фонарик и налила себе виски. Шакалы тоскливо выли в ночи. Теперь они крутились вокруг овражка с мертвецами и старались откопать неглубоко зарытые трупы. Стояла непроглядная темень. Полотнище, закрывавшее вход в палатку, слабо колыхалось под ветром со Сьерра-Дивисории.

Кармен проснулась от света фонарика.

– Сеньора, вам что-нибудь нужно? – спросила она.

– Нет. Не вставай.

– Нынче вечером смердит ужасно… Наверное, тот, кто дежурит возле мертвецов, не мог уместить все трупы в палатке.

– Разве и при трупах есть дежурный? – спросила Фани рассеянно.

– О да, сеньора!.. Мы никогда не оставляем мертвецов одних, потому что тогда их души не найдут покоя.

Девушка повернулась на другой бок и заснула. Опять наступила прежняя тишина, которую нарушали знакомые тоскливые шумы. Фани выпила еще виски. Голова ее затуманилась, но никакого облегчения не наступило. Вдруг она услышала шум легковой машины и вслед за тем – приближающиеся шаги. Вероятно, это был Мюрье. Почти каждый вечер он отправлялся играть в покер или пьянствовать с местными аристократами. Обычно его увозили и привозили обратно на машине участники этих сборищ. Ей показалось, что на этот раз Мюрье вернулся раньше обычного. Наверное, он решил зайти к ней, привлеченный светом в ее палатке.

– Фани!.. – позвал он тихо, не приподнимая полотнища над входом.

– Что случилось? – спросила она с любопытством.

Мюрье каждый раз приносил из города новости.

– Ты одета?

– Нет.

– Тогда спокойной ночи!

– Подожди!.. Я оденусь и приду к тебе.

– Если тебе не трудно… – попросил он нерешительно.

Фани показалось, что голос у него усталый и нетвердый. Она быстро надела пеньюар и вошла к нему в палатку. Мюрье уже зажег керосиновую лампу и сидел на складном стульчике в смокинге, подперев голову ладонью.

– Что с тобой? – спросила она тревожно.

– Не знаю… Кажется, у меня температура… Пришлось уйти с покера у Досфуэнтеса.

Ночь была теплая и душная, но Фани вдруг зазнобило. Она приложила руку ко лбу Мюрье. Лоб его пылал. Глаза замутились и покраснели. Она уже видела в палатках десятки таких глаз.

– Жак!.. – прошептала она в отчаянии. – Жак!..

Руки ее инстинктивно протянулись вперед и сжали его плечи. Охваченная паникой, она стала исступленно обнимать и целовать его, а потом расплакалась отчаянно, неудержимо. Позднее раскаяние после того, как она привела его в этот рассадник заразы и смерти.

– Ну, хватит! – сказал он с нарочитой беспечностью. – Не оплакивай меня заранее! И потом нигде не сказано, что все, кто заболел сыпным тифом, непременно должны умереть… Отцы поминают меня в своих молитвах по три раза в день.

– Кармен!.. – закричала Фани. – Кармен!.. Позови Эредиа!.. Позови сейчас же этого дьявола в рясе!

– Не кричи так! – сказал он строго. – Ты всегда была истеричкой! Может, это не сыпной тиф. Подождем до завтра.

– А что это?… Что? – повторяла она исступленно.

– Скажем, малярия.

– У тебя болит голова?

– Как будто немного кружится.

Кармен прибежала из палатки Фани.

– Кого позвать, сеньора? – спросила девушка испуганно.

– Никого!.. – крикнул Мюрье. – Ложись сейчас же!

– Кармен!.. – Фани стала отдавать распоряжения то умоляюще, то сердито. – Помоги мне его раздеть!.. Расшнуруй ему ботинки!.. Принеси свежей воды и лимонов! Слышишь, да приди ты в себя, бестолочь!.. – прикрикнула Фани в ярости на испуганную девушку, которая все еще ничего не делала и бессмысленно дергала Мюрье за смокинг. – У дона Сантьяго сыпной тиф…

– Сыпной тиф!.. – повторила девушка, и глаза ее расширились от ужаса.

Кармен нагнулась и стала торопливо развязывать шнурки его лакированных ботинок, испуганно повторяя про себя: «Madrecita!.. Tifo exantemвtico!..»

– Ну и что из того?… – Теперь и Мюрье стал кричать. – Убирайтесь обе отсюда!.. Ты слышишь, глупая девчонка, оставь мои ноги в покое!

Он грубо оттолкнул девушку и высвободил ноги. Лицо его исказилось. Покрасневшие глаза смотрели дико. Все же он справился с собой и начал сам развязывать шнурки ботинок. Потом вдруг силы его оставили, он повалился на кровать и проговорил с трудом:

– У меня старый гиокардит, вирус вызовет вспышку. Сделай мне укол кардиазола.

– Позови Эредиа!.. – шепнула Фани испанке.

Она сделала Мюрье укол и измерила температуру. Термометр показал сорок. Лицо его все больше краснело. Рассудок мутился. Он стал шутить, громко, ненатурально, желчно, потом забормотал что-то бессвязное. Сердце сдавало, дыхание стало затрудненным. Очевидно, высокая температура вызывала в его сознании кошмарные видения и нагнетала ужас, ужас всякого живого существа перед смертью. Фани села к постели и время от времени меняла мокрые полотенца у него на лбу. Она готовила лимонад и подносила к его потрескавшимся губам, которые с жадностью втягивали питье. И в то время, как она делала это, обильные горькие слезы лились из ее глаз, слезы, вызванные муками совести. Но то, что она переживала, было не только раскаянием. Она страдала, как всякий человек, теряющий близкого. Вдруг Фани заметила, что они с Мюрье судорожно вцепились друг в друга руками. Как властно в эту минуту беспомощности и слабости даже в них, полуаристократах, индивидуалистах, лентяях и паразитах общества, которые из снобизма одинаново презирали и аристократов и плебеев, даже в них, источенных червем эгоизма и мизантропии, сказывалась потребность в человеческой солидарности!..

Шорох у входа в палатку отвлек ее от скорбных мыслей. Это был Эредиа. Ей показалось отвратительным, что даже в такую минуту он по привычке схватил молитвенник и пришел с ним. Но может быть, именно этот бессмысленный жест говорил о том, как он взволнован и встревожен болезнью Мюрье. Пока он расспрашивал Фани, он поворачивал голову то направо, то налево, то опускал ее, точно перед ним стоял сам дьявол, которого он не желал видеть. Она догадалась – ее пеньюар распахнулся, а для него не было ничего гаже женской наготы. Фани запахнула пеньюар гневным движением, но он притворился, будто не заметил этого.

– Меня беспокоит сердце, – сказал он тревожно, отняв стетоскоп от уха. – Шумы свидетельствуют о поражении сердца. В любую минуту может наступить декомпенсация. Он много пил…

– Да разве он мог не пить здесь? – воскликнула она гневно.

Монах посмотрел на нее с горестным сожалением. Она знала это выражение кротости, обязательного смирения и доброты агнца божия, завещанное Лойолой. Но она знала также, как эти мягкие, золотистые андалусские глаза могут мгновенно стать ледяными и свирепыми.

– Я предупреждал вас обоих, сеньора, – сказал он с чисто иезуитским терпением, не меняя выражения глаз. – Работа здесь тяжела и опасна.

– Знаю!.. Вы исполнили свой долг! – сказала она желчно.

Он бросил на нее быстрый взгляд. С удивительным притворством или вполне искренне – Фани не могла определить – он придал выражению своих глаз скорбный оттенок.

– По отношению к вам, сеньора, я сделал это не только из чувства долга, – произнес он голосом, в котором слышалось волнение, но нельзя было уловить никакого определенного чувства. – Бывают мгновения, когда, быть может, вы это сознаете. Мое поведение, мое внешнее отношение к вам не значит ничего.

Он замолчал, как будто был смущен своим признанием, а потом опять заговорил:

– Может быть, вы сознаете, что после той ночи, когда вы спасли мне жизнь, мое дружеское чувство к вам стало совсем иным. Я считал вас капризной и ветреной женщиной. Но после этого, даже когда я говорил вам, что хочу задержать вас здесь в интересах ордена, – он смолк и опять бросил на нее быстрый, как молния, взгляд, – я чувствовал совсем другое, я хотел, чтобы вы не уезжали, потому что вы стали мне необходимы… Не знаю, как вы к этому отнесетесь…

– Необходима?… Больнице? Я знаю это давно.

– Нет!.. Лично мне. Неужели вы не понимаете меня, сеньора?

Он бросил тревожный взгляд на впавшего в беспамятство Мюрье, точно боялся, как бы тот не услышал или не понял сказанного им.

– Не беспокойтесь, – сказала Фани сухо. – Он бредит и ничего не понимает… Он умрет. Так что вы хотели мне сказать? – спросила она.

– Я люблю вас, сеньора. Хотя наши отношения от этого не изменятся. Я только хотел, чтобы вы это знали.

В своем ли он был уме? Фани посмотрела на него изумленно. Его прекрасное лицо, лицо святого и античного бога, было смиренно потуплено. Глаза смотрели кротко. Голос прозвучал с какой-то неподражаемой шелковой мягкостью. О, подлец!.. Разве это его лицо, его взгляд, его голос? Что кроется за этим фальшивым смирением, за этой маской? Не боится ли он, что теперь, когда заболел Мюрье, Фани очнется, подумает о себе и покинет Пенья-Ронду? А теперь… Да, именно теперь кто возьмет на себя ее работу, кто будет давать деньги на больницу? Сможет ли он найти еще где-нибудь такую дойную корову? Вот откуда идет его льстивое признание вместе с оговоркой, что «их отношения не изменятся». Болван!.. Да неужели он еще воображает, что Фани принимает знаки его милости, как манну небесную? После того как он великодушно разрешил ей оставаться при нем, помогать ему в этом рассаднике смерти, взять на себя почти все расходы по больнице, теперь, когда он боится, как бы она его не покинула, он лицемерно добавляет к другим знакам своей милости признание в несуществующем чувстве. Ханжа! Лжец! Иезуит!.. Но может быть… о, надежда любящей женщины… может быть, в том, что он говорит, есть частица правды! По крайней мере до сих пор, даже когда ему надо было сказать ей самые жестокие истины, он никогда ей не лгал. Разве она не спасла ему жизнь, разве он настолько чудовищно бесчувствен, чтобы не быть ей признательным за это? И наконец, когда он говорил ей, что допускает ее в лагерь в интересах ордена, не делал ли он это для того, чтобы из гордости, из фанатизма скрыть свое настоящее чувство, которое появилось у него против его воли? Нет, она не должна осуждать его так поспешно, она должна проверить. Не надо спешить! Спокойней!.. Если же она все-таки убедится, что он лжет, тогда, значит, из страха, как бы Фани не покинула лагерь, он этим признанием предлагает… да, он предлагает себя, он готов продать свое тело, чтобы не голодали больные. Господи, если это так, неужели Фани может принять это предложение?! Нет, никогда!.. И все-таки сначала надо проверить, проверить! Она собралась с силами и сказала твердо:

– Прошу вас, не говорите со мной так благочестиво!.. Прошу вас, хоть раз отбросьте свои небесные качества и спуститесь на землю! И не называйте меня на каждом слове «сеньора», не то я раздеру вам лицо ногтями… Вы понимаете, дон Рикардо?

Он утвердительно кивнул, но светское обращение, которым она заменила духовное, его задело. На его губах появилась знакомая ей полупрезрительная, бесконечно насмешливая улыбка. Глаза опять незаметно обрели стальную твердость. Может быть, своей дьявольской интуицией он предугадал намерение Фани и, сам того не желая, утратил кроткое обличье агнца божия, предписанное орденом. Но это… не показывало ли это, что он не способен продаться?

– Да!.. – продолжала она нервно. – Хоть раз спуститесь к людям, хоть раз будьте человеком! Вы говорите, что любите меня… Верно ли это?

– Да, верно, – ответил он, и голос его прозвучал без прежней фальши.

– С каких пор?

– С той ночи, когда вы спасли меня от пуль анархистов, с того дня, когда ради меня вы сказали правду на суде… с того дня, когда я увидел вас впервые!

Он говорил просто, без волнения, ясным голосом, металлическая твердость его взгляда становилась все острей, все пронзительней. Фани почувствовала, как ее решимость снова тает перед исходившей от него силой. Сердце ее замирало, ноги подгибались. Она вдруг поняла, что, даже если бы этот человек счел ее блудницей и стал бросать в нее камнями, она все равно любила бы его, все равно подползла бы к его ногам и просила бы, как милости, позволения остаться с ним. Его лицо, освещенное керосиновой лампой, излучало жуткую красоту, магнетическую силу, которая и притягивала, и разила. Она почувствовала, что воля ее слабеет, что страсть, которую она месяцами старалась задушить, которая заставляла ее желать его губы, его тело, его душу… все, все в нем, эта страсть теперь завладела ею и рвется наружу со страшной, неудержимой силой. И как бабочка бросается в пламя, которое ее сожжет, так она бросилась на монаха, схватила его в объятия и впилась губами в его губы. Никогда еще женщина не обнимала мужчину с большей страстью, никогда еще губы не целовали с большей жадностью другие губы. Дыхание ее пресеклось, замерло, она вся потонула в каком-то безумном, жгучем блаженстве. Но в следующее мгновенье она почувствовала, как железная, твердая, неожиданно сильная рука грубо оторвала ее от сладостного соприкосновения с этим телом, с этими губами, как эта почти сверхъестественно твердая рука отшвырнула ее прочь. Она почувствовала, как тело ее ударилось в стену палатки, которая прогнулась и, как пружина, отбросила ее от себя. Зазвенела бутылка, упали рюмки, рассыпались сигареты… Она удержалась на ногах, но ничего не видела и не слышала. Потом она опомнилась и увидела как во сне, что перед ней стоит монах, испанский монах, и с фанатическим отвращением вытирает губы после прикосновения поганых женских губ. А голос его шипел:

– Прочь отсюда! Не прикасайтесь больше ко мне! Это подло! Вон из палатки, сейчас же!

– Палатка моя, – произнесла она как во сне.

– Все равно! Прочь отсюда, сейчас же! Приходите через полчаса!.. Я должен остаться с ним, сделать ему укол…

И опять как во сне она подчинилась и пошла к выходу из палатки.

Конец!.. Больше нечего ждать. То, что случилось, убило в ней всякую способность реагировать на происходящее, хотя бы припадками истерии. Она только чувствовала, что в ней не осталось ничего, кроме ненависти, злобной и нерассуждающей воли к действию, но у нее не было сил ни сказать что-нибудь, ни подумать, ни сделать. Она только чувствовала, как какая-то спазма сдавливает ей горло, а легким не хватает воздуха. Воздуха!.. Больше воздуха! Почему здесь такой адский климат, почему ночь такая душная! Сделав несколько шагов, она глубоко вздохнула и сразу ощутила зловоние трупов. Внезапно ей захотелось увидеть гору трупов всех монахов Испании. Если бы сейчас партизанский отряд коммунистов или анархистов напал бы на лагерь, или на резиденцию иезуитов в Толедо, или на любой монастырь, она бы рукоплескала, она бы стреляла и убивала вместе с ними. Красные, только красные могут истребить монахов, избавить Испанию от этой черной, мерзостной средневековой орды. Теперь она понимала смысл поголовных убийств, той ярости, с какой анархисты волокли тогда Эредиа. Да, только красные могут спасти Испанию!..

Глупости!.. Неужели ее вообще интересует Испания?

Ей понадобилось несколько минут, после того как она вошла в свою палатку и повалилась на кровать, чтобы остыть от бешенства, прийти в себя и опять осознать свое жалкое падение, опять увидеть себя такой, какой она и была на самом деле, – тщеславным ничтожеством, истерической куклой, которая жила потом своих арендаторов, светской блудницей, которая бегала за киноактерами, боксерами и бездельниками и наконец погналась за сумасшедшим испанским монахом. Но как она сейчас ненавидит этого монаха, как хотела бы перегрызть ему горло с яростью пантеры! Ее фантазия рисовала сцены апокалипсической жестокости, изобретала планы, подыскивала слова, которые вонзились бы ему в сердце, поранили бы его гордость так, чтобы брызнула кровь. «О, преподобный глупец из Христова воинства!.. Ты дорого, очень дорого заплатишь мне за все это! Увидишь, до каких унижений ты дойдешь, как ты будешь валяться у меня в ногах, как ты будешь просить милости! Я не уеду из лагеря, пока не отомщу, не уеду…»

– Вы что-то сказали, сеньора? – сонно спросила Кармен.

– Нет.

– Мне показалось, вы только что говорили.

– Тебе послышалось.

– Как дон Сантьяго?

– Плох.

– Saritisima Vir gen!50 Есть надежда, что он поправится?

– Не знаю.

– Вы, наверное, сидели у него в палатке и устали. Хотите, я вас сменю?

– Там отец Эредиа.

– Бедный дон Сантьяго!..

Фани сбросила пеньюар и стала надевать платье.

Кармен вскочила с постели.

– Куда вы, сеньора? – спросила она испуганно, глядя на красные пятна гнева на лице и шее своей госпожи.

– К отцу Оливаресу.

– Одна?… Мне пойти с вами?

– Не надо!.. Ложись и спи! – грубо приказала Фани.

Она накинула плащ и с фонариком в руке вышла из палатки. Ее злоба и ненависть поутихли. Она стала думать о Мюрье. Проходя мимо его палатки, заглянула внутрь. Эредиа сидел возле его постели. Мюрье продолжал тихонько бредить, но выглядел лучше. Лицо смягчилось, дыхание стало не таким затрудненным. Надо что-то сделать для Мюрье. Первой ее мыслью было на другой же день перевезти его в Пенья-Ронду, в какую-нибудь чистую и прохладную комнату, и остаться с ним, пока он не выздоровеет. Это надо сделать непременно, потому что жара и духота в палатке его убьют. Теперь она хотела найти Оливареса или Доминго и попросить кого-нибудь из них рано утром сходить в городок и подыскать комнату.

Фани пошла между рядами палаток. На нее пахнуло трупным запахом с другого конца лагеря. Ущербная луна поднялась высоко над горизонтом. Лагерь спал или, точнее, агонизировал, потому что многие больные, стонавшие, бредившие или умолявшие дать им воды, не доживут До утра. Страшно было подумать, что ночью дежурили всего один или, самое большее, два человека на весь лагерь и что даже это дежурство теперь стало излишним из-за отсутствия лекарств. В самом деле, у дежурных не было средств борьбы против заразы, проникшей в организм, но они могли хотя бы поддерживать сердце, подкреплять силы больного, если бы хватало лекарств. А теперь они были всего лишь беспомощными свидетелями смерти. Они уповали, как дон Эладио, на природу или, как сами больные, на бога. Кто поправлялся, тот поправлялся, кто умирал, тот умирал. Назначение дежурных состояло в том, чтобы сделать один-единственный укол кардиазола какому-нибудь страдальцу, если они замечали, что он начинает агонизировать, укротить беснующегося, поднести стакан лимонада жаждущему, когда его крик становился особенно душераздирающим. И этот ад, это скопление палаток, набитых грязными, вонючими, полумертвыми, вшивыми телами, еще продолжал носить блестящее имя «Полевая больница отцов-иезуитов», а глупцы – в том числе и Эредиа – продолжали думать, что в ордене Лойолы, в духовенстве, в католической церкви живет сердце Христа! Жалкие безумцы, подлые фарисеи и предатели Христа! В алтарях ваших соборов, в капеллах ваших монастырей, во дворцах кардиналов, в Эскуриале, Мадриде, Толедо, Севилье… везде, по всей Испании у вас собраны тонны золота, серебра и слоновой кости, множество бесценных бриллиантов, изумрудов, рубинов, топазов, которых достаточно, чтобы уничтожить эпидемии и страдания, вместо того чтобы класть умирающих оборванцев на кучи соломы. Фанг быстро шла через лагерь к одной из двух больших палаток, чтобы поговорить с Оливаресом. Вдруг он появился перед ней, словно вырос из-под земли.

– Вы с кем-то разговаривали, миссис Хорн? – спросил он.

Господи, неужели она уже до такой степени невменяема, что говорит сама с собой, как безумная?… И Кармен это заметила.

– Нет, ни с кем.

– Значит, мне почудилось, – сказал монах.

От рассеянности он светил своим фонариком ей в лицо. Фани обратила внимание монаха на его неловкость, направив сильный сноп лучей своего фонарика прямо ему в очки. Он замигал беспомощно и наконец отвел свет.

– Наверное, вас обманул слух!

– Да, вероятно! – подтвердил он со своей обычной наивностью. – Все мы очень устали. Мы с братом Гонсало дежурим третью ночь подряд.

– Есть ли смысл в этом дежурстве?

– Никакого, – сказал он, – кроме нравственного.

– Оставьте нравственность!.. Самое скверное – делать бессмысленные вещи и чувствовать себя нравственным.

– Мне кажется, вы правы, сеньора, – сказал он по-испански и глубоко вздохнул. – Вы кого-нибудь ищете?

– Да, вас!.. Мюрье заболел сыпным тифом.

– Каррамба!

Близорукие глаза Оливареса испуганно замигали. Значит, болезнь не щадит и самих врачей, которые, казалось бы, знают, как беречься! До сих пор оп не волновался, потому что, ничуть не полагаясь на провидение, рассчитывал на ежедневное вываривание своей одежды. Он пообещал пойти утром в городок и поискать комнату.

– Успокойтесь!.. И ложитесь поскорей.

– Я не могу спать, – сказала Фани.

– От трупного запаха?

– Нет. От нервов.

– А я смертельно хочу спать.

– Тогда я вас сменю.

– О, как вы добры, сеньора!.. Но отец Эредиа приказал, чтобы дежурили только мужчины.

– Не важно, что приказал Эредиа. Оливарес посмотрел на нее удивленно.

– Я должен выполнять его приказания, – сказал он. – Таблетка люминала, наверное, поможет вам заснуть.

– Нет. Мне ничто не поможет. Куда вы идете?

– В свою палатку, взять нюхательного табаку. Если хотите, пойдите в столовую. Я велел брату Гонсало разжечь примус и приготовить чай.

Она подумала: «Я побуду там, пока Эредиа не выйдет от Мюрье». Потом у нее мелькнула мысль о Доминго. Если состояние Мюрье станет ухудшаться, можно будет обратиться к нему. Мюрье не раз говорил ей, что как врач Доминго сильнее Эредиа.

– Хорошо. Я буду ждать вас в столовой, – пообещала Фани Оливаресу. – Но где Доминго?

– Молится в часовне.

– Он что, спятил? – взорвалась Фани. – Вот уже два Дня, как он не вылезает оттуда.

– Неужели вы ничего не знаете? – таинственно спросил Оливарес.

– Черт возьми! Нет!

Оливарес доверительно наклонился к ее уху н зашептал:

– Брата Доминго наказал Эредиа постом и молитвой за то, что он читал запрещенные книги.

– Какие книги? – изумленно спросила Фани.

– Революционные книги, сеньора!.. Коммунистические издания.

«Скоро меня здесь ничто не удивит», – подумала Фани.

– А вы разве не читаете Гегеля? – спросила она с живостью. – На его книгах цензор не сделал для вас пометки «Nihil obstat».51

Профессор схоластики посмотрел на нее оскорбленно.

– Бог с вами, сеньора… Я могу читать все, что хочу. Я изучаю Гегеля, чтобы предохранять студентов от увлечения диалектикой.

– Но иногда вы читаете его так… для собственного удовольствия… не правда ли?

– Никогда!.. Неужели я мог бы поддаться этой ереси?…

И профессор схоластики затрусил в темноте к своей палатке, чтобы взять нюхательный табак.

Фани направилась к часовне. Часовня находилась рядом с палаткой, куда складывали мертвецов до отпевания, поэтому трупный запах был здесь невыносимым. Дверь в часовню была закрыта. Фани приоткрыла ее и направила свет фонарика внутрь. Она увидела коленопреклоненную фигуру брата Доминго, который демонстративно громко читал латинские молитвы. Монах не обернулся.

– Брат!.. – сказала она.

Доминго тотчас с облегчением поднялся.

– Ах… Это вы, сеньора?… А я подумал, что кто-нибудь из наших нетопырей.

Фани рассмеялась. Нетопыри!.. Он называл святых отцов, свое духовное начальство нетопырями!

– А что случилось? – быстро спросила она.

– Ничего, сеньора! Мир движется вперед.

– Почему вас наказали?

– Чтобы все кончилось скорее.

– Что это значит?

– Я объясню вам завтра… – Он тревожно прислушался. – А сейчас оставьте меня! Может прийти Эредиа и утроить наказание.

– Хотите сигарет?

– Господи!.. Все отдал бы за щепотку табаку!

Фани протянула ему пачку сигарет и спички.

– Спасибо, сеньора!..

Вдруг послышались издалека чьи-то шаги. Доминго снова повалился на колени и молитвенно склонил голову.

– Гасите фонарик! Уходите! – торопливо прошептал он.

Фани погасила фонарик и отбежала от часовни. Только оказавшись на расстоянии, достаточном, чтобы ее не заподозрили в том, что она навещала Доминго, Фани опять зажгла фонарик и направилась к палатке, служившей монахам столовой. Трупный запах душил ее. Ветер тянул как раз с той стороны, где были сложены мертвецы. Из палаток долетали жалобные, приглушенные голоса. Одни требовали лимонада с проклятьями и руганью, другие, поскромнее, просили только воды и сопровождали свою просьбу трогательным рог favor.52 Тех, кто ночью мог буйствовать, предусмотрительно связали веревками. От палаток несло еще более противным, чем трупный, запахом пота, мочи и испражнений. Из-за того, что не хватало людей, которые регулярно чистили бы умывальники, горшки и плевательницы, больные тонули в отчаянной грязи. Попав сюда либо по принуждению, либо с надеждой вылечиться, они уже не могли вырваться из этого ада, потому что по приказу дона Бартоломео за уход из лагеря полагалась смертная казнь. Разумеется, эта угроза относилась только к крестьянам и люмпенам. К услугам военных чинов, как и всех сторонников нового движения, имелись другие больницы. Низший персонал – повара, уборщицы, прачки, а также чернорабочие, например те, кто зарывал трупы, – был таким малочисленным, что монахам приходилось им помогать. После того как дон Бартоломео по совету военных врачей реквизировал две дезинфекционные машины, а оставшаяся сломалась и котлы, в которых стали вываривать одеяла и одежду, оказались не в состоянии их заменить, палатки превратились в инкубаторы для вшей. Войти в них, особенно ночью, было настоящим подвигом, так как при слабом освещении приходилось шагать по тряпью и зараженные вши тотчас же наползали на вошедшего. На это решались только монахи.

Пробираясь среди палаток, Фани вдруг осознала, что лагерь вымирает, что скоро от него не останется ничего, кроме трупов, и месть, которую она вынашивает, станет ненужной. Но теперь как будто сам дьявол решил ей помочь.

В столовой брат Гонсало уже готовил чай, и гуденье примуса помешало ему услышать шаги Фани. Он стоял спиной ко входу, лицом на восток и весьма остроумно использовал время: пока вода в чайнике не закипит, он бормотал молитвы и таким образом выполнял свое ежедневное обязательство перед богом. Обернувшись и увидев Фани, он вздрогнул, а потом придал своему лицу еще более набожное и смиренное выражение. Он поклонился весьма почтительно, сказав: «Добрый вечер, милостивая сеньора», и спросил, не позволит ли она налить ей чаю. Фани ответила, чтобы он подождал с чаем до прихода отца Оливареса. Гонсало еще раз поклонился и с благочестивым видом убрал молитвенник в кожаный футляр. Весь его ханжеский, смиренный облик, его притворная учтивость говорили о трагедии молодого увядшего существа, жалкого человечка, скованного цепями, который сверх всего в этот вечер был чем-то расстроен. Это было заметно по его неверным движениям. Он чуть не уронил чайник.

– Вы слышали новость, сеньора? – спросил он, стараясь сохранить спокойствие, приличествующее монаху, который вверил свою судьбу богу. – Красные начали наступление между Тордесильяс и Медина-дель-Кампо.

– Когда? – спросила Фани почти равнодушно.

– Сегодня утром.

– А где находятся Тордесильяс и Медина-дель-Кампо?

– В пятидесяти километрах отсюда.

– Что же нам делать? Бежать? – спросила она, охваченная злобным желанием напугать его еще больше.

– Не знаю… Как решит отец Эредиа.

– Я предполагаю, что он решит остаться. Мы не можем бросить больных. Но если красные придут, они перебьют нас как собак.

– И я уверен в этом, – вырвалось у брата Гонсало, который уже не мог справиться со своим страхом. – Вчера вечером мы узнали, что в Лериде убито тридцать доминиканцев, а в Хаене и Пальма-дель-Рио августинцев и кармелиток сжигали заживо.

– Может быть, это только слухи, брат?

– Нет, сеньора… Рим сообщил об этом по радио.

– Ужасно!.. Значит, они будут совершать такие злодеяния и здесь!

Брат Гонсало страдальчески вздохнул. Потом задумался и, после краткой паузы, быстро проговорил:

– У вас есть бензин для санитарной машины, сеньора?

– Есть, брат. Если понадобится бежать, вы спокойно можете рассчитывать на место в кузове, независимо от решения отца Эредиа.

«Было бы чудесно, если бы Эредиа увидел, как ты удираешь», – подумала она злобно.

– Благодарю вас, сеньора! – сказал он с глубокой признательностью, сразу ободрившись, – Вам не придется бояться неприятностей с народной милицией из-за меня если мы попадем на территорию красных… Я буду в гражданском платье.

– В таком случае вам надо бросить также распятие и молитвенник.

– Я не могу их бросить, потому что это против правил ордена, но я уберу их в шкатулку.

– А если обнаружат шкатулку?

– Я скажу, что она не моя. Но риск ничтожный, сеньора!.. – сказал он умоляюще.

– Разумеется, Не беспокойтесь, брат.

– И еще одно, сеньора… – сказал он озабоченно. – Я боюсь, как бы дон Бартоломео не реквизировал ваш бензин.

– О, вряд ли он посмеет наложить лапу на британскую собственность.

– Все же не мешало бы припрятать где-нибудь одну канистру.

– Хорошая мысль. Я завтра скажу Робинзону…

– Можно закопать ее в овражке, где мы хороним мертвецов, – предложил Гонсало; он обдумал даже эту подробность.

Внезапно его встревоженное лицо приняло свое обычное выражение смиренного ничтожества – снаружи послышались шаркающие шаги отца Оливареса.

**II**

Отец Оливарес не утерпел, чтобы не сделать понюшку табаку еще в своей палатке, и теперь приближался, облегчая свои нервы многократным блаженным чиханьем. Он вошел в палатку с влажными глазами, порозовевший от приятных спазм в носу, еще рас чихнул и положил на стол толстую продолговатую тетрадь. Фани вспомнила, что это расходо-приходная книга больницы. Она не раз открывала эту книгу, чтобы вписать туда переводы от Брентона и Моррея.

– Брат Гонсало, вы налили чаю нашей благодетельнице? – спросил отец Оливарес.

На иезуитском языке это означало: «Налейте чаю и немедленно уходите». Фани уже была отчасти знакома со сложными отношениями в иерархии ордена. Низший мог оставаться в присутствии высшего, только если его пригласят. В противном случае он должен удалиться. Брат Гонсало поспешил подчиниться этикету ордена и, налив чай, со смиренным поклоном вышел из палатки. Все это выглядело очень естественным, но появление расходно-приходной книги тотчас подсказало Фани, что профессор схоластики решил воспользоваться моментом для делового разговора. Отец Оливарес был лишен дипломатического дара и тотчас себя выдал. «Сейчас будет просить», – подумала Фани. Как чудесно все складывается, теперь она окончательно унизит и уничтожит Эредиа! Подошло первое число, а она словно забыла, как переводят деньги на текущий счет иезуитов. Отцы выждали несколько дней, и вот теперь Оливарес хотел напомнить ей о ее христианском долге милосердия.

– Почему вы называете меня благодетельницей? – сухо спросила Фани.

– Сеньора, а как же нам вас называть? – умильно заговорил профессор, но новый приступ чиханья помешал ему продолжить. Он вытащил из кармана громадный платок вроде того, какой носил Эредиа, и, прежде чем уткнуться в него лицом, успел выговорить: – Простите!.. Приношу извинения…

Фани извинила его с дружеской улыбкой. Его природное добродушие и вечная рассеянность всегда располагали ее к нему. Ей пришло в голову, что Гонсало или Эредиа ни за что не стали бы нюхать табак перед тем, как явиться к даме, да еще к даме, у которой они собираются просить денег. Но отец Оливарес, идя в столовую, забыл об этом само собой разумеющемся правиле. Как только табакерка очутилась у него в руках, он мгновенно поддался соблазну и сделал понюшку.

– Ужасно!.. – сказал он. – Чересчур крепкий табак.

Он приготовился снова начать цветистое предисловие к своей речи, но Фани его предупредила:

– Говорите прямо, отец!

– Благодарю вас, сеньора!.. – сказал он с признательностью. Что-то ему подсказало, что иезуитское красноречие, которым он овладел в молодости после долгих тренировок, сейчас только усложнит его задачу. – Так будет лучше. Я хотел вам сказать, что больница находится в катастрофическом финансовом положении.

– Какая больница?

– Наша!.. – удивленно сказал иезуит.

– Неужели вы называете покойницкую, в которой мы живем, больницей? – холодно спросила Фани.

Оливарес посмотрел на нее испуганно.

– Я спрашиваю вас именно об этом, – продолжала она. – Что такое наш лагерь – больница или похоронное бюро, содержащееся на средства благотворительности?

– Не знаю, сеньора!.. – ответил иезуит угнетенно. – Разум заставляет меня видеть вещи почти в таком же свете, в каком их видите вы, но…

– Это большая добродетель – прислушиваться, кроме голоса бога, и к голосу своего разума. Может быть, я оскорбляю вашу веру?

– Нет, сеньора!.. Наш преславный ангельский доктор святой Фома Аквинский пришел к вере, руководствуясь разумом.

– К сожалению, мне кажется, что отец Эредиа находится под влиянием других святых… Простите! Я не хотела его оскорбить… Я только хотела сказать, что отец Эредиа открыл эту больницу, движимый глубочайшей христианской ревностью, но не прислушиваясь к голосу разума, который посоветовал бы ему вообще ее не открывать, а бороться против сыпного тифа, бедности и страданий как-то иначе.

– Как же? – спросил монах.

– О, есть много способов, но это дело самих испанцев, я не хочу вмешиваться… Я говорю только о способе отца Эредиа. Вы думаете, что вакцина, сдобренная молитвами и усердием всех отцов-иезуитов, дала удовлетворительные результаты?

– Сеньора!.. Я не врач и не смею об этом судить, но все-таки я могу себе представить, как умирали бы эти несчастные, если бы не было даже нашей жалкой больницы.

– Тогда больные умирали бы в своих хижинах, давая нормальный процент смертности, как при любой эпидемии сыпного тифа… Тогда по крайней мере они имели бы воздух и пищу. Тогда кюре не посылали бы их сюда, чтобы они рассеивали эпидемию и умирали, как собаки, во славу Христова воинства…

Добродушные глаза профессора замигали тревожно и недоуменно.

– Сеньора!.. – сказал он с притворным огорчением, и голос его вдруг стал странно неубедительным. – Боюсь, что и в вашу душу проникла черная легенда, измышленная врагами Христова воинства.

– Мне нет дела до легенд, – холодно сказала Фани. – В данный момент меня интересуют только личные соображения. Из-за общей неразберихи вы больше не получаете субсидии от Института экспериментальной медицины, не так ли?

Лицо Оливареса выразило отчаяние.

– Да, сеньора, – сказал он умоляющим голосом бедняка, который ждет подаяния.

– Отец Сандовал также не может теперь посылать вам ту мизерную, совсем мизерную сумму, которую он вам отпускал из средств ордена после моего приезда… Не так ли?

– Да, сеньора! – смущенно признался иезуит.

– Вот видите! Но тогда и я не могу давать больше. Я не обязана давать деньги вместо Христова воинства. Я на пороге разорения… Вы не имеете права требовать у меня!

– Мы не требуем… Мы просим… – стал мямлить отец Оливарес, вконец смутившись. – Больным нечего есть… они умирают с голоду… Это страшно… ужасно! Я… мы просим вас, сеньора…

– Почему вы не попросите у кого-нибудь из местных аристократов? Например, у маркиза Досфуэнтеса?

Оливарес опять замигал беспомощно и горестно.

– Мы просили у него… но он отказал.

– В самом деле? Как жаль!

– Впрочем… он пожертвовал большие суммы на дело короля и, может быть, действительно не имеет возможности помочь нам.

– А донья Инес?

– Донья Инес не такая уж богатая женщина.

– Я тоже не такая уж богатая женщина… Я не могу помогать вам больше! Я располагаю всего лишь маленькой суммой наличными, которой мне едва хватит, чтобы добраться до Англии.

Фани торжествовала. «Эредиа, Эредиа, я заставлю и тебя просить меня и унижаться передо мной!» – злобно подумала она.

– Не думаете ли вы покинуть нас? – испуганно спросил Оливарес.

– К моему большому сожалению, я должна вам сказать, что решила это сделать.

Увядшее лицо Оливареса изобразило ужас, отчаяние. Он остолбенел и посмотрел на Фани с таким страхом, точно ее решение начисто лишило его способности и соображать и действовать. Потом вдруг его нижняя губа задрожала и по отечному, изжелта-бледному лицу разлился необычный румянец. Он поставил стакан и сказал быстро, взволнованно:

– Нет, сеньора!.. Вы не оставите нас сейчас!.. Вы не можете оставить нас сейчас!..

– Мне кажется, вы говорите странные вещи.

– Ничего странного на свете нет!

Он умолк внезапно, будто испугался смелости своих слов, которые можно было истолковать как ересь. А потом уныло уставился на полы своей рясы. Фани показалось, что в этом взгляде есть что-то угнетенное и надломленное, как во взгляде бедняги, осужденного на пожизненную каторгу.

– Что может задержать меня здесь? – спросила она ледяным голосом.

Оливарес медленно поднял на нее свои темные глаза.

– Отец Эредиа, – тихо сказал он.

– Какое мне дело до Эредиа? – нервно воскликнула Фани.

– Вы приехали сюда ради него. И ради него вы остаетесь здесь.

Фани онемела. И почувствовала, что дрожит от смущения и гнева. Странно и глупо, но в эту минуту она дрожала больше от того, что раскрылась тайна Эредиа, чем из-за собственного самолюбия. Никто, никто не должен был подозревать, зачем она приехала сюда!..

– Вы шутите, – сказала она сипло.

– Я не шучу, – ответил Оливарес серьезно, но без всякой угрозы в голосе: видимо, он не собирался прибегать к вымогательству. Голос его прозвучал устало, горестно. – Еще когда вы пришли в нашу резиденцию и стали расспрашивать меня об Эредиа, я догадался, как вы к нему относитесь. Мое предположение было логичным и верным…

– Логичным еще не значит верным.

– Для нас… для меня – верным.

– Вы хотите сказать – действительным?

– Да, – сказал иезуит.

– Осторожней! – засмеялась Фани. – Значит, логика – это действительность!.. Но так учит Гегель!.. Наконец-то я вас поймала!

Из груди у Оливареса тоже вырвался странный сдавленный смех, в котором прозвучали трагические нотки. Казалось, он вдруг забыл всю важность разговора о больнице.

– Вы умеете играть словами, – сказал он сухо, снова становясь серьезным. – Но у Гегеля это всего лишь один из тезисов. Кстати, этот тезис защищает и наша схоластика.

– Простите!.. Я в свое время вкусила университетской науки. Схоластика защищает этот тезис совсем с других позиций… Но оставим эту игру! О, молчите!.. Позвольте говорить мне… – Она перевела дыхание. – То, что вы сказали, верно!.. Для меня – страшно, трагически верно! Я приехала сюда ради Эредиа, и у меня не хватило сил уйти, потому что… потому что я его любила! А теперь я его ненавижу… ужасно, несказанно ненавижу! И это правда, вы видите, вы понимаете, что это правда. Поэтому я не дам больше ни гроша Эредиа, вашей больнице, вашему проклятому ордену…

– Но больные голодают… умирают! Эредиа и орден не виноваты в этом!

– Не виноваты?… Сбросьте маску, лицемерный жонглер мыслями. Будет вам притворяться дурачком! Вы-то знаете, где истина!.. Она только в мысли, только в логике, только в абсолютной идее и развитии этой идеи, которая есть все, которая есть единственная реальность… А может быть, истина только в материи, как утверждают коммунисты… Но вы не верите в бога на небесах, и, во всяком случае, вы знаете, что такой бог не может существовать!..

– Сеньора!

– Замолчите!.. Вы знаете, что мир находится в непрерывном движении и развитии, вы знаете, что времена Лойолы прошли и то, что было тогда, не может повториться… Кто не видит этого, тот или слепец, или лицемер… Для вас неприемлемы догмы, мечты, жалкое милосердие и бесцельное самоотречение Эредиа. Вы знаете, какими несметными богатствами владеет католическая церковь и в какой свирепой нужде погрязли те несчастные, которых мы лечим. Все вокруг нас – постыдная и жестокая бессмыслица, которая оскорбляет человеческий разум. Кто поддерживает эту бессмыслицу, кто усыпляет совесть палачей, кто дает моральную силу диктаторам, претенденту, аристократам – всем, кто хочет сейчас сокрушить республику, повернуть колесо истории вспять?… Вы знаете кто!.. Только духовенство, только религиозные ордены, только такие безумцы, как Эредиа!.. Признайте же истину, отец Херонимо Оливарес! Будьте хоть раз честным! Скажите, права ли я? Скажите «да»!

Фани не кричала, не вопила. Она говорила вполголоса или, точнее, шипела, изливая свою дикую, яростную злобу на церковь, на духовенство, на Эредиа. Но, в сущности, не предназначалась ли ее ненависть одному Эредиа? Она все еще не понимала, что с тех пор, как она попала в этот лагерь, ее ярость и ненависть к Эредиа подкреплялись развитием самой действительности, преодолевавшей собственные противоречия и абсурды. Глаза Оливареса впились в лицо Фани с трагической напряженностью. Нижняя губа его опять задрожала, по изжелта-бледному лицу пробегала конвульсивная дрожь. Ночные дежурства и целые дни бесполезной суетни в лагере вымотали его до предела. Может быть, он защитил бы свое осужденное жизнью сословие, возразил бы ей или хотя бы молча хранил трагическую тайну своих мыслей, если бы его нервы не были так натянуты, если бы постоянное зрелище смерти и страданий не превратило угрызения его совести в боль. Но сейчас нервы его вдруг сдали, душевная боль окончательно сломила его. Исказившееся лицо выражало ужас – ужас человека, оказавшегося в нравственном тупике. Много лет подряд он подавлял и скрывал драму своего духа, и теперь, истерзанный и усталый, в этот поздний час, он хотел раскрыть ее и получить облегчение. И чудо, которого Фани желала только из мести, но не ожидала, произошло. Он заговорил. Он сказал «да».

Он произнес тихое, отчаянное «да». И после паузы добавил:

– Я это видел… понимал давно, но был не в силах высказать.

– Почему, отец?

– Потому что было поздно, потому что я уже стал подлецом. Я не безумец, я не ослеплен мистицизмом, как Эредиа… Я постиг истину еще раньше, чем прочитал вводную лекцию в Гранаде. Но было поздно. Пришлось бы выйти из ордена, стать мелким чиновником или умереть с голоду. У меня не было сил бороться и страдать, как те, кто сейчас умирает за республику… Я, наверное, ужасно расстроен. Не знаю, зачем я говорю вам все это. Боюсь, что кто-нибудь нас подслушивает. Мы все подслушиваем друг друга. Это предписано Лойолой, и тайные правила ордена обязывают нас контролировать друг друга… Вы не слышали какого-то шума вот только сейчас? Как будто кто-то подошел на цыпочках!.. Нет?… О, этот страх!..

– Кого вы боитесь?

– Эредиа.

– Что может вам сделать Эредиа?

– Он принадлежит к высшей иерархии ордена, и ему дано право отлучить меня от церкви.

– Ну и что?

– Это значит, что меня вышвырнут из ордена как тряпку… А я не гожусь ни для какой творческой работы. Я могу только читать лекции по истории схоластики и по христианской метафизике, забивать студентам головы заблуждениями и ложью… Как всякий лжец, я слаб, подл и труслив.

– Вы просто несчастны… Подлецы не признают своих ошибок.

Он вдруг встрепенулся, точно слова Фани о том, что он не подлец, напомнили ему о каком-то нравственном долге.

– Сеньора, когда вы мне сказали, что решили покинуть лагерь, я назвал имя Эредиа потому, что хотел говорить напрямик… потому что всякое лукавство заставило бы вас еще сильнее презирать меня и еще решительнее отказать в моей просьбе. Теперь я ее повторяю ради больных, которые умирают с голоду… Может быть, поэтому я и признаюсь вам во всем… Дайте нам эти деньги!.. Никакие личные соображения не могут позволить нам бросить больных, раз уж мы их тут собрали. Я не говорю вам о милосердии! Нет!.. Я апеллирую к высшему долгу справедливости!..

– Я дам деньги, – сказала Фани. – Завтра вы получите чек.

– Спасибо, – сказал иезуит хрипло. – Теперь я должен рассказать вам все до конца… Простите!.. Я испытываю неодолимую потребность говорить… Единственная хорошая вещь в нашей системе – это исповедь, но и она почти всегда используется для самых низких целей… Да, исповедь, которая неведомым путем облегчает любую совесть… Начну прежде всего с себя… Я происхожу из семьи мелких дворян, мелких королевских чиновников. В течение веков мои прадеды питались крохами с королевского стола и были вынуждены молчать, одобрять и кланяться, когда король соблаговолит сделать какую-нибудь глупость или какую-нибудь подлость, но прежде всего они должны были молчать… Да, они молчали из лени, из подлости, из боязни потерять место. Я такой же, как они… Я получил это печальное духовное наследство от них. Я тоже молчу и закрываю глаза на ложь нашей метафизики, нашей морали, нашей лжеблаготворительной деятельности из боязни потерять свою хорошую комнату в резиденции, и свои книги, и вкусную пищу, и выдержанное вино. Я люблю соснуть после обеда и, проснувшись, выпить чашку крепкого кофе и почитать Шекспира или Софокла в оригинале… Кто этого не любит? Да, это прекрасно, но это подло и гадко, если ты сознаешь, что другие работают на тебя, что твоя единственная обязанность – прочитать в неделю несколько лекций будущим кюре и монахам, которые в свою очередь будут убеждать тысячи верующих в бессмертии души и во всякой загробной чепухе, чтобы поглубже запустить руку в их кошельки. Целых двадцать два года, с тех пор как я вступил в орден, я сознаю, что это подло, что это бессмыслица, что жизнь… общество могли бы быть устроены гораздо честнее и давать людям гораздо больше радости, но я молчал, потому что молчать при виде подлости – естественно при моей наследственности и моем воспитании… потому что у меня не было сил восстать против лжи и заявить об этом так, как я сейчас говорю это вам… Впрочем, и сейчас меня толкает безумие, а не нравственная сила. Мои нервы расшатаны. Я чувствую, что ужас этого лагеря, этой больницы окончательно сводит меня с ума, что сама действительность отметает как антитезу бессмыслицу моего существования, существования нашего ордена, всей католической системы и даже… о, не знаю, может быть… может быть, всего нынешнего строя! Все тонет в крови, страдании и смуте, но из этого хаоса, из этих развалин завтра, может быть, родится новый мир. Я уже провижу этот мир, сеньора, провижу его в мыслях, хотя и не могу ему принадлежать, потому что я жалкий и ненужный обломок старого, потому что эти двадцать два года, проведенные в ордене, убили мою волю, приучили меня к лени, к покою, к обильной пище и к подлости… Я остаюсь в руинах старого, но есть жизнеспособные натуры, есть люди, которые вышли из народа, они… Вы но присматривались к Доминго Альваресу?… Он деревенский паренек, я отыскал его в Ла-Манче и с большим трудом устроил в одну из наших семинарий. Я вам говорил, что Эредиа его наказал? Да!.. Мне кажется, что Доминго проснулся. В нем что-то зреет. Он еще разорвет цепи, в которые наш орден заковывает всякое живое существо, всякий человеческий дух… Видите ли, есть силы, которые не могут заглохнуть, которые хотят жить. Доминго происходит из семьи неимущих крестьян, батраков, человеческого стада в латифундиях герцога Альбы… Но он во сто крат достойнее жизни, чем мы, аристократы, во сто крат разумнее Эредиа, потому что не обольщается миражами, во сто крат честнее меня, потому что не может терпеть подлости, коль скоро он ее осознает…

Монах умолк и опустил глаза, точно с унылым смирением ожидал, что сейчас на него посыплются хулы. Но Фани не нарушила паузы и дала ему заговорить снова.

– Я отвлекся… Простите! Теперь я хочу сказать вам несколько слов об Эредиа и о моих отношениях с ним, – продолжал он. – Это касается вас. Если человек способен, честолюбив и энергичен, наш орден превращает его в фанатичного демона. Эредиа один из таких демонов. Его кровь и дух – исчадие самого Лойолы. Это ужасный, современный, чудовищно неумолимый Лойола, пострашнее настоящего, который, по крайней мере до того, как ему явилась богородица, вел разгульную жизнь и должен был понимать людей… Я думаю, что Эредиа готовят в преемники Сандовалу, а может быть, когда-нибудь он станет и генералом ордена. В нем есть что-то магнетическое и пленительное. Впрочем, вы сами почувствовали это в достаточной мере. Сандовал бережет его как зеницу ока и только после долгих колебаний разрешил ему в конце концов испытать свою вакцину в Пенья-Ронде. Это совпало с вашим появлением в резиденции, напугавшим супериора. Простите, сеньора!.. Не знаю, сознавали ли вы это, но в вашем поведении было тогда что-то необычное, пробуждавшее подозрения… Сандовал проанализировал его скрупулезно, потому что в молодости он был кавалерийским офицером и знал женщин. Он заметил беспокойный блеск ваших глаз, волнение в вашем голосе, нервные движения. На все это обратил внимание и я. Сандовал больше всего боялся, как бы вы не отвратили Эредиа от ордена, не стали второй Пепитой Хименес.53 Раболепие заставило меня разделить его опасения. Я говорю раболепие, потому что у меня не хватило мужества вынести выговор. Если вы помните, когда вы пришли в резиденцию, я разговорился с вами о достоинствах и занятиях Эредиа. Я сделал это без всякой задней мысли, просто чтобы вас чем-нибудь занять, а может, из какой-то неосознанной симпатии к вам и к вашему увлечению Эредиа. Но, к несчастью, супериор подслушал наш разговор и сразу после вашего ухода сделал мне строгое внушение. Я оправдался, солгав, что хотел испытать, как далеко простирается ваш интерес к Эредиа. Без сомнения, это было подло, но чего еще можно было от меня ожидать? Скажу только в свое оправдание, что как раз в это время я издал книгу о нашем средневековом философе Суаресе. В этой книге давалось совершенно новое толкование его идей, и, таким образом, я оказался в лагере более свободной католической мысли. Но даже за эту жалкую свободу в мышлении… вы понимаете, даже за нее архиепископ толедский обвинил меня в ереси. Я находился, так сказать, в опале и раболепно искал защиты и доверия Сандовала. Мои объяснения его удовлетворили. Более того, мне даже удалось немножко расположить его в свою пользу. Я вам говорил, что этот старец дрожал над Эредиа, как над самым ценным сокровищем ордена. Ваш визит в Ареналес, о котором в тот же день стало известно в Толедо, только ускорил отъезд больницы в Пенья-Ронду. Мы надеялись, что там вы никогда не отыщете Эредиа. И все-таки Сандовал приказал мне сопровождать его и следить за ним, пока он будет там работать. Может быть, вас удивляют эти странные отношения в нашем ордене. Для нас они вполне естественны даже в самых крайних и унизительных своих проявлениях. Наблюдение, слежка, шпионаж, даже, если хотите, вульгарное подслушивание – испытанные средства сохранения дисциплины и чистоты идей в нашем ордене. Ваш приезд в Пенья-Ронду сразу же меня насторожил. Около двух недель я очень внимательно наблюдал за вашими отношениями с Эредиа и, не обнаружив ничего предосудительного, написал Сандовалу, что его подозрения не имеют под собой почвы, по крайней мере по части отношения Эредиа к вам… Я очень подробно перечислил ваши благодеяния и в то же время, как верный сын Христова воинства, который заботится об интересах ордена, осмелился высказать мысль, что благодаря вашей щедрости ваше появление в лагере может значительно сократить расходы ордена на содержание больницы. Да, я помню, я писал именно так… Но странно, Эредиа написал Сандовалу то же самое. Что произошло после этого – вы знаете. Вы взяли на себя почти полностью расходы на содержание всей больницы. Теперь вы видите разницу между ним и мною. Мои действия были подлыми, ничтожными, раболепными… Я думал только о своем спокойствии и о своей библиотеке, о материальном благополучии ордена, которое обеспечивало мне новые книги, обильную пищу и таррагонское вино. А Эредиа думал о другом… Ведь орден нуждается в деньгах, чтобы действовать в пользу монархии, которая отплатит ему новыми привилегиями! Ведь нам надо открывать духовные училища, надо обучать монахов и кюре, надо расширять и расширять католическую империю, силой совлечь скорбящего Христа на землю!.. Не смейтесь, сеньора!.. Таков Эредиа. Неужели вы могли бы смеяться над Дон-Кихотом, сражающимся с овцами и ветряными мельницами? Посочувствуйте только мне, с моим ясным разумом и с моей подлостью!.. Я не верил в бога, в христианские догмы. Для меня существовала только абсолютная идея, только ее развитие, но и она не мешала мне оставаться равнодушным… безнравственно спокойным зрителем царящего в мире зла. Я жил как эпикуреец. В Толедо у меня была любовница. Одна набожная маркиза, вдова, которой я самым серьезным образом доказывал, что после смерти мужа только прелюбодеяние с духовным лицом не расценивается как грех. Утром я читал лекции по монашеской этике, красноречиво доказывал будущим кюре необходимость воздержания, а после обеда посещал любовницу, солгав супериору, что иду раздавать свои скудные сбережения в бедных кварталах Толедо… Да, сеньора, мы все безумцы, как Эредиа, или подлецы… подлецы, как тот, что стоит сейчас перед вами.

Оливарес умолк и потупил взгляд, полный отчаяния и муки.

– Вы закончили?… Это все? – спросила Фани.

Она испытывала странное чувство душевной ясности и бодрости, точно просыпалась после долгого укрепляющего сна.

– Что вы сказали, сеньора? – вздрогнув, спросил иезуит.

– Я спросила вас, закончили ли вы?

– Не знаю, – тупо ответил он. – Я громко говорил?

– Нет!.. Очень тихо… Вряд ли кто-нибудь мог подслушать. Но не думайте больше об этом.

– Я должен идти… – быстро проговорил он, внезапно поднявшись с места. – Я себя неважно чувствую… Я полежу немного в своей палатке, Гонсало меня заменит. Спокойной ночи, сеньора!

– Спокойной ночи!..

Свесив голову, он мелкими шажками пошел из палатки. Но, приподняв полотнище над выходом, оцепенел, и слабый крик вырвался из его груди. То был крик потрясения и ужаса, едва слышный, сдавленный крик существа, которое летит в бездну и, парализованное страхом, не успевает даже повысить голос. Фани подбежала к нему. Монах опустил полотнище и стоял в оцепенении. Только глаза его, все еще расширенные от ужаса, напряженно смотрели в пространство.

– Что случилось? – гневно спросила Фани. – Дьявол, что ли, стоит здесь?

Но тут же она догадалась, кто может там стоять, и, не поднимая полотнища, сказала дерзко:

– Войдите, отец Эредиа!..

Ответа не последовало, и никто не вошел.

Вдруг ей стало страшно, как-то глупо страшно, что она увидит его именно теперь, в этот поздний час и после того, как он слышал весь ее разговор с Оливаресом. Какое малодушие!.. Что может быть для нее желаннее такого случая? Даже если бы она целую ночь ругала Эредиа, ее слова во сто раз меньше уязвили бы и разъярили его, чем это могла сделать горькая исповедь Оливареса! Нет, она не боится его и не раздумывая нанесет ему еще один удар. Да разве она не изобличит его и в том, что он подслушал чужой разговор? Быстрым движением она рванула полотнище.

Эредиа стоял перед самым входом, недвижно, скрестив руки на груди (и одна рука сжимала, как обычно, ужасный, в черном кожаном переплете молитвенник). Сейчас, как никогда, он был похож на деревянную статую Лойолы, которую она видела в резиденции иезуитов в Толедо. Ей даже почудилось, что это, наверное, сам Лойола, бежавший из преисподней. Под слабым светом лампы его исхудавшее лицо казалось еще бесплотней и призрачней, чем обычно. Он не шевелился. Он даже не мигнул, когда она рванула полотнище. Черные блестящие глаза его были прикованы к несчастному Оливаресу и излучали какую-то демоническую силу, от которой тот цепенел. Теперь Фани почувствовала эту силу и на себе. Ее охватила мгновенная слабость, она почти не могла противиться этой повелительной неподвижности. И вместе с тем никогда лицо его не казалось ей более классическим и властным – это оливковое лицо испанского аристократа, в котором античный иберийский овал сочетался с резкими семитскими линиями, создавая неповторимый облик чего-то давно ушедшего, точно в нем виделись сразу или попеременно лица египетского жреца, центуриона римской когорты, кастильского рыцаря и святого. Она как будто поняла наконец, что именно в нем действует на нее так неотразимо и завораживающе и почему она пошла за ним в этот ад, где правят зараза и смерть. От него веяло героической силой народа, который некогда владел миром, романтикой прошлых времен и храбростью мужа, идущего к своей цели без страха, без колебаний и компромиссов, мужа, воля которого никогда не ослабнет. Но какой абсурдной ей казалась теперь эта цель, какими устаревшими и смешными были средства, которыми он хотел ее достичь! Неужели она все еще любит этого сумасшедшего идальго, этого церковного Дон-Кихота, эту средневековую куклу в рясе?…

– Чего вам надо? – спросила она гневно. – Вы похожи на тореро, когда он позирует перед репортерами. Может быть, вас оскорбил наш разговор о папаше Лойоле?

Но он не обратил на ее слова никакого внимания и по-прежнему пронзал Оливареса леденящим, пристальным и неподвижным взглядом. И тогда она увидела, как профессор схоластики вдруг задрожал, как искривилось его лицо, подогнулись колени. Потеряв всякую способность сопротивляться этому магнетическому взгляду, Оливарес упал на колени, приник к рясе своего начальника и стал целовать ее полы, сдавленно всхлипывая:

– Брат… отец Рикардо… виноват… виноват, грешная овца… прости меня, спаси меня, брат…

«Я сойду с ума», – подумала Фани. Вне себя от гнева на слабость Оливареса она схватила несчастного за ворот и стала изо всех сил поднимать его, пытаясь поставить на ноги.

– Встаньте, черт возьми!.. Встаньте!.. О чем вы его просите? Вы и правда овца…

Но Оливарес грубо оттолкнул ее, а потом обхватил обеими руками ноги своего начальника и стал целовать его башмаки, не переставая всхлипывать. То был противный и жалкий плач существа без воли, которое хотело спасти свое спокойствие и свою библиотеку, которое потеряло всякое достоинство и гордость. Не унижал ли этот плач еще более жестоко католический орден, не оскорблял ли он Эредиа еще глубже?

У нее пропало всякое сочувствие к Оливаресу, и она засмеялась тихо, злобно, мстительно, но вдруг осеклась, потому что демонические глаза Эредиа устремились на нее. «Этот идиот хочет загипнотизировать и меня, – подумала она невольно, – но святой папаша ему не поможет». Она выдержала его взгляд и спросила с усмешкой:

– Почему бы вам не испробовать argumentum bacculinum?54 Может быть, он еще исправится.

– Выйдите, сеньора!.. – мрачно приказал Эредиа.

– Я не выйду, – заявила Фани дерзко. – Я хочу полюбоваться этим неповторимым зрелищем… Итак, что вы собираетесь с ним делать? Я думаю, двадцать розог могли бы вернуть его к святой вере.

Эредиа снова перевел взгляд на Оливареса, который продолжал корчиться у него в ногах. Фани заметила, что теперь в его глазах был не столько гнев, сколько разочарование и какая-то бесконечная глухая тоска. Может быть, он переживал одно из самых тяжких потрясений в своей жизни, может быть, падение Оливареса было для него таким же мучительным, каким был бы провал роялистского бунта в Пенья-Ронде. Если сердце и разум зрелого Оливареса изменили ордену, то чего можно ожидать от молодых воинов Христа? И как раз в тот миг, когда Фани показалось, что по его лицу скользнула тень сомнения и слабости, он отступил на шаг назад и, выбросив руку в пространство, выкрикнул дико:

– Вон из лагеря, Оливарес!.. Вон из ордена, подлец!.. Вон из церкви, несчастный!.. Ты слаб, и подл, и труслив, ибо в тебе нет бога!..

– Не кричите так! – холодно сказала Фани. – Вы перепугаете больных.

Оливарес, точно его хлестнули плетью, быстро поднялся и со странным спокойствием отряхнул землю, налипшую на полах его рясы.

– Отец… брат… – убитым голосом опять заговорил он, обращаясь к Эредиа.

– Вон! – бешено крикнул фанатик.

И дон Херонимо Оливарес, ученый комментатор Суареса и Фомы Аквинского, бывший иезуит, бывший солдат Христова воинства, бывший профессор схоластики Гранадского университета, вышел из палатки, оставив за собой тоскливую пустоту. Несколько секунд спустя вышел и Эредиа. Бесшумно, как призрак, Фани последовала за ним. Необъятная тишина висела над умирающим лагерем и степью. Даже стоны больных смолкли. Но трупы продолжали гнить, и воздух теплой летней ночи был пропитан зловонием мира, который разлагался и погибал.

Эредиа вошел к себе в палатку. Там, над его кроватью, в мерцающем свете лампады блестело серебряное распятие. Фани увидела, как монах преклонил колени перед распятием и губы его зашептали бесконечную молитву.

**III**

«Пора лечь, – думала Фани, возвращаясь к своей палатке, – Надо заснуть… Приму двойную дозу снотворного». Но тут же ей пришло в голову, что сначала нужно посмотреть, что с Мюрье. Наверное, Эредиа ушел из его палатки и никого с ним не оставил. Ее возмущение против иезуита возросло, когда она заметила, что из палатки Мюрье не пробивается света. Эредиа бросил его в темноте. Дойдя до палатки, она откинула полотнище и прислушалась: Мюрье спал спокойно. Все-таки она решила разбудить Кармен и оставить ее с ним. Но тут же ей пришло в голову, что сердечная слабость у больных сыпным тифом наступает быстро и неожиданно. Пока Кармен позовет Эредиа или ее, может быть уже поздно. «Я останусь с ним, – решила она, – и, если понадобится, сама сделаю ему укол». Мысль о том, что Мюрье, который приехал сюда ради нее, может умереть, опять подняла в ней прежнюю ненависть к Эредиа. Она снова вернулась к палатке Мюрье, нащупывая в кармане спички, чтобы зажечь лампу.

– Сеньора!.. – послышался шепот в темноте.

От соседней палатки, в которой спал Робинзон, отделилась высокая фигура брата Доминго. Монах придерживал рукой велосипед, на багажнике которого был укреплен узелок. Он осторожно положил велосипед на землю и подошел к Фани.

– Вы тоже не спите? – спросила она с досадой. – Ведь вас наказали!.. Кажется, мы все бродим по лагерю, как сомнамбулы!

– Нет!.. – сказал он загадочно. – Теперь мы не сомнамбулы. Теперь мы все очень хорошо сознаем, что делаем.

– Разве мы что-нибудь делаем?… Куда вы идете?

– Я не иду, я ухожу.

– Что вы здесь делали?

– Стоял за стеной столовой.

Она посмотрела на него строго.

– Вместе с Эредиа?

– Нет! Эредиа был с другой стороны. Я подслушивал ради собственного удовольствия.

– Как видно, вы соблюдаете только дурные традиции ордена.

– В последний раз!.. – весело оправдался он. – Но спектакль был великолепный… Я восхищен вашей начитанностью! Вам необходимо только поглубже познакомиться с классиками марксизма.

– Вы слишком спешите агитировать!

– Тысяча извинений! Я уважаю честных гегельянцев. Но какая коллекция гамлетов получилась из нас! Каждый открывает какую-нибудь трагическую истину и не знает, как поступить… Только Эредиа всегда все ясно!

Фани нервно рассмеялась.

– Тише!..

– Что же вы решили делать?

– Я иду драться за республику.

– Вы этим поможете Испании?

Лицо Доминго стало серьезным.

– Да, сеньора! – сказал он твердо.

– Значит… и вы изменяете Эредиа!.. – произнесла она невольно, и в это мгновение в ней шевельнулось глупое сочувствие к Эредиа.

– Другие сохранят ему верность! – саркастически заметил Доминго.

– Кто?

– Вы, разумеется.

– Но я его ненавижу!..

– Воображение влюбленной женщины.

– Вы говорите глупости… Останьтесь ради больных!

– Больные умрут с голоду, несмотря на те деньги, которые вы обещали… Лучше действовать для спасения здоровых!

– Послушайте, брат…

– Не называйте меня братом.

– Тогда слушай, идиот!.. Пока ты в этой рясе доберешься до фронта, партизанские отряды коммунистов отправят тебя на тот свет прежде, чем ты объяснишь им, что стал марксистом.

– Поэтому я и пришел к вам… Прикажите Робинзону дать мне что-нибудь из его одежды.

– Хорошо!.. Сейчас, – сказала она, испытывая странное сожаление от того, что Доминго уезжает.

И пошла будить Робинзона.

Когда монах в смутном предутреннем свете вскочил на велосипед и навсегда покинул лагерь, Фани долго смотрела ему вслед, пока его фигура не превратилась в точку и не пропала, слившись с бледно-серой лептой шоссе. Может, ей хотелось задержать его ради Эредиа? Глупости!.. Эредиа больше для нее не существует!

Восток начинал светлеть. С северо-запада долетал далекий гул ураганной артиллерийской стрельбы. С полным равнодушием Фани вспомнила слова брата Гонсало о наступлении красных между Тордесильяс и Медина-дель-Кампо. Шоссе от Медины-дель-Кампо проходит через Пенья-Ронду, и, если наступление красных окажется успешным, они могут очень скоро появиться в лагере. Ну и что из того? Тогда Фани просто покажет им свой британский паспорт, и им придется почтительно кивнуть головой, как это сделали таможенники в Ируне. Такое же впечатление, несомненно, произведет и паспорт Мюрье. Но самое разумное – тронуться в путь на другой же день с утра, чтобы избежать всякого соприкосновения с красными. Здесь ей все опостылело, все… Но когда она пошла к лагерю, то вдруг спохватилась и вздрогнула. Мюрье болен. Мюрье не может ехать.

Она опять пошла мимо палаток, битком набитых грязными, потными телами, бедняками, умирающими от сыпного тифа, которые заживо гнили на соломенных подстилках. Она почувствовала отвращение к ним, отвращение к тому, что они смердят и могут заразить ее своими вшами. Раньше она как будто бы не ощущала этой вони и, в присутствии Эредиа, входила к ним, шагая прямо по лохмотьям. Но теперь они были ей омерзительны, она не могла их больше выносить. Она знала, что, например, вон в той изодранной палатке, которую брат Доминго столько раз латал, лежит кастильская крестьянка, которая пришла в лагерь, хотя была здорова, потому что никакая сила не могла оторвать ее от больного сына. Через три недели заразилась и она, а сын ее умер. Потом эта крестьянка потеряла рассудок, и Фани испытывала перед ней какой-то особенный ужас, и вместе с тем ей хотелось больше всего заботиться именно о ней. Но теперь она торопливо прошмыгнула мимо ее палатки, чтобы не видеть безумную, которая имела обыкновение стоять по ночам у входа.

«А-а-а!.. Бежишь!.. – внезапно ужалил ее внутренний голос – Раньше ты этого не делала!.. Теперь Эредиа тебя не интересует, больше тебе не перед кем позировать, теперь ты хочешь только спасти свою шкуру!.. Тебе никогда не понять, что испытывала эта огрубевшая от полевых работ женщина, когда сжимала труп своего сына, потому что ты злоупотребляла любовными наслаждениями и у тебя никогда не будет детей, потому что ты бесплодна и холодна, как камень, потому что ты живешь только для себя…» – «Я сойду с ума!.. – думала она, пробираясь между палатками. – Надо принять люминал и заснуть наконец».

Дойдя до палатки Мюрье, она приподняла полотнище и заглянула внутрь. Там было темно, как и раньше. Она ожидала услышать знакомое равномерное дыхание, но теперь в палатке царила полная тишина. Она опять прислушалась и не уловила никакого дыхания. «Наверное, проснулся», – подумала она, но внезапное подозрение, пронзившее ее, помешало ей шевельнуть губами и что-нибудь сказать.

– Жак! – позвала она вполголоса немного погодя.

Она несколько раз повторила его имя, но ответа не последовало. Тогда, похолодев от ужаса, она зажгла фонарик и направила свет на кровать. Мюрье лежал, уткнувшись лицом в подушку, одна его нога неестественно свесилась с кровати. Слабо вскрикнув, она положила фонарик на стол, обеими руками схватила Мюрье за плечо и повернула его к себе. Лицо француза было синевато-бледным. Глаза смотрели с безжизненным стеклянным блеском, глаза, которые уже не имели выражения, а только отражали свет фонарика. На его высоком, прорезанном вздувшимися венами лбу рассыпались пряди черных, еще влажных от пота волос. Внезапно она почувствовала, что ноги у нее подкашиваются и что-то сжимает ей горло, мешая разразиться истерическими воплями. Она упала на стул и в безмолвном отчаянии стала кусать и раздирать себе ногтями руки, пока на них не появились кровавые борозды. Но из глаз ее не потекли слезы. Боль пересилила припадок и заставила ее прийти в себя. Она успокоилась, ощутила страшную ледяную пустоту и властное желание закурить. Уже больше часа она не курила.

Сейчас она не думала о том, что Мюрье приехал сюда ради нее, хотя раньше она это сознавала и спустя некоторое время она опять будет это сознавать. По неискоренимой эгоистической привычке она и теперь прежде всего подумала о себе. Что она станет делать без Мюрье? Ее охватило такое чувство, словно она идет по бесконечной серой равнине, не зная куда. И ей как будто стало жалко – сначала себя, затем Мюрье, который умер в своей палатке, в темноте, совсем один, брошенный, как собака. Эредиа должен был остаться у его постели на всю ночь и следить за его больным сердцем, которое сыпной тиф доконал в первые же часы. Опять в ней поднялась прежняя ненависть к Эредиа. Наверное, он бросил Мюрье, чтобы пойти бормотать свои молитвы, которые не успел прочитать за день (но вместо этого увлекся подслушиванием ее разговора с Оливаресом).

– Идиот! – с яростью процедила она сквозь зубы. Ничто не бесило ее так, как его молитвы, как этот его громкий шепот перед распятием.

Она бессознательно зажгла сигарету и сразу ее потушила. Неужели именно это должно быть ее первым действием сейчас, рядом с трупом? Но тут же она подумала, что Мюрье не пожелал бы, чтобы возле его трупа зажгли свечу или плакали, Она пристально всмотрелась в линию его губ, посиневших и насмешливо изогнутых, точно он хотел сказать: «Кури!.. Не волнуйся! Это ничего, что ты сидишь перед мертвецом. На твоем месте и я, возможно, сделал бы то же самое». Да, только Мюрье мог ее понять, и опять она ощутила острую боль – из-за того, что он мог ее понять. Она послушалась совета мертвеца и закурила, а потом ей пришло в голову, что надо закрыть ему глаза. Она знала, что, если веки открыты, роговица высохнет и сморщится, а она не хотела видеть эти черные глаза, которые она много раз целовала, высохшими и сморщенными. И она закрыла ему глаза, сжимая сигарету в зубах.

Но, делая это, она осознала, что в том, как она их закрывала, в ее отрешенности и спокойствии было что-то отвратительное, что-то бесчеловечное, что ни один из живых в этом лагере не мог бы так себя вести. И тогда она опять услышала внутренний голос, говоривший: «Ты сознаешь свой эгоизм, ты чувствуешь, что лед сковал твое сердце… Ты не хочешь быть такой, но ты ничего не можешь, и оттого ты сама себе чужая, оттого ты только что искусала себе руки, а теперь так спокойно закрываешь ему глаза, сжимая в зубах сигарету… Да, в тебе страшная раздвоенность. Твоя совесть не может победить эгоизм, а эгоизм не может задушить совесть. Оттого ты несчастна, оттого ты страдаешь, оттого не можешь спать без люминала… Вот откуда твоя истеричность, твоя неврастения, твое безумие! А эгоизм твой взращен наслаждениями, которые убили твою волю, нелепым устройством того мира, который дает возможность тебе и твоему классу брать все и не давать ничего… Сластолюбие растлило твой дух, твои нервы истощены праздными ночами в казино, где ты швыряла деньги, выжатые из арендаторов твоих земель. Ты бесстыдно ищешь одних удовольствий, одних наслаждений… Оттого ты погналась за Эредиа, оттого ты теперь так невозмутимо куришь перед еще не остывшим трупом друга, который тебя любил. Ты куришь сейчас не оттого, что ты лишена предрассудков, не из эксцентричности, не оттого, что Мюрье не был бы оскорблен твоим поступком, а просто потому, что тебе хочется курить, что у тебя не хватает воли заставить себя не курить и проявить уважение, которое мы с незапамятных времен привыкли оказывать мертвым… Да, ты видишь, ты сознаешь все это, но ты не в силах ничего изменить. Ты, как Оливарес, бесполезная, никому не нужная рухлядь. Оттого ты идешь ко все большему безумию, оттого ты осуждена на гибель». – «На гибель? – ответила она презрительно голосу, истязавшему ее душу. – Но я не суеверная гусыня, не дура, чтобы бояться самой себя. Я до конца останусь такой, какая я есть». – «Тебе не выдержать, – мрачно отозвался голос. – Твои нервы истощены. Сильными были твои прадеды, когда они порабощали мир и завладевали океанами, а ты подточена богатством, которое они скопили. Оттого ты не выдержишь, оттого ты идешь к гибели. Не правда ли, ты чувствуешь… этот мертвец тебя смущает. Ты знаешь, что это нелепо, но все-таки он тебя смущает. Ты знаешь, что и мир, и жизнь, и душа человека подчинены логике, от которой ты отклонилась, вот что тебя смущает. Только животное может стоять так бесчувственно перед трупом другого животного, как ты стоишь перед этим мертвецом, который тебя любил и который умер в этой дыре ради тебя. А ты не животное, ты человек, но пропащий человек. В твоей бесчувственности есть что-то страшное… Как, ты не сознаешь этого?» – «Сознаю, – гордо и печально ответила она, – но не боюсь». – «Подожди, и мы еще увидим!» – насмешливо сказал голос. А она все курила и пристально смотрела на труп, иронически спрашивая себя, какие еще глупости могут прийти ей в голову. Но чем упорнее она смотрела на него, впивалась в него глазами, тем явственней ощущала, как нервы ее натягиваются, как тупой ужас незаметно завладевает ею, потому что она сознательно вызывает то, чего, в сущности, боится, но чему не в силах противостоять.

Вдруг что-то грохнуло, и палатка потонула во мраке. Она вскрикнула и метнулась к выходу, чувствуя тупой удар в бедро чем-то мягким, точно мертвец пнул ее ногой. Выскочив, она сразу овладела собой и начала смеяться. Хватит глупостей!.. Она снова вошла в палатку и сердито чиркнула спичкой. «Нервы расшатались», – сказала она почти вслух. Это, гася сигарету, она локтем столкнула со стола электрический фонарик, а когда побежала из палатки, задела бедром ногу мертвеца. Лучше всего сейчас уйти из палатки. Что за идиотское упрямство – оставаться с Мюрье именно тогда, когда она ему уже не нужна. «Я пойду к себе, – решила она твердо, – и лягу наконец». Но она понимала, что ей трудно будет заснуть, что она вообще не заснет, что ей только хочется бежать от мертвеца.

И она бежала.

Войдя в свою палатку, она почувствовала облегчение. Спокойный сон и здоровое дыхание Кармен источали жизненную силу, которая проникала и в нее. Пока Фани раздевалась, девушка открыла глаза и замигала, ослепленная сильным светом фонарика.

– Вы встаете, сеньора? – спросила она, сбросив одеяло и поднимаясь.

– Нет!.. Я ложусь… Тебе незачем вставать.

– Как дон Сантьяго?

– Дон Сантьяго умер.

– Santпsima!..55 – прошептала в ужасе испанка.

Она вскочила с кровати и стала быстро одеваться.

– Зачем ты встаешь? – нервно спросила Фани.

– Я хочу видеть дона Сантьяго, – сказала девушка кротко. – Я пойду в часовню прочитать молитвы за упокой его души.

– Пока тебе незачем туда идти… Его тело еще не одето. Ты испугаешься.

– Я не боюсь мертвецов, сеньора.

«Знаю, – подумала Фани. – Вы, испанцы, как только родитесь, начинаете думать о мертвецах и о том свете».

– Да, но в палатке темно. Никто еще не знает, что дон Сантьяго умер. Я случайно зашла в его палатку и увидела.

– Как?… – воскликнула Кармен растерянно. – Неужели покойник и сейчас один?

– Ну и что из того?

– Господи!.. Наверное, вы и свечу не зажгли!.. Мы никогда не оставляем мертвых одних, потому что потом их души не найдут покоя.

«И нам придется прятаться от них», – горько подумала Фани.

– Ты права… Но где нам найти свечу?

– У меня есть в сундучке, – ответила девушка.

«И опять я не легла», – подумала Фани, но инстинктивное желание последовать за девушкой заглушило досаду. Пока Кармен искала в сундучке свечу, Фани оделась. Потом они вместе пошли в палатку Мюрье. Они одели мертвеца, повернули его на спину, выпрямили ему ноги и сложили руки крестом на груди. Кармен зажгла свечу и стала шептать молитвы. А Фани опять почувствовала, что в этой девушке есть какие-то первичные жизненные силы, которые делают ее твердой как скала. «Видишь? – прошептал ей голос, который она слышала недавно. – Она суеверна, она верит в загробную жизнь и в бессмертие души, но не боится самой себя, потому что идет в потоке миллионов людей, связанных друг с другом и солидарных, потому что она пришла сюда не в поисках наслаждений, а чтобы скопить немного денег для своей семьи… О, совсем не религия дает ей спокойствие! Ее бог и ее молитвы только выражают мир, который царит в ее душе, именно в нем она черпает свое спокойствие и свою жизненную силу. Ты образованна и умна, ты не веришь в бессмертие души, но все-таки ты боишься… Боишься отсутствия этого мира, боишься самой себя, своего эгоизма, который противостоит логике жизни, который отрывает тебя от общего потока и солидарности всех людей. Может быть, ты родилась такой, может быть, твой эгоизм – плод этой оторванности, но важно то, что между тобой и миром нет нравственной связи… Оттого ты одинока, оттого ты боишься». – «Я не боюсь», – сказала она с болезненным упрямством, с завистью глядя на спокойное лицо Кармен и ее молодые губы, которые шептали молитву. «Нет, боишься! – повторил голос – Боишься до ужаса самой себя, одиночества и смерти. Вспомни, как в прошлом году в Довиле ты стала злоупотреблять морфием, и с тех пор ты постоянно боишься опять предаться этому пороку. Вспомни, как полчаса назад ты убежала из палатки Мюрье, потому что боялась его трупа, смерти… Да, ты боишься всего, потому что сознаешь, что ты оторвалась от осмысленной жизни и от людей, сама превратилась в бессмыслицу, в рухлядь, в зло…»

Кармен кончила читать молитвы и почтительно села в ногах у покойника. Пламя свечи бросало трепетные блики на ее смуглое узкое лицо. И как все испанские лица, оно излучало какую-то умиротворенную серьезную печаль, какое-то поразительное спокойствие перед явлением смерти.

– Ты останешься здесь до утра? – спросила Фани.

– Да, сеньора.

– Тогда я пойду лягу… Я не спала всю ночь, – сказала она с ударением, желая оправдать свой поступок.

– Да, вам надо лечь, – сказала испанка.

И она бросила слегка удивленный взгляд на свою госпожу, которая могла спать в ту самую ночь, когда умер дон Сантьяго. «Дура, – раздраженно подумала Фани. – Ты можешь остаться, потому что ты спала до сих пор… А я не могу. Я валюсь с ног, еще немного, и я подохну». Но тут же она почувствовала, что, в сущности, опять хочет бежать, потому что этот труп по-прежнему смущал ее, мучил и пугал.

Она вернулась в свою палатку и легла, но не могла заснуть. Тогда она приняла несколько таблеток снотворного и через полчаса потонула в тяжелом наркотическом сне.

Она проснулась вся в поту. Ей показалось странным, что в палатке темно и снаружи не доносится никакого шума. Неужели еще не рассвело? Она зажгла фонарик и посмотрела на часы. Стрелка показывала пять. Наверное, часы остановились. Но часы тикали, и тогда вдруг ее осенила гнетущая мысль, что она проспала беспробудно весь день и что сейчас уже следующая ночь. Какое безумие в самом деле!.. Она вспомнила, что приняла тройную дозу снотворного.

– Кармен! – крикнула она громко.

Ответа не последовало. Она направила свет на кровать девушки и увидела, что кровать пуста. Встала и оделась. Надо посмотреть, что делается в лагере. Наверное, Мюрье уже похоронили и теперь гадают, куда девался брат Доминго. Вдруг она услышала гул артиллерийской стрельбы, но теперь уже совсем близко, так близко, что металлические предметы на столе задребезжали.

– Кармен! – крикнула она громче и сама заметила, что в голосе ее прозвучали нотки истерического испуга.

«Кричу как сумасшедшая, – подумала она, потом снова услышала канонаду. – Красные, наверное, совсем близко, но паспорт у меня в кармане».

– Иду, сеньора!.. – неожиданно отозвался голос испанки.

Фани услышала ее шаги, и вслед за тем девушка, откинув полотнище, встала у входа в палатку.

– Где ты была?

– В палатке дона Сантьяго.

– Его похоронили?

– Нет еще, сеньора… Отец Рикардо настаивал, чтобы мы его похоронили вчера, но я попросила отложить на сегодня, я подумала, что и вы захотите присутствовать на погребении. Бедный дон Сантьяго!.. Мы очень тревожились и за вас. Брат Гонсало заметил по пузырьку, что вы приняли снотворное. Мы испугались, что вы спутали дозу, но отец Рикардо установил, что, несмотря на глубокий сон, сердце у вас бьется нормально, и мы успокоились. Случились и еще страшные дела, сеньора…

– Зайди в палатку!

– Сейчас!.. Я попрошу брата Гонсало посидеть около покойника.

– Зайди в палатку!.. – истерически крикнула Фани. – Никто не украдет покойника…

Девушка подчинилась и вошла в палатку, глядя на Фани расширившимися от страха глазами.

– Не смотри на меня так! – ласково сказала Фани, потрепав ее по щеке. – Я кричу, потому что нервничаю… Что случилось?

– Сеньора… – начала девушка, но голос ее оборвался. Потом она глотнула воздух и договорила: – Сеньора… Отец Херонимо повесился…

– Отец Херонимо?… – произнесла Фани ледяным шепотом, повернувшись к Кармен. Потом подумала без всякого волнения: «Да, это чересчур даже для испанских нервов». – Когда его нашли в петле? – спросила она и стала поправлять волосы.

Испанка опять уставилась на Фани с прежним ужасом в глазах.

– Не смотри на меня так! – снова приказала Фани. – Чего ты хочешь? Чтобы я тоже повесилась, да?

– Нет, сеньора, – механически ответила испанка.

– Тогда приди в себя!.. Почему я внушаю тебе страх?

– О, вы не внушаете мне страха!

– Почему ты дрожишь?

– О, я не дрожу, сеньора!..

– Что еще случилось?

– Еще?… Не знаю… Вчера утром мы вытащили из палаток восемнадцать трупов… Отец Рикардо сказал, что больные умирают, потому что нет еды и лекарств… Повар сбежал, но пришли пять монахов из ордена святого Бруно. Сейчас они копают могилы, и мертвецов стали зарывать быстрее.

– О!.. Утешительно!

– Что вы сказали, сеньора?

– Я говорю, что святой Бруно нам поможет… Где отец Рикардо?

– В часовне.

«Значит, опять молится!» – подумала Фани в бешенстве. И крикнула, изливая свой гнев на девушку:

– Приди наконец в себя, цыганка!.. Не смотри на меня так! Я не ем людей! Что ты думаешь делать теперь?

– Что прикажете, сеньора…

– Тогда укладывай чемоданы!.. Завтра мы уезжаем. Я пока соберу бумаги дона Сантьяго.

– Лучше вам не заходить к нему в палатку, – сказала Кармен.

– Почему?

– Потому что труп начал разлагаться.

– Пахнет?

– Да. Вчера днем у него раздулся язык и вывалился изо рта.

– Как раз для моих нервов. Но все же я должна туда пойти. Прикрой ему чем-нибудь лицо!..

Кармен вышла выполнить распоряжение.

Фани съела кусок шоколада и два сухаря. В ночной тишине раскатился гул канонады. «Надо скорей убираться отсюда, – решила она. – Но зачем все это было?» Как виноватый и избалованный ребенок, она перебрала в памяти все события, которые привели ее сюда, и опять пришла к заключению, что в ней есть что-то гнилое и ущербное, что ей уже не стать прежней. «Сейчас мне еще хуже, чем раньше, – подумала она. – Нервы совсем расшатались».

Вдруг она спросила себя, что ей делать до утра. Бумаги Мюрье можно разобрать за несколько минут. Кармен провозится с чемоданами не больше часа. А потом? Как сове, сидеть до утра и бороться с неврастенией? Ей пришло в голову, что уехать не так просто, как она раньше думала. Прежде всего для путешествия надо запастись пропуском, подписанным доном Бартоломео, расспросить, каким маршрутом безопаснее ехать и какие пограничные пункты держат франкисты, что было вряд ли достоверно известно даже самому допу Бартоломео. Чтобы разузнать все это хотя бы приблизительно, потребуется самое меньшее день. Значит, она может уехать не раньше послезавтра. Глупо было заставлять Кармен немедленно складывать чемоданы. Мысль о задержке и обо всех делах, которые ей предстояли, придавила ее и расстроила. «Поеду без пропуска», – гневно решила она, но тут же сообразила, что по политическим причинам франкисты не очень-то склонны считаться с британскими паспортами. Она сжала губы в бессильной злобе. Кармен вернулась и сказала, что покрыла труп простынями.

– Мы возьмем одежду дона Сантьяго? – спросила девушка кротко.

– Дура!.. Мы не возьмем даже собственной одежды! Или ты хочешь, чтобы мы увезли отсюда тифозных вшей? – Потом она обуздала свой гнев и процедила сквозь зубы: – Бери только самое необходимое! И пока подожди складывать чемоданы! О, перестань плакать!.. Значит, и ты решила свести меня с ума!

«Я невыносима», – подумала она, но, не желая унижаться перед девушкой, не стала успокаивать ее, а быстро вышла из палатки. Ее обдало свежим ветром со Сьерра-Дивисории. Заря занималась, а на фиолетовом небе еще блестели звезды. Канонада все грохотала. В промежутках между глухими залпами орудий, захлебываясь, долго тарахтели пулеметы. Где-то далеко над горизонтом поднималась едва видимые ракеты. «Красные, – опять подумала она. – Надо немедля бежать отсюда». Дрожа от страха, она вернулась в палатку и крикнула:

– Кармен!

Она хотела сказать: «Скорей складывай чемоданы», но вспомнила, что только что приказала обратное.

– Ничего!.. – сказала она девушке. – Ложись сейчас же спать!

«Я схожу с ума!.. Я схожу с ума!» – стала она повторять про себя и опять почувствовала буйный припадок истерии, который понуждал ее разразиться воплями, кусать себе руки, рвать на себеодежду.

Она с трудом овладела собой и вошла в палатку Мюрье. Кармен так хорошо укрыла труп простынями, что он почти не был виден. Но запах ее душил. Она стала быстро перерывать чемоданы, не находя в них ничего, что имело бы смысл забрать. Наткнулась только на связку писем – их было с десяток, – которые она когда-то ему писала и которые он сентиментально хранил до сих пор. Зачем он их взял сюда? Или он возил их с собой повсюду? Она вытащила одно из них. Письмо было датировано 1935 годом и начиналось словами: «Если ты еще раз поведешь меня на Вагнера, я начну флиртовать с кельнерами-нацистами». Она развернула и другие письма. Все они были написаны в один и тот же период, в Германии, когда они предавались там любви. В одном месте она жаловалась: «Ты становишься сильной личностью… Вчера вечером не остался у меня в номере», а в другом восклицала: «Значит, ты хочешь, чтобы мы поженились! Видно, эти лилипутские баварские горы настраивают тебя на сентиментальный лад!» Письма были пронизаны цинизмом и снисходительной нежностью, но Мюрье хранил их, как реликвии. На нее нахлынул рой воспоминаний. В ее сознании возник Мюрье таким, каким она увидела его в первый раз два года назад, – молодой, свежий и жизнерадостный. Ей вспомнились ночи и наслаждения, пережитые с ним, экскурсии, мелкие смешные случаи. И тот самый человек, то тело, те руки, в объятии которых она замирала, – все лежит сейчас перед ней разложившимся, зловонным трупом… Как странно все это!.. И как страшно! Она снова почувствовала приступ ужаса, который испытывала ночью, приступ, который вот-вот разрешится в рыданиях и воплях.

Опять она с неимоверным трудом овладела собой, отложила письма и опустилась на походный стул. Взгляд ее бессмысленно и дико блуждал по палатке. Внезапно она заметила на столе медицинскую сумку Мюрье. Надо взять хотя бы эту сумку. Иначе в нее тоже могут наползти вши. Не исключено, что сумка понадобится ей в пути. Она открыла ее, чтобы посмотреть, что в ней есть. В сумке лежали медицинские инструменты и лекарства для оказания первой помощи. Фани проверила запас бинтов и, уже закрывая сумку, обратила внимание на коробочку с испанской надписью. В ней были ампулы морфия. Да, это был морфий!.. Вдруг ее пробрал страх оттого, что перед ней шприц и ампулы с морфием. «Нет, ни за что! – решила она. – Только этого мне не хватало!» Но тут же она вспомнила сладостное действие наркотика и блаженное успокоение нервов после укола. В прошлом году она употребляла морфий для удовольствия, но сейчас она действительно в нем нуждалась. Десять сантиграммов подействуют на нее отлично, успокоят ее нервы, вернут ей равновесие духа. Да, только десять сантиграммов и только в этот вечер!.. Глупо бояться наркомании! Неужели она не сможет отказаться от морфия, когда захочет? Именно сейчас ей надо быть спокойной, дальновидной, хладнокровно обдумать свои действия, именно сейчас ей надо избавиться от этой раздражительности, от этого тупого ужаса, который преследует ее повсюду. «Да, только на этот вечер! – решила она твердо. – И когда поеду, сумку с собой не возьму». После короткого колебания она вынула шприц и стала промывать его спиртом, но потом отложила. Внутренний голос предупреждал: «Берегись!.. И в прошлом году ты начала так же и дошла до ежедневных приемов. Тогда Мюрье едва тебя спас, а теперь тебе некому помочь». Она закрыла никелированную коробочку со шприцем, твердо решив сейчас же уйти из палатки, но тут же пожалела о том покое, который охватил бы ее после укола. «Только один укол! – подумала она. – Только один!.. Я не должна быть такой малодушной! Сейчас мне прежде всего необходимо спокойствие». Но опять она задумалась и опять заколебалась. И тогда она снова почувствовала, как отовсюду к ней подбирается невидимый тупой ужас, заползает к ней в душу, снова со страхом почувствовала приближение припадка. «Мне не выдержать, – сказала она почти вслух. – Я не могу… не могу больше…» Воля ее слабела. Она машинально вскрыла пилочкой ампулу, наполнила шприц и вогнала иглу себе в бедро. Вскоре она почувствовала во всем теле легкий озноб и невыразимо приятное ощущение покоя, волшебного и странного покоя, как будто все, что делалось вокруг, уже не могло ни затронуть ее, ни смутить. Ей казалось, что она висит в воздухе, что одежда не касается ее тела, что вместо ненависти к Эредиа и ужаса перед этим лагерем, перед смертью Мюрье, сыпным тифом она испытывает какое-то странное, легкое, приятное, щекочущее любопытство.

Она посидела немного в таком состоянии, не думая о Мюрье, о наступлении красных, об умирающем лагере и о дороге, которая ей предстояла. Потом встала и пошла к себе в палатку. Кармен сидела на кровати, и по ее лицу катились крупные молчаливые слезы.

– Что же ты не спишь?… – ласково спросила Фани.

Испанка не ответила. Фани медленно разделась, погасила лампу и легла. Морфий незаметно погрузил ее в сон.

Она проснулась поздно, с головной болью, но достаточно бодрой, чтобы тотчас встать с постели. Увидела неизменное синее испанское небо, ослепительное солнце, выжигавшее последнюю растительность на красных глинах и песках пустынной степи. Увидела она и монахов из ордена святого Бруно, которые выносили трупы из палаток и таскали их в овражек, к ямам, вырытым ими за ночь. Они были невообразимо грязные, их почерневшие высохшие тела проглядывали сквозь ветхие и дырявые рясы. Один из них приветствовал ее ужасным «Memento mori».56

– Когда будут хоронить дона Сантьяго? – спросила Фани за умываньем, пока Кармен поливала ей на руки воду.

– Монахи его уже похоронили, – ответила девушка. – Больше ждать было нельзя.

– Тем лучше, – сказала Фани. – Мне трудно было бы выдержать эти похороны, дон Сантьяго был мне очень близок.

Кармен кивнула головой, но ничего не сказала.

– А отец Херонимо? – спросила Фани, плеская водой себе в лицо. – Его тоже похоронили?

– Похоронили, – сказала девушка.

– Кто его отпевал?

– Никто.

– Почему?

– Потому что он совершил смертный грех, посягнул на свою жизнь.

– Только поэтому?

– И потому, что он отрекся от бога, – мрачно объяснила испанка.

– Кто тебе это сказал?

– Отец Эредиа.

– Свари кофе, – сказала Фани, вытеревшись и бросая полотенце на руки девушке. – И не уходи далеко от палатки. Мы можем поехать в любую минуту… Поняла?

Она выпила кофе перед палаткой и, глядя на монахов, которые все носили и носили трупы в овражек, опять стала думать об Эредиа.

Наконец она видела его таким, какой он есть в действительности. Это безумец, бесплодный человеческий дух, отрицание жизни, всякой радости и счастья… Теперь она видела, что это бесчувственный и злой жрец мрака, небытия и смерти, за которой стоит жестокое, холодное и безнадежное ничто. Вся метафизика, вся мораль, все безумное самоотрицание Эредиа построены на бессмертии души, которого никто не видел и не доказал, которое противоречит разуму и, следовательно, само есть ничто. Оливарес покончил самоубийством от ужаса перед этим ничто. Доминго бежал, чтобы бороться против этого ничто. Вся республиканская Испания поднимается, чтобы защитить себя от бессмыслицы и жестокости этого ничто.

Она ощутила злобное любопытство: что-то делает сейчас Эредиа? Ей хотелось увидеть его именно сейчас, когда его мечты об успехе бунта потерпели крах, когда он покинут друзьями, унижен своим бессилием, угнетен грудами тифозных трупов, отравляющих воздух. Ей хотелось увидеть его гордость сломленной, его веру разбитой, посмеяться над паническим страхом, вероятно вызванным в его душе зрелищем смерти и приближением красных. Ей хотелось изобличить его безумие, его фанатизм, его слепоту, бросить ему обвинение в смерти Мюрье, в самоубийстве Оливареса, в бегстве Доминго, в кровавой бойне, в которую ввергли испанский народ. Ее слова должны исполосовать его совесть, как удары бича, раздавить его, как жалкого червяка… И после этого она сядет в машину и уедет.

Все сильнее возбуждаясь от своих мыслей, от ненависти и ярости, она встала и пошла к палатке Эредиа.

Никогда лагерь не казался ей таким страшным. В этот знойный день, под синим небом и ослепительным блеском солнца обветшавшие палатки, глаза, лица и лохмотья больных казались призрачными. Некоторые больные выползли наружу и примостились в тени палаток. Другие хрипели на соломе поближе к выходу, пытаясь спастись от духоты. Глаза мутились, жажда терзала глотки. Все просили воды, непрестанно молили о воде. Старая кармелитка и Долорес, переболевшие тифом и потому не боявшиеся заразы, растерянно сновали среди страдальцев и подносили им тепловатую безвкусную воду, которую черпали из бадьи. Но стоило им дать кому-нибудь глоток, как тот через две минуты просил еще, и они были вынуждены безостановочно двигаться среди больных.

– Aqua!.. Aqua, рог favor,57 – слышалось со всех сторон.

– Хватит, Пепе!.. – сварливо бранилась Долорес – Хлещешь, как лошадь!.. – А потом обращалась к другому: – Хоселито, ведь я тебе только что дала.

И так как она не присаживалась ни на минуту и смертельно устала, потому что была занята этой работой с самого утра, она вымещала раздражение на больных, не давая воды тем, кто просил больше всех. Кармелитка была терпеливей. Сломленная старостью, постоянно погруженная в мысли о рае, который ждет ее душу, она немощно ковыляла от одной палатки к другой и подносила воду больным, бормоча с механической нежностью:

– Сейчас, сынок, сейчас!..

– Aqua… aqua, рог favor, – просили больные.

И они получали воду, одну воду, и пили ее, в то время как их сжигала лихорадка и мучил зуд от укусов вшей, потому что лекарств не было и не было дезинфекционной машины, которую дон Бартоломео реквизировал для королевских отрядов наваррцев.

– Aqua!.. Aqua!..

И эти жалобные голоса, эти землистые лица и горящие как уголь глаза, эти умирающие от сыпного тифа люди, голодные, грязные и вшивые, посылали вечное проклятье испанского народа католическому милосердию, папам, кардиналам и епископам, всем королям и аристократам, которые держали их здесь в грязи, голоде и вшах и поручали безумным монахам заботиться о них…

**IV**

Дойдя до палатки Эредиа, она остановилась перед входом и громко спросила:

– Можно войти?

Ответа не последовало.

Тогда она приподняла полотнище и заглянула внутрь. Эредиа сидел за столом. Фани не колеблясь вошла. В желтоватом свете, наполнявшем палатку, она вдруг заметила, что он поседел. И оттого, что его волосы поседели, по телу ее пробежала дрожь. Он не читал, не писал и не просматривал медицинские журналы, что было его постоянным занятием в те часы, когда он не молился в часовне и не лечил больных. Он сидел за столом, заваленным книгами и тетрадями, и смотрел прямо перед собой совершенно неподвижно, как человек, который ничего не делает, ни о чем не думает, ничего не чувствует. Даже появление Фани не вывело его из оцепенения. Когда ее глаза привыкли к полутьме, она увидела, что выражение его лица осталось прежним. Это было все то же лицо изнуренного бессонницей и работой человека, которое она видела каждый день. Только волосы поседели, ужасно поседели, потеряли свой иссиня-черный блеск, и это обстоятельство привело Фани в смятение. «О, как же его перевернуло все это!» – подумала она, но, вопреки своим ожиданиям, не обрадовалась. Сейчас он вряд ли был в силах отражать ее нападки. Сейчас он казался слабым, сломленным, разуверившимся, хотя это можно было заключить только по внезапной седине, но не по выражению его лица, ничуть не изменившемуся. Но волосы, волосы!.. Быть может, наконец огненный мираж всемирной империи Христа больше не маячит перед ним, быть может, он видит свое заблуждение, быть может, он сознает свое безумие. Теперь, быть может, он примет сочувствие любящей женщины, примет помощь, явившуюся отнюдь не с неба. Фани почувствовала, как вся ее ненависть, все недавнее злорадство пропали. В ней проснулась легкость и радость того весеннего дня, когда она ехала разыскивать его в Толедо. Ее охватила глубокая нежность к этим внезапно поседевшим его волосам, к его бледному, аскетическому лицу и тому страданию, которое, вероятно, раздирает его изнутри. Теперь она хотела только подойти к нему, обнять его голову и прижать к своей груди, сознавая, что и сама почувствует от этого бесконечное облегчение, что не будет испытывать прежнего ужаса перед смертью и одиночеством, не будет слышать тот страшный внутренний голос, который ее изобличал, и не будет разражаться истерическими припадками. Как спокойно стало сразу у нее на душе, как она сейчас любила Эредиа и вместе с ним весь мир!.. Теперь она знала, что никогда не расстанется с Эредиа, что даже ужас смерти от сыпного тифа не заставит ее уйти, что она готова храбро встретить смерть вместе с ним. Она хотела только одного: чтобы он почувствовал ее нежность, принял ее, как любящую женщину, отрешился от страшного холода своего фанатизма, который всегда его сковывал. Она хотела только этого!.. И она медленно пошла к нему.

– Где Доминго?… Вы последняя разговаривали с Доминго! – внезапно произнес он.

Тело его было истощено бессонницей, работой и молитвами, душа разрывалась от муки, но голос был все тот же – суровый, фанатичный голос неслабеющей воли, нечеловеческой энергии и ненависти ко всему земному, голос, который, казалось, исходил из алтаря Монсератского монастыря и сейчас ударил душу Фани, как железный молот ударил бы нежную фарфоровую вазу. Глаза его опять загорелись, будто угли, и в них опять светилась демоническая бесчувственность существа, для которого человек и любовь – неизвестные, чуждые понятия.

– О, молчите!.. – прошептала она умоляюще. – Не говорите сейчас!

– Где Доминго? – повторил он. – Кармелитка сказала мне, что вы проводили его до шоссе и он уехал на велосипеде.

– Не говорите!.. Не говорите, что она вам сказала!..

– Почему?… Вы боитесь? – Голос его прозвучал с мрачной иронией.

Он встал и пошел к ней, точно хотел испепелить ее взглядом. А она почувствовала, что снова ненависть к нему сковывает ее сердце, а чувство, испытанное ею только что, – просто глупость, что теперь она опять видит его таким, какой он есть на самом деле, – холодный призрак, явившийся из мрака веков, порождение черного фанатизма Испании.

– Где он?… – прошипела она с прежней ненавистью. – Бежал к красным!.. Теперь я могу вам это сказать… Я ему помогла… Итак, Оливарес повесился, Доминго бежал к красным. Гонсало уедет сегодня со мной… Только вы останетесь здесь, вы и трупы… вы и смерть… вы и ваше бессердечие!

– Значит, вы разлагаете моих подчиненных?

– Я их не разлагаю. Они сами видят ваше безумие.

– Вы поступаете подло.

– Почему подло? Не потому ли, что я два месяца содержала вашу больницу?

– Вы не содержали ее! Вы ее использовали.

– Чтобы заболеть сыпняком?

– Чтобы вести свою игру.

– И я, как видите, добилась своего! – сказала она со смехом.

– Не добились, но отомстили.

– Я рада, если это так.

– Знаю!.. Потому что вам недоступны другие радости.

– А вам они доступны!.. О!.. Блаженный!

– Вас покарает бог.

– Я не боюсь бога! Ни вас, ни самой себя!

– Так будет продолжаться только до тех пор, пока действует морфий.

– Я вижу, ваша шпионская служба работает отлично.

– Вы должны быть ей благодарны.

– Вот как? За что?

– За то, что она спасла вас от военного суда. Доминго пойман в одежде вашего шофера. Наша презренная служба удостоверила, что одежда украдена, а не отдана Робинзоном по вашему приказу.

– Миллион благодарностей!.. А что собираются делать с Доминго?

– Его расстреляют публично.

Мертвенный холод, исходивший от Эредиа, обдал Фани и лишил ее голоса. Гнев, ирония и горькое злорадство, которые она только что испытывала, исчезли в один миг.

– И вы… вы спокойно сидите здесь!.. – прошептала она в ужасе.

– Каждый тверд по-своему. Позавчера вечером и вы спокойно курили у трупа своего друга.

– Неужели вы хотите быть похожим на меня?

– Я ничем не похож на вас.

Испитое лицо Эредиа, поседевшие волосы и бескровные губы излучали зловещее, торжественное спокойствие, бесстрастие инквизитора, который смотрит, как пламя костра охватывает осужденного. Только в глазах горела мрачная экзальтация, которую она видела у него впервые. Черное пламя его зрачков стало острей, магнетичней, пронзительней. И тогда она почувствовала в последний раз и поняла навсегда, что этот человек тоже, подобно ей, представляет собой какое-то нелепое нарушение логики, красоты и совершенства жизни, что он тоже, подобно ей, утратил солидарность с другими людьми и потому живет, как одинокий призрак, под мрачной сенью своего бога, своих догм и своей метафизики, что он тоже не что иное, как бессмыслица, как рухлядь, как зло…

Она вскочила словно ужаленная и кинулась прочь. Скорей!.. Подальше отсюда!.. Подальше от этого человека, от этой палатки, от этого лагеря!..

– Стойте!.. – крикнул он громко. – Стойте!.. Голос его приковал ее к месту.

– Что? – произнесла она.

– Я сделал все, что мог, чтобы спасти Доминго… Но дон Бартоломео хочет дать урок изменникам веры.

– Может, вы хотите сказать – Франко!

– Нет!.. Веры!.. – мрачно подчеркнул Эредиа.

– Вы понимаете, что вы говорите?… Какой моральный закон позволяет дону Бартоломео в двадцатом веке казнить людей во имя веры?

– Вы не видите нашей борьбы… Вы не знаете, что значит для нас вера. Сейчас весь испанский народ поднял оружие, чтобы бороться за свою веру…

– Да он всегда делал это по приказу королей и пап, которые хотели расширить свою власть. А теперь он сражается за Гитлера и Муссолини. Разве вы не понимаете, не видите этого?

– Мы боремся прежде всего за Христа.

– И во имя Христа выживший из ума генерал может казнить Доминго!

– Смерть Доминго – только неизбежный эпизод в нашей борьбе.

– Неизбежный! – крикнула она, задрожав от возмущения. – Неужели я должна слышать это от вас! Есть ли в вас хоть капля человеческого чувства?… Вспомните ту ночь, когда Доминго закрывал вас своим телом от пуль анархистов!..

– То же самое делали и вы. Я скорблю, вспоминая об этом. Я страдаю за вас, за Доминго, за Оливареса… Но что такое я, что такое вы, что такое они перед вечной целью нашей веры, которую мы должны спасти!.. Вы не сознаете величия этой цели и потому ненавидите меня, потому поступаете так…

Фани смотрела на него с ужасом. Не сошел ли он с ума? Но он продолжал говорить размеренно, спокойно, невозмутимо, а Фани слушала молча, с немым состраданием. Потом слова его окрасились пафосом и зазвучали торжественно, точно он читал проповедь в церкви Пенья-Ронды. Никогда еще он не говорил так. Начав с отдельных фактов, он обобщил их, от этих обобщений перешел к новым выводам и повел ее по крутым тропам схоластики, проложенным святым Августином, святым Фомой Аквинским и Суаресом во мраке человеческого невежества. Мысль его взбиралась все выше и выше по ступенькам силлогизмов, пока не поднялась наконец на такую головокружительную высоту, с которой тифозный лагерь, земля и люди вообще уже не были видны. И тогда перед Фани открылась ослепительная панорама – лучезарное пространство, которое отец Эредиа назвал «Ordo amoris»,58 а в этом пространстве блаженно плавали, как праздничные воздушные шары на карнавале, бессмертные души легионов праведников и святых. Тут Эредиа совершил головоломный прыжок, увлекая за собой Фани, и опять очутился на земле. Ordo amoris можно только провидеть разумом, но не достичь. Чтобы достичь его, нужна вера. Вера… вера необходима миллионам человеческих существ!.. Но сейчас вера в опасности и за нее надо бороться. В этой борьбе личность исчезает, средства не выбираются, методы – какие подскажет случай…

Внезапно Фани засмеялась. Сначала она смеялась тихо, сдавленно, потом смех ее усилился, стал нервным, громким, почти истерическим… А потом вдруг она успокоилась, и мысли ее потекли с тоскливой и пустой ясностью. Вот ради кого она приехала сюда!.. Вот что осталось от магнетического обаяния этого испанского монаха! Она вспомнила юный восторг начала своей любви, свои страдания в Андалусии, самозабвение, с каким она кинулась спасать его от анархистов, сыпной тиф, грозивший ей здесь каждый день… Вот… вот что осталось от всего этого! Только ее смех, только сострадание к безумцу!..

«Надо что-то сделать для Доминго», – было ее первой мыслью, когда она, выйдя из палатки, снова очутилась под слепящим солнцем. Скорей!.. Немедля к дону Бартоломео! Вдруг она вспомнила страшное определение, которое Лойола четыре с половиной столетия назад дал ордену: «Cohorta para combatir los enemigos de la Cristianidad».59 А кто может быть для этой зловещей когорты большим врагом христианства, чем монах-расстрига, чем иезуит, перешедший в лагерь красных? Доминго погиб!.. Быть может, его уже расстреляли! Если Эредиа недавно хлопотал об отмене приговора, то набожный и кровожадный дон Бартоломео, наверное, не замедлил привести его в исполнение. События в этой стране развиваются по какой-то жестокой и непостижимой логике!.. Скорей, скорей спасать здоровую, сильную жизнь!..

– Робинзон! – крикнула она, подойдя к палатке шофера.

Но тот не вышел к ней, как обычно. Откуда-то послышался голос Долорес:

– Робинзона нет, сеньора!

– Куда он поехал?

– К виселицам.

– К каким виселицам, севильская цыганка?… – яростно крикнула Фани.

– В Пенья-Ронде повесят трех анархистов! Разве вы не знаете?… Один из них Доминго.

– Иди сюда, вшивая девчонка! Когда их повесят?

– Сегодня утром…

Долорес не сочла нужным подчиниться, но вместо нее подбежала Кармен.

– Робинзон оставил записку, сеньора! – сказала девушка.

Она подала записку Фани. Робинзон сообщал, что уехал в городок зарядить аккумуляторы санитарной машины и что вернется через два часа. Два часа! Ждать его? Но в это время могут повесить Доминго… Скорей! Скорей!

Отбросив колебания, она схватила свою сумку и пошла пешком в город. До Пенья-Ронды было три километра, но Фани надеялась быстрым шагом преодолеть их не больше чем за двадцать минут. Она закутала голову шелковой косынкой и быстро пошла по шоссе. Солнце пекло адски. От песка и скал к синему жару неба струился раскаленный воздух, в котором дрожали очертания предметов. Шоссе было в колдобинах и рытвинах. Горячая пыль скоро набилась в ее открытые туфли, в которых можно было ходить только по асфальтовым дорожкам. Она разулась, вытряхнула пыль, снова обулась. Решила идти по обочине шоссе, вдоль канавки, но здесь выжженные колючки и кактусы безжалостно царапали голые ноги, и она опять пошла по шоссе. Внезапно Фани почувствовала утомление и слабость. Колени стали подгибаться. Наверное, она слишком быстро идет. В эту тропическую жару, когда вокруг ни малейшей тени, можно получить солнечный удар. Зной мучил ее невыносимо, но она не потела. Головная боль, начавшаяся еще с утра, стала резче. Время от времени по телу пробегали холодные мурашки. Что же это такое?… Глупости! Ничего! Надо только медленнее идти.

Снизу показалось облако пыли, которое заволокло большой кусок шоссе и двигалось по направлению к Медина-дель-Кампо. Солдаты!.. Теперь придется глотать пыль, пока пройдет колонна. Фани снова пошла вдоль канавки. Колонна приближалась. Впереди шагали обтрепанные испанские пехотинцы в белых башмаках, с красными кистями на шапочках. Солдаты шли устало, сгибаясь под тяжестью ранцев и винтовок, и молча оглядывали Фани. У них были грубые крестьянские лица, равнодушие которых не позволяло ждать от этих людей никакого героизма во имя бога и короля. Они шли сражаться, не зная за что, просто потому, что офицеры их вели, а кюре учили их подчиняться. Они шли покорно, как овцы, которых должны забить. От их потных тел, от грубых ранцев и оборванной формы распространялся специфический солдатский запах. Это были те же неимущие темные крестьяне, которые умирали в лагере от сыпного тифа. Совсем иное зрелище представляли собой их офицеры, гарцевавшие на великолепных чистокровных лошадях. По утонченным лицам и лихорадочному восторгу в глазах можно было сразу узнать в них длинноногих аристократов Кастилии, которые рвались в бой за бога и короля. Приблизившись к Фани и признав в ней «сеньору», они приветствовали ее изысканно, с радостной беспечностью, точно шли не в бой, а на прогулку. Впрочем, эти кавалеры были глубоко религиозны и в самом деле ничуть не боялись смерти. Для них она была лишь переходом в другую жизнь. За пехотой следовало несколько отрядов добровольцев – люди буйные и страстные, не любители молчать, а тем более подчиняться дисциплине. Здесь были горцы из Наварры, до гроба верные Бурбонской династии, фалангисты, которые хотели отомстить за смерть Хосе Антонио, набожные христиане, готовые умереть за веру (они несли плакат «Рог la Santa Fe»60), арагонцы, любители серенад и драк, иностранцы с лицами уголовников, едва выучившие по нескольку испанских слов. Весь этот сброд, живописный, веселый и кровожадный, дефилировал перед Фани, забрасывая ее «пиропос» по неискоренимой привычке всех испанцев, которые не могут спокойно пройти мимо красивой женщины.

– Pajarico!61 – кричали наваррцы.

– Ole guapa!..62 – захлебывались от восторга те, что шли умирать за святую веру.

– Ты испанка, девушка?… – с патриотической гордостью спрашивали фалангисты. А потом, разглядев, что перед ними не простая женщина из народа, почтительно добавляли: – Мы припадаем к вашим ногам, сеньора!..

«Безумцы», – с горечью подумала Фани. А они шли дальше, продолжая осыпать ее галантными словами, воинственно размахивая своим оружием, бренча на гитарах, – шли, чтобы со славой умереть за бога и короля, чтобы перебить до единого металлургов и ткачей, защищавших республику.

Колонна прошла. Фани опять двинулась в путь. Ее лицо, костюм и обувь побелели от пыли. Скорей в Пенья-Ронду!.. Скорей!.. Но она со страхом ощутила, что ей совсем худо, ноги подкашивались, сердце останавливалось. «Я упаду, – подумала она со страхом. – Получу солнечный удар. Солнце печет адски». До Пенья-Ронды оставалось не больше километра. Но она все-таки решила отдохнуть и присела у канавки. Как только она села, жара показалась ей еще нестерпимей. В ушах зашумело. Руки беспомощно повисли. И тут она с облегчением увидела, что на шоссе показалась санитарная машина. Робинзон затормозил и испуганно подбежал к ней.

– Поворачивай обратно! – приказала она. – Гони быстрей в Пенья-Ронду.

Робинзон помог ей сесть в машину.

– Ты видел виселицы в Пенья-Ронде? – спросила она возбужденно.

– Нет, миссис!.. Я не заметил виселиц, – ответил шофер.

– А толпа разве не собирается?… Не ждут казни?

– Нет, я не заметил, чтобы ждали казни.

Более точно и более безразлично ответить было нельзя. И Фани с признательностью подумала, что Робинзон притворяется болваном, потому что не хочет раздражать ее своим удивлением. Впрочем, эту разумную манеру держаться оп усвоил уже много месяцев назад.

– Что стало с красными? – спросила она.

– Их отбросили, – ответил Робинзон. – Но один сержант мне сказал, что наступление может повториться.

Несмотря на жару, в Пенья-Ронде царило лихорадочное оживление, обычное для города, где находится главная квартира армии. По узким средневековым улочкам меж безобразных каменных домов с древними гербами над входом сновали потные адъютанты, связные и вооруженные добровольцы. Хотя первая атака красных была отбита, дон Бартоломео продолжал предусмотрительно укреплять город. Генерал готовился к героической обороне. Если ему не хватало разума и гуманности, то по крайней мере храбростью он обладал – ведь в недостатке храбрости не упрекнешь ни одного испанца. Группы рабочих, которым дон Бартоломео доверял не настолько, чтобы вооружить их и послать на фронт, молча копали окопы на перекрестках улиц.

Машина не могла пройти по узким улочкам. Фани вышла из машины и направилась к главной квартире, следуя указаниям сержанта, которому она подарила пачку сигарет. После довольно долгих поисков и расспросов она дошла до большого мрачного здания, сложенного из тесаного гранита. Здание было похоже скорее на укрепленную средневековую тюрьму, но на самом деле это был дворец знатного рода, семейная собственность генерала, который теперь превратил его в главную квартиру своей армии. Перед входом стояли две деревянные будки, служившие раньше гражданской гвардии и наспех перекрашенные в цвета императорской Испании. После долгих объяснений и многократных появлений и исчезновений все более высоких чипов к Фани наконец вышел адъютант генерала. Это был высокий поджарый идальго, видимо, хорошо осведомленный. Увидев Фани, он почтительно представился как майор Артиага и поцеловал ей руку.

– Вы помощница доктора Мюрье из лагеря отца Эредиа, не правда ли?… – учтиво произнес он после непременного «припадаю к вашим ногам, сеньора».

– Да, майор! Я хочу сказать два слова дону Бартоломео. У меня к нему личная просьба. Он меня примет?

Майор Артиага был крайне внимателен. Из вежливости он подавил свое адъютантское любопытство и, пренебрегая служебным долгом, не стал больше расспрашивать ее о причине прихода.

– Дон Бартоломео никогда не откажется выслушать добрую христианку, – заявил он без колебаний и тем еще раз подчеркнул свою всестороннюю осведомленность. – Я сейчас же доложу его превосходительству.

Он провел Фани в темный холл, где нх сразу обдало освежающей прохладой. Они прошли мимо нескольких комнат с открытыми дверями, где кипела лихорадочная деятельность. Офицеры стояли, склонившись над картами, или диктовали приказы. Почти все смотрели на Фани с любопытством и кланялись ей церемонно, с изысканной вежливостью идальго, которые даже в самые трудные и опасные минуты жизни хладнокровно сохраняют уважение к дамам. О том, что минута была трудной и опасной, можно было судить по нервным телефонным звонкам. С неожиданным напором красные начали вторую атаку. Внутреннее убранство здания отличалось роскошью: здесь были богатые ковры времен Гойи, бархатные портьеры, старинные позолоченные кресла. Над столами, заваленными картами, над пишущими машинками и телефонными аппаратами висел синеватый дым благоуханных гаванских сигар. Это был поистине штаб императорской Испании.

Майор Артиага оставил Фани в приемной на втором этаже и пошел предупредить генерала. Вскоре он вернулся, предложил ей пройти еще через одну комнату, украшенную рыцарскими доспехами, и наконец ввел ее в кабинет дона Бартоломео.

В этом кабинете все обескураживало. Все говорило о святой вере, о знатности рода Хилов и о храбрых прадедах, прославивших этот род еще во времена конкистадоров. Половину кабинета занимали коллекции всевозможного оружия, трофеи, кресты, распятия, старинные Евангелия и пожелтевшие документы, бережно размещенные в стеклянных шкафах. Эти документы свидетельствовали о признательности испанских цезарей прадедам дона Бартоломео. Другая половина кабинета была занята письменным столом и книгами идальго. Со стен смотрели написанные маслом портреты бородатых головорезов – правителей Фландрии, Мексики или Неаполя, облаченных в доспехи, в мантиях, наброшенных на плечи. От их лиц веяло зловещей энергией герцога Альбы и Писарро, а в руках они держали огромные сабли, подобные мечам, какие носили ландскнехты времен Тридцатилетней войны. Все эти знаменитости из рода Хилов выдвинулись во время религиозных войн и прославились равно своей набожностью, своей жестокостью и своей неоспоримо установленной долей вины за развал Испанской империи.

В отличие от них дон Бартоломео не выглядел таким свирепым, по крайней мере не настолько, насколько можно было ожидать, судя по его делам. Он даже напоминал скорее тех опечаленных и кротких аристократов, которых Греко обессмертил в «Погребении графа Оргаса». У него была такая же подстриженная бородка, такие же слегка закрученные вверх усы и благородная palidez aurea63кожи. Но стоило внимательнее вглядеться в его глаза, и в зрачках его можно было заметить кровавые огоньки и какую-то пронзительность, удивительно напоминавшие глаза бородатых предков на портретах. И тогда становилось понятным, что дон Бартоломео может не дрогнув перерезать всю Испанию, если ему покажется, что это необходимо во имя бога и короля.

– Садитесь, сеньора!.. – предложил он ей любезно. – Я рад, что случай доставил мне удовольствие познакомиться с вами… – Он намеренно подчеркнул свои слова, намекая на приглашение на ужин к себе в имение, от которого Фани отказалась. – Я слышал о вас от покойного доктора Мюрье, я его знал… Отец Эредиа приходил ко мне вчера вечером и сообщил мне о его смерти. Упокой, господи, его душу, хотя доктор и не верил в него.

– В лагере произошли грустные события, генерал!.. – сказала Фани.

– Это свидетельствует о том, что наше отечество на краю пропасти… Безверие и красные идеи проникли даже в святое Христово воинство!.. Отец Эредиа рассказал мне все. Но мы спасем Испанию, сеньора! За это мы и сражаемся!

– Вы должны ее спасти!.. – сказала Фани нетвердо. – Да поможет вам господь в вашем благородном деле! Я глубоко религиозна, генерал… – продолжала она, уже попав в тон. – Мой приезд в Испанию совпал о нравственным переломом в моей душе… Я уже почти католичка, и потому я приняла этот тяжкий крест – работу в тифозном лагере…

Ей удалось не сбиться с тона, и она начала говорить о боге и христианстве, о католическом духе… Она произнесла восторженную тираду, очень похожую на ту, что слышала утром от отца Эредиа, но лишенную логической связи силлогизмов. Зато она уснастила ее цитатами из святой Терезы. Затем Фани привела одну ценную мысль Лойолы: мягкое и пассивное отношение к врагам христианства равносильно его уничтожению. Она полностью разделяет ту строгость, с какой дон Бартоломео ведет борьбу за спасение веры. Но, несмотря на это, она позволяет себе обратиться к нему с одной просьбой.

– Это личная просьба христианки, генерал!.. – произнесла она подкупающе нежным голосом и, как будто нечаянно, слегка коснулась рукой могущественного сатрапа.

«Не слишком ли опрометчиво я действую? – спросила она вдруг сама себя. – Если этот идиот вообразит…» По Доминго, Доминго должен быть спасен!.. В конце концов, надо, чтобы и она спасла кого-нибудь, и она пожертвовала чем-то, не думая о своих удовольствиях, не прикидывая, что она получит взамен. К тому же вынужденное кокетство с этим старым дураком ни к чему ее не обязывает.

Если бы в Испании не было множества смуглых женщин, прелестью которых дон Бартоломео уже давно пресытился, его не взволновало бы прикосновение этой северной красавицы.

– Сеньора!.. – произнес он торжественно. – Я сделаю все, что зависит от меня!

– Благодарю!.. Я ходатайствую за жизнь одного человека. Монах Доминго Альварес осужден на смерть… Пощадите его, генерал!

Ах!.. Вот оно что! Идальго почувствовал себя слегка разочарованным и оскорбленным. Разочарованным потому, что ему ровно ничего не стоило сделать то, о чем его просили, и оскорбленным потому, что эта сеньора проявила слабость к ничтожному монаху, деревенщине, которого иезуиты воспитали из милости. Каррамба! Да разве какой-то плебей заслуживает ее расположения? Чары северной красавицы тотчас перестали на него действовать. Дон Бартоломео свел брови, и под этими густыми поседевшими бровями Фани опять заметила кровавые огоньки его зрачков.

– Доминго Альварес!.. – мрачно повторил он. – Это тот, который пытался бежать к красным?

– Тот самый! – сказала Фани. – Он еще так молод… Простите ему его увлечение!..

А-а-а… молод!.. Идальго усмехнулся про себя. Какая женщина равнодушна к молодым мужчинам! Он, пожалуй, испытал бы снисходительное сочувствие к Фани, если бы вдруг не вспомнил, что предмет ее слабости – ничтожный, презренный крестьянин. К этому присоединилась и досада на то, что его взволновало льстивое прикосновение ее руки. Он с грустью вспомнил, что ему пятьдесят восемь лет. Когда человек старится, женщины всегда готовы его обмануть. Но дон Бартоломео не настолько глуп и не настолько слаб, чтобы отступить от принципов борьбы во имя бога и короля. Может быть, она надеялась именно на это. Какой позор! Эта англичанка должна понять, кто такой доп Бартоломео Хил де Сарате. И волна ожесточения залила честолюбивое сердце идальго, волна, которая поднесла несчастного Доминго Альвареса еще ближе к неминуемой смерти.

– Я боюсь, сеньора, что формальные причины помешают мне отменить казнь.

– Какие причины?… – тревожно спросила Фани.

– Я выполняю приказ верховного командования безжалостно наказывать всех дезертиров и противников движения… Приговор вынесен, а право отмены принадлежит только генералиссимусу Франко.

– Тогда отложите казнь… Осужденный пошлет просьбу о помиловании генералиссимусу Франко.

– Невозможно, сеньора!.. – В ответе дона Бартоломео прозвучала досада, а в глазах опять загорелись зловещие огоньки. – Просьба не будет иметь никаких последствий… Кроме того, совесть не позволяет мне отпускать противников, которые завтра могут очутиться у красных и опять действовать против нас.

– Генерал, к чему эти казни?…

Как к чему?… Это уж чересчур! Дон Бартоломео сразу забыл о ничтожном происхождении Доминго и перестал грустить по поводу своего преклонного возраста… В его груди закипело воодушевление человека, который борется за бога и короля. Как так к чему? Чтобы покончить с республикой, чтобы уничтожить врагов, разумеется!.. Разве Фани не знает, что эти вероотступники подрывают устои его отечества? Разве она не видит, что горят монастыри, разрушаются церкви, гибнут потомки славных родов? Разве не высший долг аристократов и всех, кто поддерживает новое движение, – спасти святую веру и ценности прошлого, снова воздвигнуть на развалинах республики Испанию Филиппа Второго, Испанию цезарей, Испанию конкистадоров, Гонгоры, Лопе де Вега… да, ту героическую Испанию, которая завладела целыми континентами и принесла им цивилизацию?… Нет!.. Видимо, миссис Хорн вовсе не знает великих целей движения, видимо, ослепленная своим милосердием, она не видит, что бог возложил на испанский народ роль мессии!

Традиционная Испания всегда была мистическим факелом веры в Европе и во всем мире. Она всегда будет мечом христианства!..

Если бы дон Бартоломео, пренебрегая советами врачей, не злоупотреблял так коньяком и гаванскими сигарами, если бы целые участки его мозга не были полностью поражены склерозом, он, быть может, опомнился бы и остановился. Но теперь он был слишком взволнован. Инерция аффекта влекла его за собой неудержимо. Он хотел показать этой англичанке, этой вековой противнице его народа, идеал, за который они борются… Итак, их движение борется за могучую Испанию, покоящуюся на традициях и окрыленную славной памятью о прошлом, за Испанию, которая под скипетром дона Луиса де Ковадонги снова присоединит к себе Аргентину, Мексику, Филиппины… все республики Латинской Америки, все архипелаги в океанах, за императорскую Испанию, которая объединит сто пятьдесят миллионов душ, опять завладеет миром. Голос дона Бартоломео становился все возбужденней, кровавые огоньки в глазах все краснее…

Внезапно Фани стало страшно. Она вдруг испытала зловещее ощущение, будто попала в страну, где кто-то отпер и выпустил на свободу сумасшедших и те, захватив каким-то образом власть, теперь преследуют нормальных людей. Это ощущение было поразительным по своей реальности. В Эредиа, в доне Бартоломео, в разнузданной толпе, которая шла на фронт с гитарами и плясками, в словах и действиях всех, кого она видела, было что-то безумное и болезненное. Да ведь это сумасшедшие!.. Неужели Фани еще сомневается в том, что они сумасшедшие? В ушах ее звенело все, чего она наслушалась с утра. Еще немного, и она сама помешается. Скорей отсюда! Подальше от этой страны! Кто может спасти Доминго Альвареса от банды вооруженных сумасшедших, не рискуя собственной жизнью?… А что будет, если этот сумасшедший генерал вдруг вспомнит, что Доминго бежал в одежде Робинзона, если ему взбредет в голову задержать ее как соучастницу, как врага веры и императорской Испании? Разве он не способен сделать и это? Тогда ей не поможет никакой британский консул, они не побоятся даже посольства… Да нет, все это не так уж опасно! Этот бахвал просто разболтался… Нельзя оставлять Доминго Альвареса в беде, нельзя бежать, когда у человека отнимают жизнь. Неужели она так малодушна?… Но опять ее охватило странное ощущение, будто она находится среди невменяемых, которые могут погубить заодно и ее. «Не говори больше! Беги отсюда!» – шептал ей инстинкт самосохранения.

– Я вас понимаю, генерал… – сказала она и тут же осознала, что подло бросает Доминго Альвареса. – Да, именно так!.. Я не знала… Извините за беспокойство! У меня к вам еще один личный вопрос: каким маршрутом вы посоветуете мне ехать?

– Через Сиудад-Родриго к португальской границе… Сиудад-Родриго еще в наших руках. Но лучше не медлите, сеньора! Здесь ожидаются серьезные события.

– Мне понадобится пропуск?

– Конечно. Маркиз Артиага распорядится, чтобы вам его приготовили.

Он позвонил своему адъютанту.

– Я весьма, весьма признательна вам, генерал! – Она вдруг осознала, что, кажется, в свою очередь обезумела и теперь ею движет глупый и подлый страх. – Желаю вам победы!.. Да хранит вас господь!

Она ли это говорит?… «Неужели я такая подлая?» – подумала она с ужасом. Она опять почувствовала, что готова раскричаться от возмущения, но тотчас овладела собой. Налитые кровью глаза идальго смотрели на нее с подозрением.

Дон Бартоломео встал с кресла и церемонно проводил ее до двери, где ее дожидался маркиз Артиага. Она почувствовала, что к ней возвращается прежняя уверенность в себе. В глазах маркиза Артиага не было зловещих кровавых огоньков, как у дона Бартоломео. То были холодные, умные глаза, и в них сквозила досада на ненужную жестокость. Его холодный рассудок был нечувствителен к святой вере и испанским цезарям. Маркиз боролся только за свое спокойствие и привилегии своей касты.

– Майор, – язвительно спросила Фани, – что будет делать Британская империя, если новая армада направится к берегам Англии?

– Не беспокойтесь, сеньора, – ответил адъютант. – До того времени дон Бартоломео выйдет в отставку.

– А вы не могли бы помочь несчастному Доминго Альваресу?

– Нет, сеньора… Не могу. Я только выполняю приказы.

– А кто мог бы ему помочь? – с отчаянием спросила она.

– Я думаю, только один человек: отец Эредиа.

– Что может сделать Эредиа?

– Я думаю, только он может отменить казнь, – бесстрастно промолвил маркиз, – потому что он потребовал ее от дона Бартоломео.

Фани пошатнулась и ухватилась рукой за стену. Майор Артиага поддержал ее.

– Кажется, вам нехорошо, – сказал он.

– Да!.. – Фани попыталась улыбнуться, – Испанский климат очень плохо действует мне на нервы.

– Иностранцы с трудом переносят этот климат, – в свою очередь улыбнулся Артиага. И добавил: – Дайте ваш паспорт и подождите здесь, пока мы приготовим вам пропуск…

Выйдя на улицу, Фани снова почувствовала слабость в ногах и во всем теле, но опять не обратила на нее внимания. Скорее бежать из этой страны, не видеть этих безумцев! Доминго обречен, но Фани больше не думала о нем. Сидя в приемной и дожидаясь пропуска, она пришла к окончательному выводу – ему ничто не поможет. Теперь голова ее была занята только приготовлениями к отъезду. До Сиудад-Родрпго и португальской границы не больше двухсот километров. Если выехать из лагеря наутро, самое позднее к вечеру они уже будут на границе. Правда, ни в ее паспорте, ни в паспорте Робинзона нет визы, но неужели португальцы откажутся принять англичан? Скорее умчаться от сумасшедших, которые захватили власть в этой стране!.. Не надо больше думать об Испании!

Не надо – но когда она пересекала главную площадь, носившую имя Хуана Австрийского, то заметила там необычайное оживление. Со всех соседних улиц сюда стекался народ, преимущественно пожилые, бедно одетые люди и вооруженные добровольцы, а среди них стайки грязных крикливых ребятишек. На крышах, балконах и окнах окрестных домов повисли гроздьями любопытные. Часть площади, напротив каменного здания без окон на первом этаже, была оцеплена наваррскими стрелками. На его крыше развевалось желто-красное знамя императорской Испании. Фани замедлила шаг. Рядом с пей шел пропахший оливковым маслом продавец жареного картофеля. Одной рукой он поддерживал лоток, на котором нес свой товар – тонкие ломтики картофеля, жаренные в оливковом масле и завернутые в фунтики из грязной бумаги, – а другой заслонял глаза от солнца.

– Чего все ждут? – спросила Фани, хотя и догадывалась, какой будет ответ.

– Казни, – равнодушно ответил продавец.

– Кого казнят?

– Одного монашка и двух красных.

– Что они сделали?

– Пытались бежать к красным.

Лоточник вытащил жирными пальцами ломтик картофеля и стал тупо его жевать. Фани продолжила свой путь, но с улицы, по которой она хотела пойти, ее вернули солдаты.

– Сеньора!.. – учтиво вмешалась полнотелая женщина. – Улица блокирована. По ней повезут осужденных.

– Разве?… – беспомощно сказала Фани. – Но я не хочу смотреть на казнь.

– О, почему? – удивленно спросила женщина.

Фани посмотрела на нее с отвращением. Это была грубая, простоватая, раскормленная женщина, вероятно служанка из богатого дома. Ее черные, близко поставленные глаза горели животным любопытством. Женщине не терпелось поговорить, но, встретив враждебный взгляд Фани, она поспешила на площадь в надежде занять местечко получше, откуда все будет видно. Толпа росла и гудела все громче. Подходили новые группы зевак, ребятни, солдат и офицеров, вооруженных добровольцев и полицейских из гражданской гвардии. Все оживленно комментировали провал наступления красных, не зная, что уже началось новое, и с угрозой посматривали на оборванцев. Прилично одетые немолодые господа с роялистскими значками препирались с простолюдинами из-за лучшего места на тротуаре или на какой-нибудь лестнице. Другие с завистью смотрели на счастливчиков, уже примостившихся на окнах, балконах и крышах. Каждый хотел лучше видеть казнь, не упустить ничего из предстоящего зрелища. Одни, казалось, испытывали неловкость, смешанную с острым возбуждением, другие смеялись и громко разговаривали, точно пришли на бой быков. Можно было подумать, что всех привела сюда ненависть к осужденным, но, в сущности, никто не испытывал к ним ненависти, большинство даже не знало, за что они осуждены. Толпа стекалась на площадь потому, что была охвачена заразительным безумием – хотела видеть кровь, хотела видеть, как убивают людей. Только рабочие, копавшие окопы, не были затронуты этим безумием; разогнув спины, они стояли молча, потому что скопление народа мешало им работать.

Фани поняла, что ей не уйти с площади. Толпа сгрудилась, и никто не хотел трогаться с занятых мест. Попытка группы фалангистов в форме проложить себе дорогу к площади потерпела неудачу, не помогли и угрозы. Даже улица, по которой должны были провезти осужденных, была так запружена, что солдаты, как ни ругались, не сумели рассеять толпу и вынуждены были ей уступить. Фани отошла к переносному барьеру с металлической сеткой, приготовленному на тот случай, если бы понадобилось перекрыть улицу, и очутилась, таким образом, рядом с рабочими, которые с горечью наблюдали за толпой. Один из них посторонился, освободив ей место, чтобы она не поскользнулась и не упала в окоп. Фани заметила, что он пристально смотрит на металлический британский значок на отвороте ее жакета. Его лицо и еще не огрубевшие руки подсказали ей, что это человек умственного труда. Она подошла к нему и спросила тихо:

– Как мне выбраться с этой проклятой площади?

– Выбраться невозможно. Все выходы забиты толпой.

– Часто здесь устраивают такие зрелища?

– Почти каждую неделю.

– Hombre!.. A вы кто?

– Я республиканец… Учитель из Саморы.

Фани замолчала. Грубо раздвигая толпу, мимо них прошел красивый статный фалангист, вооруженный автоматом. Он полез на барьер, чтобы лучше видеть.

– Не разговаривайте со мной, – прошептал учитель. – Не то будете иметь неприятности с этими!

Он кивком показал на фалангиста.

Фани еще раз попробовала протиснуться сквозь толпу, но безуспешно. Откуда-то нахлынула целая рота добровольцев – арагонских крестьян и окончательно забила площадь. Господи, как противно все это!.. Над толпой разносился запах пота и оливкового масла. Солнце пекло немилосердно и как будто сжигало ей мозг. Она едва держалась на ногах. Вне себя от злости она ударила кулаком в широкую спину здоровенного капитана гражданской гвардии, стоявшего перед ней. Капитан флегматично повел головой, как сонный бык.

– Подвиньтесь, ради бога… Дайте мне пройти!

– Mujer!..64 – свирепо рявкнул капитан.

Но толстая шея не давала ему обернуться и посмотреть, кто его ударил.

– Капитан Сигуэня!.. – сказал кто-то. – Дайте сеньоре пройти!

Уразумев, что у него за спиной стоит сеньора, капитан Сигуэня безжалостно сдавил локтями ребра нескольких своих сограждан низшего ранга и сам немного посторонился.

– Это вы меня ударили, сеньора? – спросил он почтительно-шутливым тоном. Его острый глаз тотчас заметил британский значок Фани.

– Простите, я вас вовсе не ударила… Я толкнула вас нечаянно! – испуганно стала оправдываться Фани.

– Пожалуйста, не беспокойтесь!

– Вы можете вывести меня отсюда? – спросила она.

Капитан Сигуэня сделал вид, что не слышит. Ему не хотелось терять хорошее место.

– Вы иностранка, сеньора? – с любопытством спросил хлипкий старикашка в котелке и белом жилете.

– Да, – сказала Фани.

– Тогда останьтесь посмотреть казнь. Вы, наверное, не видели казней в Испании… Это интереснее, чем бой быков!.. – И старикашка залился громким, нервным, истерическим смехом.

– Вы замолчите, дон Педро? – мрачно спросил капитан Сигуэня.

Смех старикашки тотчас оборвался, а капитан Сигуэня обвел окружающих внушительным взглядом. Нервный смех и неуместная ирония дона Педро, этого мелкого дворянчика и демократа, постоянно раздражали верноподданническое чувство капитана, где бы они ни столкнулись, в кофейне или на улице.

Капитан Сигуэня все же показал себя галантным кавалером и, приведя в движение свой огромный корпус, подобно мощному танку двинулся через толпу, невозмутимо расталкивая бедных сограждан и вежливо огибая тех, кто был рангом повыше. Под предлогом, что он прокладывает путь сеньоре («Это иностранка, – объяснял он, – дайте нам пройти»), он довел ее до самого кордона, оцепившего место казни.

– Hombre!.. – воскликнула Фани. – Неужели вы не поняли, что я хочу уйти отсюда!.. Я не желаю смотреть на казнь!

– Разве?… – с притворной наивностью спросил капитан Сигуэня. – Но вы должны были сказать мне об этом раньше! Отсюда уж никак не выбраться.

– Прошу вас, сеньор!.. Уведите меня отсюда! – произнесла она в отчаянии.

Но ее слова потонули в общем шуме – внезапно вся площадь пришла в движение и загудела. Сквозь толпу, по коридору, очищенному солдатами, открытый грузовик вез осужденных к лобному месту. Жадные до зрелища люди вытягивали шеи, поднимались на цыпочки. Каждый хотел видеть осужденных, пристальней всмотреться в их лица и ощутить животную радость оттого, что он не на их месте. Всеобщее возбуждение овладело толпой. Те, кто стоял сзади, старались протолкаться и оттеснить передних; то тут, то там вспыхивала перебранка. Два маленьких чистеньких кюре возмущенно рвались в первый ряд, откуда их вытеснила компания арагонских добровольцев. Тихие и скромные в других обстоятельствах, сейчас они были одержимы бесстыдным любопытством. Спор был таким ожесточенным, что капитану Сигуоия пришлось вмешаться.

– Сеньоры! – обратился он к добровольцам. – Имейте уважение к отцам!

Но арагонские господа ни за что на свете не хотели тронуться со своих мест, и священникам пришлось, сняв шляпы, просунуть свои стриженые головы между плечами узурпаторов.

Тем временем грузовик с осужденными медленно приближался к месту казни. До сих пор толпа, скованная жгучим любопытством, молчала, но тут она вдруг вспомнила о ненависти, которую должна была к ним испытывать.

– Смерть коммунистам!.. – крикнул фалангист с перевязанной рукой.

Он уже испытал на себе мрачный гнев литейщиков Бильбао и в этот день вышел из больницы, специально чтобы присутствовать на казни.

Его голос был сигналом к буре фанатических выкриков.

– Muerte a los rojos!.. Muerte a los rojos!..65 – закричали приверженцы дона Луиса де Ковадонги.

– Сукины дети!.. – ревели арагонцы.

– Антихристы! – вопили богомольные испанки, которые каждое утро, закутавшись в черные вуали, ходили на литургию.

– Мерзавцы!..

– Вероотступники!

– Предатели!

– Давайте убьем их!.. – кровожадно предложил молодой легионер, вытаскивая кинжал.

Но рядом с ним стояла его благоразумная сестра, которая дала ему подзатыльник и сказала сердито:

– Помалкивай, Хуанито!

Крики роялистов, фалангистов, легионеров и всех тех, кто был за господа бога, короля и Испанию, были подхвачены другими глотками, и остальные тоже яростно заревели, то ли для того, чтобы понравиться властям, то ли потому, что заразились криками себе подобных, хотя, в сущности, они ненавидели «движение», разрушившее их спокойствие.

Все это время Фани стояла, опустив глаза. От воплей и крика у нее кружилась голова. Внезапно она услышала рокот автомобиля совсем рядом с собой и почувствовала настойчивое желание закрыть глаза руками. Но неужели она боится увидеть Доминго, неужели она не хочет ободрить его хотя бы взглядом? Какой это подлый страх, – страх перед смертью, страх перед подвигом осужденных, страх перед собственной пассивностью! И она посмотрела на осужденных.

Чтобы не смять толпу, грузовик шел совсем медленно. В кузове стояли трое осужденных со связанными за спиной руками, под охраной солдат, державших ружья на изготовку. На Доминго все еще были брюки Робинзона и изорванная в клочья рубаха. Из-под лохмотьев виднелось тело, посиневшее от побоев. На лице и локте запеклась кровь. Рыжеволосая голова была гордо вскинута, губы презрительно улыбались ревущей толпе. Он молчал, а его товарищи, люди простодушные и необразованные, ругали толпу, огрызались и с чисто испанской непримиримостью грозили тем, кто особенно неистовствовал.

– Безбожники!.. Предатели!.. – вопила толпа.

– Сукины дети!.. – яростно отвечали осужденные, – Завтра наши точно так же расправятся с вами!

Но эти угрозы только разжигали гнев толпы, а также солдат. При каждом выкрике на спины осужденных обрушивались приклады.

– Христопродавцы!

– Предатели Испании!

– Смерть вам!

– Красные собаки!

– Антихристы!.. Антихристы!.. – истерически взвизгивали двое прилизанных маленьких кюре и подскакивали, как черные мыши, за широкими спинами арагонцев, делая отчаянные попытки прорваться вперед. Наконец это им удалось, и они встали на место тучного арагонца с закрученными усами, который, не в силах больше выносить это зрелище, стал выбираться из толпы.

– Es una porqueria!66– гневно сказал арагонец.

Он вытер потное лицо платком и возмущенно сплюнул. В своем родном селе он был заядлым драчуном, но он не мог смотреть, как истязают связанных людей.

– Вон Доминго Альварес!.. – вдруг крикнул один из кюре. – Сеньоры, это бывший монах!..

– Иуда Искариот!.. – добавил другой.

– Как?… Монах?… – возмущенно спросил кто-то.

– Монах!.. Монах!..

– Он бежал к красным!

– Плюйте на него!.. Расстреляйте его скорей! – ревела толпа.

Доминго Альварес встретил атаку с холодной презрительной надменностью. За него ответили его товарищи.

– Эй вы, паразиты!.. – крикнул один из них, обращаясь к священникам. – Мы повесим вас за ноги, вниз головой.

– Попробуй, собака!.. – раздался из толпы голос какого-то верующего.

– Бильбао и Саламанка покраснеют от крови попов.

Но эта смелая фраза стоила осужденному такого удара в ребра, что он согнулся пополам и стал харкать кровью.

Вдруг лицо Доминго побагровело от ярости. Его мощная грудь расправилась, набрала воздуха, и из горла вырвались звуки, казалось, исходившие из иерихонской трубы.

– Испанцы!.. – взревел он с такой силой, что заглушил все крики. – Испанцы!..

Толпа притихла в изумлении. Даже солдаты, пораженные этим криком, перестали бить прикладами связанных страдальцев.

– Испанцы!.. – ревел бывший монах Доминго Альварес – Мы боремся за вас! Мы умираем за вас!

Офицер из толпы знаком приказал солдатам заставить его замолчать, и на спину и плечи осужденного с новой силой посыпались удары прикладами. Но эти удары не повалили крепкого, атлетически сложенного парня и не заставили его замолчать.

– Испанцы!.. – продолжал он. – Мы хотим спасти вас от тирании аристократов, от безумия попов, от грабежа капиталистов!.. Вот почему они хотят уничтожить республику… Вот почему они нас убивают!.. Испанцы!.. Бейтесь за республику!

И он прокричал еще несколько раз:

– Бейтесь за республику! Бейтесь за республику!

– Да здравствует республика!.. Да здравствует свобода! – стали кричать и двое других осужденных.

Фалангисты, легионеры, роялисты, наваррские добровольцы и певцы серенад из пламенного Арагона мрачно переглянулись, точно хотели принять общее решение. И они его приняли. Колебание их длилось всего один миг. С диким криком они прорвали кордон, вскочили на грузовик и вытащили свои ножи.

– Безумцы! – успел крикнуть Доминго Альварес.

Тела осужденных осели под ударами блестящих ножей. Из кузова грузовика потекла кровь. Толпа ревела. Фани закрыла глаза. Когда она их открыла, грузовик медленно отъезжал задним ходом, непрерывно сигналя, чтобы ему очистили путь.

Внезапно она почувствовала себя совсем плохо. Ее бил озноб, суставы болели, ноги подкашивались, губы пересохли. Головная боль, начавшаяся с утра, стала невыносимой.

– Сеньора, разрешите вам помочь? – спросил какой-то мужчина.

– Нет… я сама…

Делая нечеловеческие усилия, она дотащилась до машины и повалилась на сиденье.

– Поезжай… в лагерь… – приказала она Робинзону.

С северо-запада долетали звуки артиллерийской канонады. Два батальона наваррских стрелков и одна батарея двигались к Медина-дель-Кампо. Робинзон затормозил и высунулся из машины.

– Что, ребята, снова начинают? – спросил он.

– Да, сеньор.

– Кто?

– Красные!

Приехав в лагерь, Фани тотчас легла и приказала Кармен накрыть ее всеми одеялами. Потом она смутно осознала, что в палатку вошел Эредиа, что к ее губам подносят лимонад… Монах сделал ей два укола кардиазола. Потом она услышала его голос, далекий и чужой, который говорил Кармен:

– У сеньоры сыпной тиф…

«Конец, – подумала Фани. А потом подумала: – Нет… Еще нет».

Монах взял свою сумку и опять вернулся в общие палатки. Там было много больных, которые агонизировали. Он разделил между ними последний запас кардиазола и камфоры. Но одну коробочку с ампулами отложил. Эту коробочку он предназначал Фани, хотя ее жизни еще не грозила опасность. Он не притронулся к этим ампулам, даже когда увидел, что они могли бы спасти от смерти еще нескольких умирающих бедняков. Эти бедняки умерли у него на руках.

Далеко за полночь он вошел в часовню, и губы его зашептали: «Господи, прости мне любовь к этой женщине…» Но вдруг прогремел выстрел. Монах протянул руки и рухнул наземь. И захлебнулся в своей крови.

А в степи была ночь. На небосводе дрожали звезды. Из палаток долетали приглушенные стоны больных. Незарытые трупы продолжали смердеть, разносился гул республиканской артиллерии. Была черная, таинственная испанская ночь, ночь мертвецов, ночь убийств, ночь отмщения…

Какая-то тень, бесшумная, как призрак, незаметно скользнула в палатку.

В степи жалобно выли шакалы.

Дон Бартоломео Хил де Сарате, муж благородный и храбрый, обладал большим запасом теоретических знаний, но весь его военный опыт исчерпывался участием в нескольких карательных экспедициях против полудиких марокканских племен. Поэтому благочестивый и героический порыв своих войск он израсходовал на крайне сложные передвижения, смысл которых остался непонятным даже самому штабу. Красные батальоны, состоявшие из ткачей и металлургов Бильбао, напротив, сражались под командованием неопытных скороспелых сержантов, чьи мозги не были затуманены принципами высшей стратегии. Эти плебейские командиры разили упорно, внезапно и прямо в цель. После двухдневных боев, в которых дон Бартоломео потерял цвет своих отборных наваррских войск и даже роту молодых кастильских аристократов, Пенья-Ронда была окружена. Это произошло так неожиданно и так быстро, что дон Бартоломео не сумел своевременно отступить вместе со своим штабом, как это допускал устав, к соседнему аэродрому, где ждали два немецких «юнкерса». Предоставив населению три часа на эвакуацию, красные атаковали и взяли город. Им пришлось ввести в бой артиллерию, потому что наваррцы не сдавались и, забаррикадировавшись в домах, самозабвенно умирали за бога и короля. Металлурги, напротив, дрались спокойно, предлагали противнику сдаваться и по возможности сохраняли город, хотя и ценой своей крови. Было разрушено много домов, и пало много испанцев. Сухая земля с одинаковой жадностью впитывала дворянскую и плебейскую кровь. Пролетарские лохмотья и роскошные мундиры выглядели одинаково трагично, валяясь на земле. Пали фанатичные наваррцы, посвятившие свою жизнь Богородице, пали богатые арагонские крестьяне, любители боя быков, вина и серенад, пали аристократы, носители славных имен, чемпионы по игре в поло и стрельбе в голубей, пали фалангисты и легионеры, давшие кондотьерскую клятву Франко. Все они перед смертью расстегивали рубахи и целовали распятие, висевшее у них на груди, чтобы души их попали в рай. Но пали и рабочие Бильбао, которые не носили распятия, не верили в святых, не думали о бессмертии своей души. Пали почерневшие от фабричного дыма люди труда, которые хотели больше хлеба и больше воздуха для своих детей, пали честные труженики мысли, которые не могли терпеть эгоизма и высокомерия аристократов. Но больше всех пролили крови и в самые опасные места бросались рабочие. И так красные наступали от окраин к центру, сражаясь за каждую улицу и за каждый дом, и наконец окружили со всех сторон офицеров дона Бартоломео. Красные предложили им сдаться, но благородные идальго отказались, потому что они оставались высокомерными и чванными даже перед лицом смерти. И тогда кастильские дворяне, сунув пистолеты себе в рот, убили себя последними пулями среди бархатных портьер своего штаба, чтобы не позволить простонародью коснуться аристократов. Так пала Пенья-Ронда, и так снова пролилось много испанской крови за бога и короля.

На аргентинского врача Аркимедеса Морено, добровольца республиканской армии, была возложена тяжелая задача справиться с эпидемией в Пенья-Ронде. Аркимедес Морено был молодой и пылкий человек из пампасов. В Буэнос-Айресе тамошняя медицинская коллегия, пустив в ход шантаж, исключила его из своих рядов. Он издавал журнал, в котором требовал, чтобы все врачи были на государственной службе, а больных лечили бы бесплатно. Аркимедес Морено нашел убежище в Испанской республике, своей прародине, откуда два века назад эмигрировали его предки. Здесь у него были друзья, хотя и малочисленные, разделявшие его идеи. Гражданская война застала его в Саламанке. Аркимедес Морено записался добровольцем в рабочий батальон. Именно этот батальон атаковал и взял Пенья-Ронду.

Когда сержанту Мартинесу, командиру батальона, доложили, что в городе свирепствует сыпной тиф, он тотчас обратился к своему ученому другу Аркимедесу Морено. Сержант Мартинес имел представление о заразных болезнях по одной популярной брошюре о микробах. Читая по ночам книжки из различных областей знания, сержант Мартинес жадно пополнял свое образование. Он верил в науку, и его вера была гораздо горячее той, с какой прелаты Испании публично молились богу, чтобы он спас страну от голода, революции и болезней. Руководствуясь этой своей верой в науку, необразованный сержант Мартинес, сын рабочего и прачки, дал своему товарищу людей и облек его неограниченной властью, чтобы тот справился с эпидемией.

Аркимедес Морено прежде всего привез три дезинфекционных машины, которые ржавели в помещениях городской санитарной службы в Саламанке и о существовании которых до сих пор никто не подозревал. Потом он мобилизовал гражданских врачей, включая дона Эладио, и под страхом смертной казни обязал их вывезти на специально выделенных грузовиках всех больных из округи и трижды произвести санитарную обработку зараженных домов. И, наконец, он занялся лагерем.

Тут Аркимедес Морено показал, что он не расположен шутить. Монахам из ордена святого Бруно он велел немедленно снять свои грязные, вшивые рясы и вымыться. Двое из них по религиозным причинам отказались это сделать и были расстреляны на месте. Остальным он разрешил молиться, сколько им заблагорассудится, только не в рабочее время. Брат Гонсало получил строжайший приказ тратить на погребальную церемонию не больше пяти минут и отпевать мертвецов всех заодно. В саламанкских аптеках были реквизированы необходимые медикаменты. После этого Аркимедес Морено написал доклад главному интенданту республиканских войск, в котором доказал опасность сыпного тифа для тыла армии и потребовал палаток, коек, одеял и белья. Все запрошенное им быстро прибыло. Совершенно новый лагерь вырос возле старого. Потом Морено приступил к санитарной обработке больных. В жаркое время дня, когда не было опасности простудить больных, их стригли, раздевали, мыли и в чистой одежде переправляли в новый лагерь. Некоторые из больных противились этой процедуре, потому что кюре с детства внушили им, что человеку грешно раздеваться донага перед другими людьми. А старые палатки, соломенные подстилки, простыни и лохмотья, пропитанные потом и мерзостью, Аркимедес Морено приказал собрать в общую кучу. Так образовалась огромная куча лохмотьев и старья, кишевших тифозными вшами, ее облили бензином и подожгли. К небу взметнулось высокое пламя в черных клубах дыма. В этот момент на энергичном индейском лице Аркимедеса Морено появилась довольная улыбка.

Мириады зараженных вшей сгорали в огненной стихии, а с ними сгорали лохмотья, мерзость, донкихотство и фарисейское милосердие старого мира.

На месте прежнего лагеря торчали только две палатки. Аркимедес Морено разрешил временно оставаться в этих палатках англичанке, выздоравливавшей после сыпного тифа, ее служанке и шоферу. Вероятно, эта женщина и застрелила в часовне одного из организаторов бунта в Пенья-Ронде – монаха Рикардо Эредиа. Кроме того, в лагере как будто произошло самоубийство.

Какая драма, какой внутренний конфликт потряс души этих людей? Несомненно, Аркимедес Морено мог бы что-нибудь узнать, если бы пошел поболтать с англичанкой. Но под ненавистью к старому миру, под плебейской внешностью гаучо, под потрепанной гимнастеркой и красной пятиконечной звездой на берете – знаком рабочего батальона – у Аркимедеса Морено билось чуткое человеческое сердце. Он не хотел из праздного любопытства копаться в больных, осужденных душах и причинять им страдание. Аркимедес Морено закурил дешевую сигарету и пошел к новому лагерю. А от старого лагеря остались только дымящиеся кучи черного пепла, потому что так хотели развитие и логика жизни.

1 «Осужденные души» – роман, вышедший впервые в Софии в 1945 г. В романе использованы личные наблюдения автора, относящиеся ко времени его пребывания в Испании в научной командировке с января 1943 до весны 1944 г. Д. Димов овладел испанским языком, хорошо знал научную и художественную литературу Испании, что нашло отражение как в настоящем романе, так и в очерках и в публицистических выступлениях более позднего периода. Болгарская критика высоко оценила идейно-художественные достоинства романа, обратив внимание на то, что писатель не только изобразил сложные человеческие характеры, но и сумел убедительно воспроизвести столкновения разных общественных сил Испании 30-х гг. нашего столетия. Автор явно на стороне героев, борющихся против реакции и фашизма. При жизни писателя роман переиздавался в 1957 и 1960 гг. В эти издания он вносил небольшую стилистическую правку. Посмертные издания выходили в 1970 и 1974 гг. с учетом исправлений автора. На русском языке роман «Осужденные души» впервые был издан в Москве издательством «Художественная литература» в 1963 г.

2 Традиционную Испанию *(исп.).*

3 В 1931 г. в Испании был свергнут военно-монархический режим и установлена республика, в период существования которой был проведен ряд демократических преобразований: аграрная реформа, отделение церкви от государства, расширение политических прав трудящихся.

4 Иными словами: со второй половины XVI и до конца XIX в. Последние крупные сражения, свидетельствовавшие о военно-морской мощи Испании, происходили в XVI в. В 1571 г. вблизи г. Лепанто (Греция) испано-венецианский флот нанес сокрушительный удар турецкому флоту. Непобедимая армада была создана для завоевательных целей в 1588 г. н в том же году понесла большой урон в столкновении с английским и французским флотами. В результате военного поражения в Испано-американской войне 1898 г. Испания утратила Кубу, Пуэрто-Рико, Гуам и Филиппины, что привело к дальнейшему углублению кризиса испанской монархии.

5 Восклицание, выражающее упрек или удивление *(исп.).*

6 Добровольцев *(исп.)*

7 Честь *(исп.).*

8 Речь идет о героях пьесы В. Шекспира «Венецианский купец» (1596 г.).

9 Да, госпожа *(исп.).*

10 Спасибо *(англ.).*

11 Бедняжка! *(исп.)*

12 Спасибо *(исп.).*

13 Мой племянничек *(ucn.)*

14 Негрин Лопес Хуан (1889–1956) – испанский политический деятель и ученый-физиолог. С мая 1937 г. занимал пост премьер-министра, в 1939 г. эмигрировал и затем вынужден был сложить с себя полномочия главы республиканского правительства.

15 Одну минутку *(исп.).*

16 Андалусских песен *(исп.).*

17 Испанское имя, соответствующее французскому «Жак».

18 Кто? Француз или американец? *(исп.)*

19 Француз *(исп.).*

20 Добрый вечер, господа!.. *(исп.)*

21 *Алькала Самора* – президент Испанской республики в 1931–1936 гг.

22 Понятно!.. *(исп.)*

23 По убеждению *(исп.).*

24 Мамочка!.. *(исп.)*

25 Ребята!.. Ребята!.. *(исп.)*

26 Да здравствует анархизм!.. *(исп.)*

27 Господ *(исп.).*

28 В 1923 г. в Испании в результате переворота был установлен военно-монархический режим фашистского толка во главе с генералом *Хосе Антонио Примо де Ривера*. Этот режим просуществовал до 1930 г. Сам Хосе Антонио расстрелян по приговору суда Народного фронта в 1936 г.

29 Любезности *(исп.).*

30 Очень молоденький, очень красивый и очень святой *(исп.).*

31 Какая жалость!.. *(исп.)*

32 Ваше превосходительство! *(исп.)*

33 *Торквемада* (1420–1498) – деятель инквизиции в Испании, первый «великий инквизитор», выработал кровавый инквизиционный кодекс и процедуру инквизиционного суда.

34 Да здравствует Англия!.. *(исп.)*

35 Резиденция отцов-иезуитов *(исп.).*

36 Замечательно! *(англ.)*

37 Вы англичанка? *(англ.)*

38 Да!.. Да!.. *(англ.)*

39 *Мигель де Унамуно* (1864–1936) – испанский писатель и философ. В начале 30-х гг. – депутат конституционных кортесов. В философских трудах и литературных произведениях подверг суровой критике все институты дворянско-буржуазного общества, пробуждал национальное и общественное самосознание народа, был сторонником свободолюбивых идеалов и пришел к осуждению фашизма. Многие произведения писателя были запрещены католической церковью. Специальным декретом Франко от 1936 г. ученый и писатель был отстранен от всех должностей.

40 *Ликторские топорики* – эмблема фашистских организаций в Италии.

41 Тяжело больна! *(франц.)*

42 Так называют испанцы среднюю часть Пиренейского полуострова. – *Прим. автора.*

43 Сыпной тиф *(исп.).*

44 «Отче наш» и «Господи» *(лат.).*

45 Да вознаградят вас господь!.. *(исп.)*

46 Ложь путем умолчания *(лат.).*

47 Я здесь, сынок!.. Я здесь! *(исп.)*

48 Товарищи *(исп.).*

49 Да здравствует!.. Да здравствует свобода!.. *(исп.)*

50 Пресвятая богородица! *(исп.)*

51 Допущено *(лат.).*

52 Пожалуйста *(исп.).*

53 *Пепита Хименес* – героиня одноименного романа испанского писателя Хуана Валера (1824–1905), в котором писатель выступает против религиозного аскетизма, отстаивая земные радости и чувственную жизнь человека.

54 Аргумент палки *(лат.).*

55 Пресвятая!.. *(исп.)*

56 Помни о смерти *(лат.).*

57 Воды!.. Воды, пожалуйста *(исп.).*

58 Сфера любви *(лат.).*

59 Когорта борьбы с врагами христианства *(исп.).*

60 За святую веру *(исп.).*

61 Цыпочка! *(исп.)*

62 Ох, какая красавица!.. *(исп.)*

63 Золотистая бледность *(исп.).*

64 Женщина!.. *(исп.)*

65 Смерть красным!.. Смерть красным!.. *(исп.)*

66 Это свинство! *(исп.)*